



жан парвулеско
португальская
служанка

отрывки из дневника

ново-петербург
амфора
2009

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)
П 18

JEAN PARVULESCO
La servante portugaise

Перевел с французского В. И. Карпец

*Защиту интеллектуальной собственности и прав
издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания
«Усков и Партнеры»*



Парвулеско Ж.

П 18 Португальская служанка. Отрывки из дневника : [роман] /
Жан Парвулеско ; [пер. с фр. В. Карпца]. — СПб. : Амфора.
ТИД Амфора, 2009. — 383 с.

ISBN 978-5-367-01219-4

Мистический роман французского писателя и визионера о про-
тивостоянии сил Бытия и Небытия на краю бездны, к которой дви-
жется мир.

УДК 82/89
ББК 84(4Фр)

- © Éditions L'Age d'Homme — Lausanne (Suisse), 1987
- © Карпец В., перевод на русский язык, 2009
- © Издание на русском языке, оформление.
ЗАО ТИД «Амфора», 2009

ISBN 978-5-367-01219-4

*Жан Парвулеско:
Все, что приближается
к сущности, раздваивается...*

Французский писатель и визионер, поэт и идеолог Жан Парвулеско не просто загадочен и странен. Даже самых глубоких знатоков энигматики и любителей оккультного он заставляет вздрагивать. Станный румын, появившийся в конце 1950-х в среде творческой европейской богемы, пропитанный мистицизмом, связанный со всеми тревожными, таинственными сторонами современной реальности — от издания на французском Лавкрафта и Кроули и дружбы с Эзрой Паундом, Раймоном Абеллио и Юлиусом Эволой до участия в таинственном Ордене 45 секретных компаньонов, который возглавлял генерал де Голль.

Политика, поэзия, расшифровка сновидений, тайная история, визионерство, кинематограф, оперативная магия, каббала, тревожное пространство между мифом и жизнью, промежуточный пласт, когда вы уже начали просыпаться, но странно застряли между сном и бодрствованием, оказались в лабиринте загадочного мира, где все ровно наполовину знакомо, а наполовину невероятно, — вот что такое Жан Парвулеско, Superior Inconnu, Высший Неизвестный. Последний L'Homme de Désir нашего проклятого века...

Жан Парвулеско родился в Румынии 13 сентября 1929 года. Подростком вместе с сестрой он покидает Румынию и в 1940-х годах обосновывается в Западной Европе. О его биографии мало что известно наверняка, так как реальные факты перемешиваются с вымышленными, и сама его личность раздваивается, расстраивается, учетверяется в спектре многочисленных двойников: командор д'Альтавила, Тони д'Антремон, Сильван Репробат и т. д. Не исключено, что в это время он занимался какими-то не вполне законными делами, а быть может, этот период таит в себе еще более зловещие и опасные тайны. Считается, что у него было десять жен, частью принадлежавших к королевским домам Европы. У него десять дочерей, которые замужем за видными политическими деятелями Европы и Азии. Одна из них — супруга старшего представителя императорского рода Японии, следующего за нынешним императором Страны восходящего солнца. Не вызывает сомнений также и то, что он принадлежит к высшим степеням иерархии европейских тайных обществ, являясь, кроме того, связующим звеном между оккультными организациями Запада и чем-то гораздо более таинственным... Он был активно вовлечен в политику в 1950–1960-х годах, выполнял деликатные поручения секретного характера в Испании. Возможно, именно он подготовил странную встречу де Голля с Франко. Наконец, в 1970-е годы Жан Парвулеско окончательно появляется в новом амплуа — литератора, писателя, публициста.

Но все это более чем странно. Кто он, Жан Парвулеско? Человек-тайна... Человек-ужас... Человек-догадка... Таинственный, таинственный, misterioso...

Есть истинная история — она известна только Богу. Есть мнимая история — ею довольствуются двуногие

животные, профаны, обычные люди, унтерменши, у которых внутри кишки. Но есть и еще одна история — ее называют «скрытой», «параллельной».

Не то чтобы она истинна, на это она и не претендует. И все же она намного, намного реальнее, чем может показаться, хотя и представляется непосвященному фантазмагорией...

«Скрытая история» — в чем в чем, а в ней Жан Парвулеско понимает все. Не только понимает, но и активно участвует.

В тайной истории и параллельной литературе Жана Парвулеско эротические сцены и герметические дискурсы соседствуют с политологическими обобщениями. Одно переходит в другое, персоны становятся идеями, страсти — партиями, оргии — революциями, умершие — живыми, бодрствование — сном, автор — персонажем. Тотальный мир, который постоянно двоится, так как все время приближается к сущности. Сублильное пространство подвижно, динамично, многозначно. Нет такого политического заговора, который не был бы связан с религией, нет такой эротики, которая не воплощала бы в себе древний архетип — иерогамию, великий брак Земли и Неба. Все, что приближается к сущности, раздваивается...

Женщины в романах и в жизни Парвулеско играют роль доктрины. Соитие — смотря какое — равно прочтению оккультной книги — смотря какой. И наоборот, осмысленный философский текст тождественен половому акту. Все связано. *Tout se tient*. Нет серьезного и профанического, высокого и низкого. Нити заговора, нити смысла, нити онтологии и антионтологии пронизывают всё. Заговор — одно из наиболее часто употребляемых слов в художественной прозе и публицистике Жана Парвулеско. «Вначале был Заговор».

Вернее, сразу два заговора — Заговор сил Бытия против Заговора сил Небытия. Потом, раздваиваясь и переливаясь в промежуточном мире, подвергаясь дифракции и распадаясь на тысячи лучей, нити заговоров пронизали Вселенную, разделив на два войска ангелов и темных духов, религии и народы, элиты и массы. Агенты Света и агенты Тьмы наполнили собой невидимые миры и человеческие общества. К ним восходят тайные истоки всех событий материального и нематериального уровней, даже явления природы управляются заговором — заговором духов стихий. Кстати, именно так и понимали мир все полноценные традиции, принадлежащие к сакральной цивилизации. Но для визионера Парвулеско все остается по-прежнему. Если мистический компонент перестал быть очевиден массам — знаем мы эту очевидность, ничего более иллюзорного просто не существует, — он остается основным критерием принятия важнейших решений на уровне скрытой элиты, которая в действительности и правит современным миром, руководствуясь именно этим полноценным магическим мировоззрением. Что это за элита? Масоны? Не все так просто...

Парвулеско говорит: «Пора намекнуть, не то чтобы прямо указать, нет, это не соответствует нашему методу и характеру нашего знания, именно намекнуть, что, быть может, раньше и, быть может, даже теперь существовала и существует абиссальная, онтологическая ФранкМасонерия, не имеющая ничего общего с мрачными евнухами Великого Востока, под надзором и сверху и снизу и представляющими собой дурацкую пародию — ведь кто, кроме идиота и вырожденца, может верить в демократию и либерализм?» Масонерия бездн, головокружительных парадоксов, тайных ритуа-

лов, пересекающихся троп того, что по обычной логике никак не должно пересекаться...

Невидимая Вселенная Парвулеско кипит. Она насыщена энергиями, токами высокого напряжения, озарениями, тенями, грозowymi разрядами и молниеносными материализациями. В ней личность постоянно меняет свои имена и маски, растворяясь в потоке световых догматов, погруженных в невидимую конкретность психики. Это спиралевидная оккультная страна, чья столица находится в бездне метафизики, религиозных формул и мистических доктрин, но чья провинция граничит с нашим обычным миром, его политикой, культурой, рекламой... Связь же между столицей Империи Парвулеско и обыденной реальностью осуществляют особые «агенты», человеческие и нечеловеческие, часто сбивающиеся на сложном пути исполнения миссии на побочные ответвления Великой Пророческой Спирали и попадающие в оккультные ловушки Антимира, в реальность Темной Мантии, которая ведет непрерывную извечную борьбу с мирами Света.

Там, в промежуточном пространстве между Небом Духа и землей людей завязываются нити страшных заговоров, дублирующихся иными контрзаговорами, переплетающихся друг с другом, обменивающихся агентурой и информацией, пока не достигают человеческой цивилизации, где воплощаются в политические, религиозные и экономические интриги, путчи, диверсии и идеологические конфликты.

«Россия должна стать госпожой Европы и Азии. Она должна колонизировать и завоевать Китай и Индию. Европа же будет тем, чем была Греция при господстве Рима» — так говорил великий Фридрих Ницше. А цитирует Ницше великий Жан Парвулеско в своей лучшей

книге «Португальская служанка». Португальская Служанка — проходной вроде бы персонаж, случайно замеченный, во сне, или полусне, или в бодрствовании, главным героем в ванной, в прозрачных струях разбавленного слегка кровавого душа. Кто она, полутелесная и полуинтеллигентная прислуга, тень в резиденции богатой и умной любовницы, женское никто — без платья и характера... Но в ней, уж совсем никчемной, — отблески смещения звездных извержений. Ее неразличимый и невыделенный жест повествует об авантюрах самой Бетельгейзе, великой звезды, стоящей в центре нашего заговора. Того самого заговора, который начинал еще крупнейший русский мартинист, евразиец и синархист — будущий маршал Тухачевский. Все, что приближается к сущности, раздваивается...

Секс и геополитика, мистицизм и кровь, политический заговор и магическая эвокация... Жан Парвулеско передал мне все документы, какие нужно. Кое-кто теперь не уйдет от ответа. Этот безумный маскарад там, вовне, эта пошлая и плоская видимость бытия, эта темная суতোлка истеричных теней перед лицом воздвигающейся Бездны Конца — это Наша Бездна, она расставит все по своим местам. Пусть «внутренний голос» дискредитирован наивными анекдотами, а обладание «внутренним миром» приравнено психиатрией к форме помешательства. Внутри есть много чего. Ждите *гостя* от туда, *гостя изнутри*. Так говорит вам тот, кто носит титул Тайного Протектора Нашей Полярной Звезды, Protectorus Secretus de Nostra Stella Polaris, Местоблюститель трона Евразийской Империи Конца, Невидимой Империи Жана Парвулеско.

Александр Дугин

Однажды, когда они были на винограднике,
она взяла его за руку и повела к стене, туда,
где вывалились камни и зияла брешь.

Графиня де Калиостро

Вдоль Черной Реки

Я хочу поделиться с вами своим последним глубинным озарением: новая форма святости есть, возможно, единственная новая идея в Европе.

Герман Абс

этот день, 14 ноября 1978-го в том ли смысле,
в ином ли есть начало конца

так или иначе, какая-то тяжесть дыхания; и вкус, вкус
мокрой ржавчины, древний вкус ужасной беды, вкус

между тем приближается роковой час; так, невозмож-
но более не замечать ни этой острой металлической
изжоги в ледяной глубине груди, ни этого отчаяния,
в замедленном токе крови доходящего до разлома ре-
бер, до разрыва легких; и когда приходит вся скорбь
мира, то как остановить поток горящих песков, что
внезапно ринулись под ноги из трещины, образовав-
шейся в скале дыхания, в тайных восхождениях воз-
душного выступа, носящего в себе священный улей,
обитель древних солнечных завоевателей, что так дол-
го скрывались в недрах смерти, поправшей смерть

я произношу *последнее слово*, извергаю молнию, да,
это так, меланхолическую, но и дикую молнию совер-
шенно нового имени; и оттого то, чего я больше всего
страшился, не свершается, и так я еще раз оказыва-

юсь на передовой последнего заговора этой самой великой тьмы

здесь и : в пять часов вечера да исполнится трагическое предсказание Савитри Дэви Мухержи: я прихожу в Собор, и я есть Тотальное Разрушение

2

но, быть может, разве никогда не было понятно, что, по смыслу знаков, только рыжая с зелеными глазами, истинно рыжая, русая

непрочные, гнилые деревянные подмостки, и эта меченная ржавчиной железная проволока, издавна, от века мне знакомая

голова, склонившаяся к плечу, чтобы тайно приветствовать тех, кто пал до зари

кто причислен к видимым и невидимым оплотам Империи, кто знает, что возвращению Марии-Антуанетты должно предшествовать возвращение принцессы де Ламбаль: так должно быть согласно тайным доктринальным основам контрреволюционного действия, предпринятого Франсуа Беллони под прикрытием операции «Танго для Кали»

(«...своих истинных богов люди заботливо скрывают», как писал Поль Валери; разорвать их плоть, искромсать дыхание их костей)

Мухиддин ибн Араби, в переводе Мишеля Вальсана: «Обитатели Огня сокрыты вуалью, равно как и обитатели Рая сокрыты вуалью»; это так, и это всегда словно слово, различимое во сне: «Истинный человек есть тот, кому вручено Местоблюстительство, ап-Niyâbah».

3

(литургическое устройство святилища, а затем только «сгущение воздуха»: я говорю о святилище плоти, объятай истинным желанием, и о сгущении воздуха в дыхании, встречающем это объятие и возносящем его ввысь с пламенной нежностью)

(вот почему я всегда воспрещал себе устраивать собственную жизнь, пребывать и продвигаться в запретном, но и пустом, пространстве собственного существования; разве что в этом длении мне еще как-то удавалось, и то с трудом, попытаться, как бы даже и успешно, прожить жизнь внутри жизни, и *ничего более, никогда*)

(с другой стороны, переход черты для меня никогда не будет обретением возможности, но лишь мгновенной вспышкой, взывающей к тому, чтобы пережить в моей жизни мгновение *невозможного* прославление, спасение и освобождение вменены пламенному восходу и свершению собственной жизни, апокалиптической мистерии конца этого мира)

и вот теперь я наконец знаю, каков этот переход, тайный вход на заре, знаю, почему надо было мне прийти сюда, к последней черте последней ночи, знаю, зачем я здесь, чего жду и куда этот переход

и только благодаря переворачиванию знаков можно наверстать утраченное в темном разрыве время Мирча Элиаде поэтому имел основания в «Возвращении из рая» говорить, что надо уметь «любить двух женщин», то есть, пребывая одновременно здесь и там, тантрически обменивать сознание плоти на плоть сознания, а затем снова перевернуть знаки

4

(и все же я знаю, знаю, где она, за завесой какой тайны сегодня сокрыта, полная решимости отныне пребывать в ужасном небытии своего безысходного и безрассветного выбора, пытаясь только полностью забыть *все, что было*, но забывая полностью только саму себя, трансмутируя, напротив, свою глубинную идентичность в не-идентичность, покрывая свою дивно сияющую божественность и славу самыми черными, чернее черни, крылами последнего изгнания нищей Шехины)

(она бы сказала мне так: единственное тотальное поражение — это смерть понятно, что это так с точки зрения жизни или, точнее, *существования*, ибо на самом деле по ту сторону существования, по ту сторону темного перехода, именуемого смертью, иное состояние утверждает свои

пространства, свои солнечные притяжения и свои
фундаментальные метаполитические решения

*ибо концепт тотальной судьбы должен вклю-
чать*

совокупность существований

и смертей, сгущенных

*в абсолютном имени, бездонном тождестве,
в котором браки*

*за синим покрывалом составляют единственную
живую реальность*

*этого имени, этого тождества перед лицом
Единого*

ясное сверкание,

озаренная улыбка Девы-Жребия, «будет, будет»)

(она говорила: Апокалипсис уже позади, и твоя книга
завершит мир если ты напишешь о моей смерти)

5

Сероватая водонапорная башня, сверху вниз пройденная
трещиной. Четыре ступени, крик; призывание — шепотом —
Владычицы Казанской, «если забуду когда-нибудь
серебро твоей печали и ясное золото твоих слез».

6

Шестнадцатого ноября тишина раннего утра покрывает
сокрытую в кустарниках нечистоту, а слишком

резкое солнце лишь делает еще более явной всю грязь, тяжесть и бесстыдное дыхание Сены.

В низких улочках Маре, стоя на стрёме, я не сплю уже четыре ночи. Передвигаюсь я как сомнамбула, с трудом держась на ногах. И тем не менее знаю, что стоит мне прикорнуть, я пропал, определенно пропал. Но как я перенесу, что пропадет *это*, и прежде всего...

В мучительный час первой чашки кофе появляется наш дорогой профессор Канторович; лицо его до крайности напудрено, а веки разъедены до черноты. Он торопится в «Олд нейви»; «Все это грязная ловушка для крыс, ее можно только однажды увидеть, вывернувшись наизнанку в мгновение открытой безвозвратности и бездны, когда ужас замкнут сам на себе», — признается он мне, но я совершенно не понимаю, о чем он (впрочем, какая разница, если все это такие потемки?). А он продолжает: «Мне более ничего не остается, кроме как научиться ясно чувствовать мгновение, с которого мастурбация становится мистерией. Ибо в этом я и есть, и через это ко мне приходят могущественные силы».

Немного позже, на пути из Бюси, я с удивлением обнаруживаю, что нахожусь позади группы из четырех камерунцев, словно в антирасистском заговоре отгородивших от меня Франсуа Беллони, в одиночестве покупающего шесть больших, живых и шевелящих конечностями лангустов, которых он затем осторожно кладет на дно деревянного ящика, посыпанное стружкой. В десять часов утра становится совершенно ясно, что это именно Беллони, с его острым носом и взглядом, сокрытым под

очками чернее смерти. Если бы эти парни только знали, *за кем* они стоят в очереди, полусонные, трясущиеся, но уже пробудившиеся, пропустив по четыре похмельных стакана белого сухого, покупая свой гнилой порей и дешевых, подгнутых и мятых, цесарок с фиолетовыми пятнами на скользких ошипанных тушках.

На грязном тротуаре, неподвижный среди обходящей его толпы, громко пукая и окидывая окрестность молниями взглядов, сидит Романо, черная овчарка Франсуа Беллони. Пес этот был украден десять лет назад в Венгрии добряком Франсуа, точно не могу сказать, где и у кого. После этого пса старались «хотя бы раз в месяц» кормить человечинной. И каждый раз, как говорили, куском со значением: сердцем, печенью, мозгом, елдаком или яйцами от елдака, смотря что удавалось достать. Должен признаться, что *сеть захвата* на марше включала в себя помимо больниц, клиник и тому подобного также и места крайне необычные, не сомневаюсь, что...

Быть может, Франсуа Беллони этого еще и не знает, но его жизнь меня очень интересует, по крайней мере, до такой степени, до какой кое-кого еще интересует его смерть, которой ему, имея в виду множество тайных махинаций и предприятий, наверное, следует опасаться. Между тем я ощущаю на себе злобный, застывший и неподвижный взгляд Романо, глаза которого как бы наполнены почти уже свернувшейся кровью.

Тревожнейшие происки уже ведутся. «Управляемые сокрытой рукой» силы без лишней спешки занимают отведенные им диспозицией места.

отныне почти все это мне представляется чередой тайных образов, сцепление которых, возможно, изнутри проясняет сокрытое снаружи

(вот что однажды, средь бела дня, на улице Дофина, я еще раз подумал о Генриетте: женщина, потерянная или потерявшаяся в собственной жизни, всегда в конечном счете опережает эту жизнь, в неумолимых лохмотьях существования, с неизгладимыми следами утраченной черной околдованности, какой бы то)

(со вчерашнего дня, каким бы ни было передо мной глубинное восхождение знамений в ночи тайно)

(все еще сокрытое солнце новых времен, восходящих из этих впадин, из этих сожженных мелких колючих кустарников, где его политическая и просто обычная жизнеспособность кажутся безнадежно утраченными и для него самого, и для его товарищей по древним битвам, но в то же время именно из этих черных впадин, из этих уже наполовину испепеленных колючих кустарников в предусмотренный день появится окровавленный и сияющий великолепный зверь абсолютного возобновления)

(Пальма-де-Майорка, 23 декабря 1963 года если ты также один из тех кто знал эту тайну и даже под ее покровом знал то, к чему призвал бы я отныне всех нас призвать, к совершенно *живому таин-*

ству этой тайны, со своей стороны, могу очень твердо сказать и признаться тебе более чем особым образом, что я сделал и заставил сделать то, что следовало заставить сделать до конца; что я тем самым сделал то, что следовало бы сделать нам всем для того, чтобы внутри нас было тайно восстановлено чистое пламя и была бы внутри самой себя возобновлена наша древняя клятва абсолютный центр царства, Regnum, и литургическое основание на марше его вечного к нам приближения)

8

Между тем, неведомо как, я вновь оказываюсь в «Олд нейви», где в конце концов соскальзываю в неопределенную дремоту, в своего рода гипнотическое саморастворение, затемненное, волнуемое, словно воды смерти до смерти. Но я также погружаюсь и в светотень великих пророческих сновидений: вот я в просторной гостиной первого этажа; ее большие окна отворены в шумящий листвою на ветру сад, где вопреки всему стоит тонкий, но неопределенный, такой возбуждающий запах гари, быть может уже слишком древний. Вижу стерегущую этот сад молодую женщину, не совсем мне знакомую, а сопровождает ее не то итальянец, не то поляк, судя по манерам каким-то трагическим образом связанный с Церковью.

Наступило мгновение неуверенности, и под влиянием этого первого, недоброго для меня впечатления я начал задавать этой женщине вопросы, чего нельзя делать ни под каким предлогом.

Ибо она столь свята, столь опасно могущественна, что общаться с ней невозможно иначе как через ее спутника, с прекрасной почтительностью пребывая в его тени.

Именно он, а не она, и ответил мне на вопрос, могу ли я ожидать и надеяться когда-нибудь обрести истинное прощение за всю мою жизнь. Ответил так: «Возможно, ваше преступление еще более тяжко, чем вы даже предполагаете. Ибо, если бы она пробудилась, то, как мы знаем, так или иначе попыталась бы восстановить свои прежние отношения и вновь начать театральную карьеру. Но при этом я бы сказал и больше, точнее, мы бы сказали: она бы точно так же могла быть призвана на религиозное поприще, тоже вновь. Попыталась бы вновь обрести в чистоте свое древнее, духовное, со всей его райской свежестью, призвание, поставленное под вопрос, но тем не менее не уничтоженное сделанным *ею* несчастным выбором, когда она встретила вас, следовательно, она могла бы пойти далее уже *иным путем*».

(*пока ты в оковах, ты не можешь исполнить своего назначения, но позже, по смерти, наступит пора обретенный*)

9

(*но надо было также изучить, как это происходит, я имею в виду этот обмен, переворачивание идентичностей, да, конечно, без всякого сомнения, этот обмен, окончательная причастность к которому на самом деле, и очень скоро, явилась бы*

довольно сомнительным препятствием и даже, в конечном счете, волчьими силками, в которые попадают те, кто у края пропасти не способен расстаться с классовой или расовой обусловленностью, с мистическим предопределением и полностью стать собой, обретя дыхание трагического безразличия, страшного саморазрыва, всегда предшествующего последнему броску)

10

Разве не после ее смерти, случившейся в августе 1962 года, Тибидабо в Барселоне был полностью предан огню? Это пламя, белое и

(проклятие
более или менее тайное)

(путями крови, связывающими на земле, и путями слез, освобождающими на небе, дыхание, щедрые растраты коего никогда не изгладят космогонического празднования 11 августа 1962 года, в самой тесной связи с тайной клятвой, данной в отеле «Виктория» утром 13-го того же августа, я клянусь Кова-да-Ириа, клянусь, клянусь, клянусь)

(не я убил ее, но Он маленький желтый цветок, самый жалкий из всех а затем)

Мастер Филипп, обращаясь к царю Николаю II: *Есть черное солнце, влияющее на форму объектов. Оно светит для мертвых. Оно станет видимым по мере того, как нынешнее Солнце будет исчезать. Это «солнце мертвых» восходит каждую ночь от двух до пяти часов, а заходит в шесть.*

И я сам, обращаясь к Мени де Сакадура Ботте: *Какое значение имеет последний день вечной страсти? На самом деле я умышленно, испытывая на разрыв, грубо пронес ее над пропастью прежде, чем она обрела свой желанный для нее же конец; чтобы некая вещь оставалась прекрасной и живой навсегда, она должна быть меченной от начала, должна нести на себе живой надрез, пылающий и сияющий очаг неисцелимой раны. Вечность только в вечном разрыве.*

(без даты, с обнаженными глазами в нордический поздний час я передаю Доминику под столом эту записку, зашифрованное, если угодно внезапно незабвенное, послание о том, как развязывать узлы, субверсивно разрушать силки и ловушки, все ухищрения смерти, проецируемые в нас могуществами всеобщего забвения, могуществами, чье омерзительное лицо все еще и вопреки всему сокрыто в Кирене за сливового цвета бархатной полумаской Смерти:

«Лотарингия, в конечном счете, есть тантрический и между тем столь ясный образ длинной вереницы

юных жен и совсем юных дев Аквитании, Франции и Наварры, освобожденных от всех меток, наносимых Теневыми Могуществами, жен и дев, которым вместе с Бурбонами, а еще чаще — под властью Бурбонов, почти никогда не удавалось вынести из „Оленьего парка“ и утвердить над необратимостью распада, над необратимостью отращения, испарения которого отравляют и изнутри минируют ее гипнагогическую архитектуру, то, что Слепцы Черного Леса, загадочные *Blinden des Schwarzwaldes*, именовали *Endreich*, Империей Конца».

Но она, Лотарингия, дремлющая и расколотаая трещинами собственной тайны, что так и бредет, время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться и передохнуть перед выходом на линию фронта горящего переворачивания времен восстанавливающей свою плоть древней Европы, по ту сторону всякой наготы, по ту сторону всякого желания желать, озаренная двойным космогоническим светом солнца и луны, и уже, я знаю, плененная Благородным Милосердием, и нашедшая пристанище в гостеприимных обителях пронизающего, полярного и паче снега убеленного ясновидения, в самой себе, через саму себя и для самой себя, в последнем крике только что обрела в Мадриде 22 июля 1962 года, среди бесчисленных руин, тайную корону Гогенштауфенов.

Главной моей задачей, вытекающей из покорности ночному, смертоносному и светоносному ведению тантры, признаюсь, станет отныне следующее: тантрически вознести над опустошенными, сгоревшими и потерянными строительными площадками моего собственного,

кровного и смертельного, имперского предназначения, Endreich безумного, слепого, объятого любовью и страстью возвращения к Единой Тропе Марии вот этой или не важно какой иной Лотарингии, лишь бы нам удалось силой овладеть ее плотью, несомой к смятенью, и несомой к пустоте души.

Так мы сами всякий раз одни и те же; и эти жены и девы, неизменные, облаченные в кровь и слезы. Поспешим же, ибо оне бесконечно возрождаются из пены самых тайных немощей бытия, безжалостные, восстающие, чтобы волочить нас к отчаянию, к смерти и к *перерыву дыхания* внутри нас)

(в книге «Кающиеся грешники милосердия» Жан-Жак Буке следующим образом объясняет обстоятельства трагического конца профессора С. Клаппа: «К моменту своей смерти Клапп занял в мире современной мысли завидное место, несмотря на то что его учение было фрагментарным образом разбросано по отдельным интервью и брошюрам, однако невозможно было не знать, что он долгие годы работал над капитальным трудом, и в кругах, сочувствовавших его воззрениям, весьма нетерпеливо и с доверчивой горячностью ожидали появления этой книги и были печально потрясены известием о страшном конце жизни профессора» *с доверчивой горячностью*

«Клапп, напомним, был убит „публичной девицей Идой Петрель, содержательницей игрного заведения“, как стыдливо сообщалось в по-

лицейских отчетах. Наличие между ними весьма определенных отношений многих удивило, ведь профессор везде представлял себя строгим аскетом. Следует заметить, что он, человек безбрачный как в силу юростной преданности научным занятиям, так и, без сомнения, по иным, весьма основательным причинам, должен был все же — если оставался нормален — иметь некую отдушину: даже самые живые занятия в области духа не остужают жара плоти, и нам уже приходилось замечать, что автору „Светильника Психеи“ было известно воздействие одного на другое; однако представлялось, что его жизненные правила допускали лишь хранимые в тайне обычные случайные связи. Воистину удивительным в деле Клаппа была не его жертвенная жизнь, но само убийство, мотивы которого оставались необъяснимыми, по крайней мере для официальных следователей

не стоит искать тут западни, корыстного или умышленного преступления. Не было также и никаких попыток кражи, которые порой совершают проститутки. Действия этой девицы, которую в самую интимную минуту их *ébats* объяла такая ярость, что она схватила нож, вспорола живот своего партнера, жестоко издеваясь над ним, а затем, полураздетой, выскочила из окна прямо на мостовую, напоминают классические сюжеты „драмы страстей“; однако трудно предположить, что Клапп, полный сорокалетний человек, лишенный какой-либо физической привлекательности, мог вызывать такую ревнивую любовь или иное сильное чувство у столь пресыщенного создания, о котором, впрочем, было

известно: Ида Петрель, проститутка по вызову, была „душевно здорова, аккуратна, чистоплотна и буржуазна; не страдала ни алкогольной, ни наркотической зависимостью“». «Еще менее вероятно существование какой-либо тайны, связывавшей или, наоборот, разделявшей этих столь разных людей. Ида была мало знакома с Клаппом; возможно, она даже не знала, кто он такой. Можно быть уверенным, что профессора ей представила какая-нибудь из пожилых дам, которые знают нужные адреса и всегда готовы подсказать их за щедрое вознаграждение»)

В своем труде по сверхэротизму, труде, который скандальная смерть его автора столь безжалостно оставила незавершенным, уничтоженным и словно низведенным во тьму его истока на ошибочных путях неоконченности и запретности, в этой *opera magna infernalis*¹, каковой стал сегодня для нас «Светильник Психеи», профессор С.Клапп писал, возможно пророчески, таинственным образом вызвав собственную смерть: *Согласно раввинистическим преданиям, семя жизни, которое так много мужчин растрачивает в разврате и противостественных играх, не остается бесплодным; inferнальные Матери старательно собирают его для оплодотворения и порождения бесчисленных демонов. В соответствии с еврейскими учениями это касается и нечистых мыслей, поскольку дух также склонен к блуду: ожившие и вредоносные оболочки — qliprot, — вызванные к жизни этими гнусностями вокруг*

¹ Великой inferнальной работе (лат.).

драгоценного камня души, как непроницаемая жильная руда, препятствуют обретению душой священного Света. Так, уже древняя восточная мудрость учила, что, предаваясь похоти, человек ввергает себя во тьму кромешную

(и сам я точно так же беспрерывно оказываюсь перед лицом бесконечно постыдной низости того, что в другом месте как-то называл, *приведения себя в порядок*; столь ужасно, столь ужасно это все чаще настигающее меня бессилие воспрепятствовать рассеянию, освобождению из-под спуда этих ночных пространств, в которых адские семена не сгнивают, не дав плодов их заведомого, единственного призвания, то есть рождения изначально мертвых тел с другой стороны, я до сих пор все еще грезил о вальдшнепе с прекрасными белыми глазами, и все во мне пропало понапрасну, но на самом деле всем этим, словно надышавшись белены, я пренебрегал)

(ее крик в молочном тумане самого раннего утра, воздушное скольжение влажной тени по покрытым изморозью чащам застigli меня, подобно тому как я был застигнут безумием первых зимних холодов, сбежав из расположенного по другую сторону замерзшего озера подпольного питомника путан, этих тайных агентов самоотчуждения, чья изнанка открывается в иных пространствах и над иными далями)

(Послушаем старую Эльвиру, впрочем не такую уж и старую: «Возможно, вы не знаете, но здесь, в Берри, некоторые из нас яростно ненавидят птиц. Одна

из них только что была здесь, это вальдшнеп. Вы видели ее, ее, с белыми, как небесное дно, глазами? А ведь приплод свой она оставляет в болоте, и он из рода змей, счастливых только в середине лета. И я скажу вам: они очень древней крови, птицевезмеи; слишком древней, чтобы летать днем».)

(Шанталь: «Старая шлюха, кстати, не сказала, что сама принадлежит к тайному обществу мучителей птиц и по ночам таскается с ненашими. У ее маленькой племянницы есть тайный питомник для птиц в Ла-Тенн, и Эльвира там тоже работает. Именно она, Эльвира, выкалывает им глаза, всем. Делает она это искусно, ни одна из птиц от этого не умирает, никогда. Ее там все боятся и ненавидят — даже свои. Даже маленькая племянница. Все это началось после того, как под Рождество 1976 года там убили старого кюре, никто не знает, кто убил и почему. С тех пор Эльвира стала такой. Бедняге продырявили голову разрядом свинцовой дроби, здесь, недалеко, на болоте; ствол засунули в рот и разрядили. Эльвира, узнав об этом, сразу же принялась скакать как девчонка, в полном безумии, одна, держа в руке тростник, маринованный в моче. Затем она стала проводить ночи с ненашими, и даже, как стали о ней поговаривать, с *иными*. Это помогает, казалось, ибо более всего утешает, пожалуй, совсем не то, во что мы верим. Нет, поистине совсем не то. Но меня все эти верования не пугают, и я сама имею обыкновение бродить одна, ведь я нашла родник с каменистым дном, вода которого течет в лес Девы Воздуха. Вот почему за мной охотятся, даже молодежь, ибо они все связаны с *ненашими* и все ночи проводят с ними. Все, кроме Мартена. Нет, он нет».)

(И вновь Шанталь: «Рагу из голубей вот как делают. Ощипываете перья, потрошите птицу, опаливаете ее над огнем, разведенным на соломе. Разрезаете тушки надвое вдоль. Слегка поливаете маслом, а затем, когда вспыхнет, льете арманьяк — уже побольше. Причем арманьяк нельзя плескать сразу, все, что надо, — так это держать на жару и ждать. Тем временем надо поджарить мелко нарезанный лук-шалот, присыпать его мукой и, помешивая, добавить хорошего красного вина, но обязательно молодого. Когда лук даст сок, осторожно польете голубей луковым соком, держа их на пару, причем огонь, как вы понимаете, должен быть очень слабым. Все это длится добрых два часа. Еще надо добавить лесных грибов, луку, всяких трав, свежих ягод можжевельника — все это вы моете и мелко нарежете. Но вот что важно: если горшочки опускать не в слоистую, а какую-то другую землю, вы никогда не вкусите черной и зеленой крови свинцового цвета голубки. Сделать все это труднее всего на свете; вчера вечером у нас вы попробовали то, что я сама приготовила».)

(Мартен: «Почему, месье Жан, вы так говорите? Ничего хорошего не будет, если вы ляжете с ней. После того как она в свой черед, по цепи, стала Девой-Жребием, Шанталь не нуждается более ни в каких правилах, она чиста и свежа как первый снег. А когда ей исполнится двадцать два года, она уплывет по болотам навсегда, одна, в лодке, сплетенной из ивовых прутьев. Она не умрет, она всегда будет юной и прекрасной, как ныне. Но, если вы дотронетесь до нее, она и впрямь вспыхнет пламенем, а соски ее станут твердыми как камень. И, если вы ляжете с нею, Шанталь не принесет вам добра.

Она никому не приносит добра, хотя очень доступна и очень искусна в любви. Для всех, кто с ней ложился, смерть была наилучшим исходом. Они более не могли жить без нее и как безумные скитались по полям и лесам, пока не падали навзничь. Но в любом случае она уплывет по болотам, потому что в предусмотренное время этого потребует от нее цепь посвящений. Знаете, месье Жан, она говорит, что вы, именно вы, в тысячу раз сильнее ее, но вы связаны. И ваш час, несмотря ни на что, придет позже, ибо за вами стоит тень великой смерти, которой вы и связаны. Но вы освободитесь и обретете великие силы в час вашего освобождения. И тогда восстанете на свершение великих дел и измените лицо мира. Если бы вы могли знать, как она счастлива, что вы сейчас с нами. Своим возвращением, говорит она, вы воспламенили знак того, что небеса вновь перевернут свое лицо и придет новый, небывалый свет. Счастливая, счастливая. И еще она вам скажет... Мне она не говорила, но я знаю, если вы захотите, она с вами ляжет. Только боится, как бы потом, позже вас не увела тоска и не причинила вам в жизни зла. Быть может, она за себя боится, ведь вы пришли из далекого далека и скоро туда вновь отправитесь, а быть может, и еще дальше, слишком для нее далеко, в синеву небесную, на северо-северо-запад, как она говорила».)

12

И вот вчера, в полдень, когда я, принимая ванну, с крайним наслаждением читал собрание адресованных мне философических писем Эвелины Крид, оглу-

шительный, настойчивый, крайне для меня неприятный, раздался телефонный звонок. Это был Шабу, негр, исполнявший спиричуэлс в баре для законспирированных фашистов на улице Бюси. Звонил, чтобы предупредить меня: профессор Канторович, настоящего имени которого, как я уверен, никто никогда не знал, поздним утром того дня был найден со вскрытыми венами в кабинете общественных бань на площади Мобер. «Его очень быстро обнаружили, поскольку крови под дверью натекло как на скотобойне».

К несчастью для меня, у него нашли обращенную к «французским властям» записку, где он говорил, что «считает долгом положить конец своей жизни, по крайней мере ради спасения своей чести», и обвинял меня, именно меня, в «хищении» с «корыстными» и так или иначе «отвратительными» целями желтого кожаного портфеля, в котором он хранил не только «труд своей жизни», но и рукопись романа, «в каком-то смысле незавершенного», подготовленную «втайне, и только для издания в определенное время» молодой комической актрисой из труппы аргентинского театра TSE. На самом деле актриса, Нита Кольменар, хотела, чтобы профессор Канторович ознакомился с ее романом, где она выступала не только повествователем, но и главным действующим лицом, и возможно, он даже ее «консультировал»; так оно и было, потому что «некоторые одновременно трагические и загадочные обстоятельства» подсказали Ните Кольменар, кем был «на самом деле» профессор, а написанное ею являло собой не просто роман, но своего рода доклад, гениально сокрытый за действиями главных героев с совер-

шенно особой идентичностью, длинный политико-идеологический доклад о «нынешней деятельности» участников некоего «окультичного международного заговора гитлеровской ориентации», чье название, более или менее явное, было Братья Утешения, а тайные цели помимо непосредственного действия включали поддержание субверсивных связей с тем, что называлось «великими внешними разумными сущностями», «Великогалактическими Могуществами», заговора с двойной целью: вначале оказать бесповоротное воздействие на судьбы Французской Республики, а затем, в более отдаленной перспективе, еще и перевернуть «демократические устои и весь западный порядок в целом».

В конечном счете профессор Канторович решил уйти из жизни из-за того, что не мог признаться загадочной Ните Кольменар в исчезновении рукописи романа, как он утверждал, похищенного мной, что делало меня виновником его «рокового, тщательно обдуманного и уже необратимого поступка».

Решусь добавить: хорошо еще, что в своем письме (было ли это *письмо* или, скажем так, было ли это *письмом*?) профессор Канторович, как сказал Шабу, назвал меня только по имени — «некто Жан», как он выразился, «известный оккультист, поддерживающий пагубные отношения с самыми непримиримыми и самыми активными кругами международного фашизма, завсегдагой сомнительного бара „У концессионеров“ на улице Бюси».

При этом перед субъектами в плащах, поспешившими, за неимением лучшего, явиться к негру, к счастью оказавшемуся скорее джентльменом, чем цветным, Шабу разыграл дурака: «Знаете, господа, Жанов здесь бывает дó хрена» и все такое прочее.

В любом случае, как сказал Шабу — и я с ним согласился, — мне лучше было на несколько дней исчезнуть. Не то чтобы я боялся осложнений — если пламенное письмо профессора Канторовича и существовало, в чем я, вопреки всему, сильно сомневался и сомневаюсь, равно как и полицейские, уж точно не опустившиеся бы до того, чтобы доверять такому сплетению безумной лжи, — просто общение с субъектами в плащах вредно для здоровья, особенно в моем положении и с моей специфической репутацией, и, кроме того, если диалог все-таки завязался бы (возможно, в злобных тонах), он был бы бессмысленным и запутанным, да и вряд ли вообще представителей следствия интересовала возложенная на них обязанность разбираться в самоубийстве какого-то профессора Канторовича, «политического эмигранта из Польши, без определенных занятий и средств к существованию, бывшего коллабо, нарколога и сексуального психа, уже побывавшего в дурдоме с диагнозом паранойя на мистической почве».

(*суицидирован*, как у них говорят, но надо еще проверить; в любом случае дерьму достаточно просто вонять, чтобы поползли слухи: *суицидирован*, конечно, но вот *кем?*)

(что касается Шабу, я хотел бы ему верить, но почему и зачем мусора показали ему это письмо — или что это на самом деле было — в тот же день? даже если он, Шабу, стучит, а наверняка так оно и есть, все равно остается тот же вопрос: *почему?* того и гляди они, если настолько, блядь, чокнутые, полезут искать там, где вообще ничего нельзя выразить словами; если, конечно, за всем этим не скрывается сверхужасающий план и не поднимется шумиха, причем именно вокруг меня; а если это смена гарнитура и приходили не мусора, а люди из спецслужб и те, кто *умеет видеть*, то, значит, огонь занялся)

(правда, кое-какие аргентинцы из труппы TSE захаживали к «Концессионерам», и покойный профессор Канторович часто улаживал с ними по углам какие-то дела; правда и то, что Нита Кольменар)

(и чем больше я об этом думаю, тем сильнее мое желание тотчас же исчезнуть; провести несколько дней на подножном корму, в полной безмятежности, не оставляя никому адреса; быть может, умчаться к милой и забытой Анн-Мари де Л., в Версаль, пока тучи сгущаются, но еще не сгустились окончательно, а в крайнем случае оттуда податься в Швейцарию, и даже дальше, если будет необходимо; ничто не связывает меня ни с чем, а тем временем

водоворот, глубокая воронка горькой и темной тоски, каковая есть только отражение зова, тайная зашифрованная связь с пространствами смерти, с пространствами по ту сторону смер-

ти — это потому, что судьба играет сама с собой, и я, чтобы проникнуть в глубины ее, всегда открываю Книгу Книг,

первое, что открывается, — Евангелие от Луки [4:16–18]: *И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на Мне; ибо он помазал Меня...»,* и второе, по ходу: *И вставши выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; Но Он, прошед посреди них, удалился [4:29–30],* и в третий раз, в заключении: *...не бойся; отныне будешь ловить человеков [5:10]*)

(кроме того, в эту ночь впервые в жизни я видел во сне Жака Бержье; мы были в Сен-Жермен-де-Пре и искали, где бы выпить по чашке кофе, и тут произошло так или иначе невозможное, внезапно хлынуло невероятное: земля на площади словно вывернулась наизнанку, вырванные деревья обернулись корнями к небу, горел строительный мусор, словно после «атаки левых», и, наконец, надо всем взошел воронковидный взрыв; но сразу же перед этим, еще во время нашего загадочного блуждания, Жак Бержье тем не менее успел сказать мне: *я мертв, вы еще об этом не знаете, но я только что умер* и я бы хотел, чтобы вы подготовили краткую критическую антологию — лучше назвать это так — *всех моих трудов, расположенных под углом зрения сущностной значимости, и с вашим предисловием, и чтобы вы объяснили прежде всего, что меня*

в этом мире никто не любил и тем не менее разве не было сказано, что спасение придет от иудеев? тут я заметил, что он, Жак Бержье, был почти в лохмотьях: рубашка на груди разодрана и вся мокрая, словно от вина, старая белая рубашка в голубую полоску, а изнутри его, казалось, наполняла странная тоска, словно он исчезал из самого себя в себя самого, навсегда)

(не могу ли я, при нынешнем положении вещей, *не должен ли я* попытаться установить связь между Жаком Бержье, проходящим ныне сквозь врата смертные, и самоубийством профессора Канторовича, в которое меня хотят, если получится, так или иначе постыдным образом впутать; не означает ли это, что эта связь явлена посредством моего сна, ибо через сон Жак Бержье предупреждает меня о собственном двойнике с удвоенной, даже учетверенной идентичностью, признаваясь в том, о чем он мне говорил и ранее: будто бы в шестидесятые годы некий профессор Исаак, которого, возможно, звали Вальтер Канторович, входил в ближайшее, самое доверенное окружение генерала де Голля, в то время всерьез задумывавшегося о создании нового «тайного ордена», нового Ордена Храма, во главе которого де Голль хотел поставить польского генерала, своего лондонского сподвижника, чье имя сейчас выскочило из моей головы)

Иоанна там спит, одна. А между тем как поверить, что двое, пройдя искупительные испытания, теперь приговорены к вечной разлуке? Нет, даже в глубине черной бездны никогда не теряйте надежды, бедные проклятые любовники!

Кающиеся грешники милосердия

в это воскресенье, 26 ноября перебравшись, как и намеревался, в Версаль, к Анн-Мари де Л. я, как мне казалось, спал очень долго, сном глубоким и черным, словно древняя Эфиопия *наших*

Вчерашний день, закат, заброшенный сад. Опавшие листья, вздымаемые нашими шагами, и необыкновенное явление целого стада одичавших за долгие годы королевских павлинов. Анн-Мари: «Это, дорогой, зима скоро наступит в Версале. Чем глубже и чище наше забвение, тем более освобожденные из заточения могущества древнего огня отвердевают в великих глубинах, в последних безднах прозрачности и собираются на зов страшного слова, которое должно прозвучать, и оно прозвучит, поверьте мне!»

А потом этот сон, минувшей ночью.

Просторная, сейчас пустая аудитория Школы частного образования, возможно у иезуитов, в Париже или его ближайших окрестностях.

Начищенный до блеска зеркальный паркет, темные ряды редких книг в кожаных переплетах за строгими

стеклами, на голой стене, напротив меня, возле двери, — распятие из мореного дуба, несколько неправильной формы, янсенистское или того хуже. Осень, холодает, опускается вечер. Все это, я почему-то уверен, должно происходить где-то около 1860 года.

Входит надзиратель, молодой брюнет, очень суровый, но изможденный и словно смертельно опустошенный с трудом сдерживаемой страстью. За ним следует юноша лет пятнадцати, меланхолически бледный, чей взгляд, однако, временами озаряется огнем безвозвратной решимости. Они останавливаются, встают друг против друга.

Слышу слова надзирателя: «Месье, вы все еще отказываетесь назвать имя не имеющей никакого отношения к нашему заведению загадочной особы, к которой вы обращали перехваченные нами письма? Хорошо, очень хорошо. Но вы назовете. Вы *сделаете так*, как я сказал. Здесь и сейчас. Сосредоточьте сознание на ее образе, думая о ней со всем упорством, со всем напряжением самых тайных чувств. Я имею право вам это приказывать, ибо таково проклятие нашего договора или, если хотите, договора о проклятии, и вы не имеете права уклониться. Не обретете его никогда: это право вы утратили сами знаете при каких обстоятельствах, и сразу же утратили себя, и тем самым сделали так, что и я себя утратил (я хочу сказать, своим обязательством вы лишили меня выбора). Но, с другой стороны, вы не можете считать, что вас не предупредили: если, сосредоточив на ней свое сознание, вы сделаете *то, что вам сказано*, три раза подряд, здесь и сейчас, и назовете мне

ее имя, эту особу вы утратите также, утратите навсегда, но этим спасете. Итак, месье, говорю в последний раз: если вы хотите спасти предмет вашей трагической страсти, предайте ее; коль скоро вы продолжите хранить тайну, ее не станет. Я приглашаю вас ответить мне сейчас же. У вас есть выбор, но только этот. Нет? Вы не решаетесь? Вы не хотите говорить? Прекрасно. Что касается меня, я отлично обо всем осведомлен. В таком случае, месье, я вас прошу: сделайте то, что должны. И сделайте так, как надо. Игра, в которую мы играем, очень велика и опасна».

Дрожа как лист, но все же сохраняя надменный вид, юноша внезапно начинает — гордо, горячо, безжалостно глядя на своего мучителя — со всею силою мастурбировать. И вот он уже прерывисто дышит, но раздается звон к вечерне. «Жанна, Жанна!» — кричит он, и более ничего нет. Всё. Растворяясь в листве сада, раздаются беззаботные и радостные крики его юных товарищей, выбегающих из классов, где они провели целый день, крики, озаренные прекрасным светом невинности, голубизной девственного неба и искрящиеся всеми цветами осени.

Чтобы завершить свою позорную муку, юноша должен теперь принять черную шелковую повязку, протягиваемую ему — но с каким состраданием к его раскаянию и с какой ужасающей нежностью! — его страшным мучителем, который затем, овладев своими чувствами, вновь принимается за старое: «Однако еще раз, месье. Я настаиваю. Если вам стало нехорошо, сосредоточьтесь на мыслях о ней (простите, я даже могу сказать так:

любите ее еще сильнее). А затем, если вы не измените своего решения, я позову вас снова, в десять часов вечера, сюда же, с тем, чтобы вы исполнили все необходимое в третий, и уже последний, раз. Знайте, однако, месье, что, со всею силой осуждая ее, я склоняю голову перед вашей гордостью, перед вашей доброю волей хранить тайну. Начинайте, месье. Сосредоточьтесь на вашем образе и не забудьте, прежде всего, молю вас, что, начав, вы будете привлекать его к себе, в себя, вызывать перед собой, а затем выбросите в небытие, и навсегда. Вы приближаетесь к третьему кругу, *вы возжигаете третий светильник*. Приходит самый темный час».

Что до меня, то я почувствовал, что медиумически призван принять участие в этом мрачном ритуале. Ни один из участников его, казалось, не подозревал о невидимом присутствии третьего при исполнении обета (на самом деле, конечно, *нездешних* вокруг было множество, ко мне они никакого отношения не имели; но невозможно было вообразить себе, до какой степени эти *отвратительные сущности* голодны и когда же они наконец насытятся *всем этим*). За окнами, в хрустальном осеннем воздухе — роскошные краски парка, чуть дальше — великолепие молодых вязов. А я между тем и сам был не менее этих двоих измучен, пожираемый пламенным, неотступным отвращением, смешанным с непереносимой жаждой взять и прикончить надзирателя. Так жажда, подобная кровавой, багряной пелене, многожды эктоплазматически вращаемой и переворачиваемой вокруг самой себя завесы безумия, ужасу ужаса, медленно впитывала в себя мой взор, постепенно сжигала и, как зверь, пожирала мое дыхание и всю мою жизнь.

Тем временем юный школяр, весь в слезах отчаяния, судорожно, с прекрасной силой, весь исполненный искренности, продолжал истязать себя, не теряя гордого и томного, я бы сказал, британского достоинства.

Все происходившее тонуло во тьме. Помню, когда-то, тоже во сне, всегда во сне, всегда медиумически, я присутствовал при поджоге крытого гумна, где спали двое маленьких детей; точно так же, невидимый, я сопровождал зимней прогулке по берегам то ли огромного естественного пруда, то ли замерзшего озера, возможно в Компъенском лесу, прогулке, во время которой обсуждался важный политико-дипломатический заговор — главный участник его занимал какой-то пост в германском имперском посольстве в Париже. Молодая, рыжая или, скорее, русая женщина, герцогиня де С.-П., указала своему спутнику место, где он должен бросить в озеро, разбив лед, желтую кожаную сумочку, наполненную старинными ювелирными украшениями, слитками золота и драгоценными камнями. Лед треснул, и сумочка ушла на дно (это *место* я, возможно, когда-нибудь вспомню). В грустном молодом человеке, сопровождавшем герцогиню де С.-П. в Компъенском лесу, я, кажется, узнал пламенную, страстную жертву прекрасной гордыни и меланхолической страсти, смиренно брошенных в угоду отвратительным правилам к ногам надзирателя. Если бы я захотел, я назвал бы имя этого человека (что пока, возможно, небезопасно).

Спустя восемь долгих лет после отвратительной сцены, разыгранной надзирателем в частной школе, все прояснилось. Я видел все это с предельной отчетливостью,

с болезненной и обостренной резкостью, как собственную дневную жизнь, если еще не отчетливей; отчетливей потому, что именно во сне жизнь достигает крайних своих пределов, переходя границы темной завесы над собственным сиянием, свободно возвращаясь к изначальной славе и чистому ведению ее *абсолютного тождества*.

Сочельник. Идет снег. Париж, Марэ. Я тайно проживаю в частной гостинице, которая вроде бы пуста; кажется, миновала полночь. Я поджидаю или, быть может, отслеживаю кого-то во тьме на потайной лестнице. Через некоторое время он появляется, я его тотчас же узнаю: это все тот же надзиратель; соблюдая все предосторожности, он поднимается по лестнице со свечой в руке, сопровождаемый своей скользящей в сумерках, в пространствах ужаса тенью, он не просто хранит молчание — он его измысливает и выстраивает с чарующим искусством. Я знаю, он переполнен немислимыми замыслами, но не в состоянии отречься ни от одной из своих древних фантазмагорий; могущественный политик и дипломат, он обезумел от страсти к Жанне, юной герцогине де С.-П. (но даже — и *прежде всего* — эта самая страсть для него всегда была путем к иному, к *невыразимо кровавой сладости дароприношения*, заставлявшей его сильно страдать, жаждать власти над учениками, но все это он потерял, и не от гордыни, нет-нет, но от призывка надежды).

Я же что должен был делать, то и делал: прежде даже, чем он мог, посмотрев мне в глаза, обрести утешение;

при том что, по моему предположению, он вообще не мог меня знать, ибо не встречал никогда, я изо всех сил, *в здравом уме и твердой памяти*, нанес ему два столь ужасных удара кочергой, что в буквальном смысле слова размозжил голову. Недавно побеленная стена стала на всем протяжении его падения алой от крови. Все это произошло в глубокой, глубочайшей, глубинной тишине гипнагогического, оберегающего, охранительного молчания (каковое знает лишь одно слово, одно имя, *слово и имя, которое никогда не должно быть произнесено*, но призвано пробудить ото сна всех нас).

Восстановив справедливость, я, словно лунатик, поднялся на несколько ступеней, отделявших меня от тайного хода, и проскользнул в свою спальню на втором этаже. Там, в высоком камине, весело полыхал огонь, а на большой постели раскинулась на смятых простынях обнаженная Дама Озера из Компьенского леса, Жанна, юная герцогиня де С.-П. Она была беременна, и сроки ее, по-видимому, приближались. Прекрасный живот, вздымавшийся словно щит из белой кожи, озарял нагретую полутьму комнаты, и что-то мне подсказывало, что она только что приняла снотворное и *тоже спала*.

Я даже не стал раздеваться. Нарушая все запреты, я овладел ею, овладевал долго, слишком долго. Из-за ее положения сделать это быстро не представлялось возможным, но, в конце концов, разве не этого я хотел? То, что она отдала мне, оказалось столь сияюще-сладким, столь затягивающим в головокружение высшей, раздирающей похоти, что единственным моим

желанием было так и умереть, тысячу раз умереть и никогда не просыпаться.

Тем более что я чувствовал: она, пребывая в прозрачном и легком, но тем не менее глубоком, словно воды подземной реки, сне, плачет; и ее бессознательные слова, ее похожие на невысокие волны полудвижения, ее дыхание усугубляли мое безумие, как полный сумасшедшего желания рот, дышащий жаром раскаленных добела головешек.

И если я, так или иначе, спал, зная, что сплю, то она, спящая в моем сне, не спала, и снившееся ей было на самом деле явью.

А еще я знал, что в это же самое время этажом ниже тот самый школяр, жертва надзирателя частного коллежа, вскрывает себе вены и будет пребывать в одинокой агонии до самой зари.

Когда я, покинув комнату, где спала Жанна, спускался потайной лестницей, то решил навсегда заколотить обе двери, верхнюю и нижнюю, чтобы никто никогда более по лестнице не ходил.

Значит, теперь, запертый навеки на лестнице без входа и выхода, надзиратель превратится в жалкую кучку отвратительной грязи, что расплывается вокруг кочерги, изображенной на отвратительном с виду, но почитаемом родовом гербе герцогов де С.-П.? Без всякого сомнения, это так, по крайней мере, если старинная и до сих пор пользующаяся дурной славой гостиница, при-

до уровня земли скала — эти маневры воронова племени не перестают интриговать меня, и мне приходится в голову вмешаться в них, расположив на краю балюстрады, где начинается перелет, зажженную свечу, а в глубине сада, на гранитной тверди, куда птицы садятся, — обращенное к свече маленькое зеркальце — какая удача: если обычно они, рассевшись на ветвях самых высоких черных елей, чьи ряды образуют естественную ограду, хлопая крыльями, взлетают все вместе, чтобы спуститься в сад, то теперь, наблюдая с высоты всю последовательность моих ответных действий, — я внезапно чувствую это, — такие безгласные, словно конец мира уже наступил, цепенеют в обмороке, готовые бессильными камнями пасть с ветвей, растерянно галлюцинируя пред явлением противознака — так и мы, когда иное пламя)

(— во всяком случае, как только я завершаю это теургическое противодействие черным птицам, происходит событие решающее и вводящее меня в оцепенение, в какое впали в саду мои бедные вороны, вдруг оказавшиеся между зеркалом и огнем — роясь в буфете, в столовой, в отсутствие Анн-Мари, чтобы отыскать чего-нибудь себе к чаю, я неожиданно натываюсь на массивную и воздушную одновременно, из обожженной глины и глазурованную внутри, старинную, замечательного кровавого окраса, с полувишневым-полубагряным отливом, супницу и, желая повнимательнее ее рассмотреть, ставлю на обеденный стол, предаваясь столь же хрупкому, сколь и пламенному наслаждению от созерцания этой замечательной, отнесенной мною с полной уверенностью к концу XVII века супницы

с раками, чешской, хотя и не пражской, работы, реликвии, вообще-то говоря, если ее относить как раз к этому времени, бесценной; по натуре я не исследователь и меньше всего на свете ожидал обнаружить что-нибудь там внутри, однако почему-то чисто инстинктивным движением я снял с супницы увенчанную парой раков, совершающих на ложе из роз, дубовых и лавровых листьев акт любви, крышку и обнаружил внутри около тридцати машинописных листов, а также и несколько написанных от руки зелеными чернилами — все это было помещено в тонкую, бледно-желто-сероватую папку для документов)

(желтую, пожелтевшую от времени папку, на которой, как я понял, был напечатан на машинке заголовок, три слова «Танго для Кали» что могло быть как кодовым названием сверхсекретного досье, так и заголовком недописанного сценария, романа; над заголовком же, сдвинутая вправо, стояла цитата из Послания к Римлянам святого апостола Павла *ночь прошла, а день приблизился*)

(слева же внизу от руки было написано имя — Нита Кольменар — и парижский адрес на рю Монж с номером телефона)

(Померещилось? Обман зрения? *Нита Кольменар*? Снова? Проклятая девка, именно она, снова и навсегда? Даже здесь, в моем версальском, последнем, убежище? Последнем, в котором я был уверен полностью? Значит, вообще нельзя быть в чем-то уверенным и нигде нет безопасного места? Значит, и сюда

дотянулись? Нет ни надежды, ни выхода, ни одной тайной тропы, нет следов, затерянных в зыбучих песках? Неужели на этот раз сказано, что мне не скрыться, что голова моя первая попадет в ловушку переменчивой и долгорукой судьбы? За завесой каких постыдно-сокрытых дел? И, в конце концов, кто она такая, эта Нита Кольменар? Откуда взялась, да и существует ли вообще, существовала ли когда-нибудь на самом деле? А сам я? Мной манипулируют? Кто, какая конспиративная группа?) (Так в меня входит тревога, и не просто тревога, а тревога, оторванная от всего и, прежде всего, от самой себя, самая опасная, ибо она удвоена сумеречной экзальтацией, лихорадочной, разрывающей, двусмысленной и убийственной; я-то хорошо знаю, куда ведут экзальтации головокружения, вот этого самого. А Анн-Мари, что она во всем этом? Тоже участница заговора? Или ее просто используют втемную? Или вопреки всему, что не оставляет сомнений в ее вовлеченности в это запутанное, заранее подстроенное, расставляющее смертельные ловушки дело, она все-таки сама по себе, вне заговора? И главный вопрос: оказавшись здесь, у нее, попал ли я в волчьи силки или все же, как полагал ранее, нахожусь, пусть и временно, в безопасности? Что делать? А главное, как? Сейчас, здесь, в неуверенности, во тьме, в лихорадке. Ибо ясно одно: этот заговор, если налицо именно заговор, ни в каком случае не может быть делом только рук человеческих. Управляемый из области невидимого и простертый во тьме, он принадлежит безднам, я бы даже сказал, не принадлежит ничему иному, кроме бездн, по определению.)

(В любом случае я начинаю понимать, что назад пути нет. Что не остается ничего, кроме как нападать, и я уже нападаю. Я втянут. Я втянут, и это прекрасно.)

(пока я здесь, ко мне возвращается обретающее черты, вначале смутное воспоминание; пустяк на самом деле; слишком все позади, слишком большие провалы в памяти, слишком все похоже на всплывающую ветошь в прошлом году, в ночь на 14 июля¹, я готов был покончить со всем этим, в последний раз «У концессионеров», на улице Бюси; была почти полночь, кажется, за окнами шел отвратительный дождь я сказал себе, твердо сказал, что к двум часам по полуночи надо вернуться домой, что ни в коем случае нельзя дать себя уловить в сети жалких и грязных чарующих объятий этой сáмой прóклятой из всех ночей; но когда я поднялся в бар, пропустил по бокалу с Шабу и уже собрался идти домой, то почувствовал, что кровавые внутренности парижских сатурналий, гнилыми струями эманлирующие самые зверские преступления, вдруг вместе с беловатой пеной, что вскипает в уголках губ, словно подающих знак к сбору всех, кто ожидает пришествия Царства Тьмы, полезли из глотки ночи; в баре было довольно много лиц неизвестных, но среди них, в двух шагах от меня, сидел за столиком профессор Канторович, а с ним, к моему великому удивлению, — великолепная негритянка, подросток не старше шестнадцати-восемнадцати лет, еще более прекрасная оттого, что она была совсем черная, а не мулатка; в вечернем платье она выглядела привлекательнее, чем если бы, дразня нас всех, разде-

¹ День взятия Бастилии, годовщина революции 1789 года. — *Здесь и далее примеч. перев.*

лась догола; я сказал Шабу: «Этот старпер сегодня не скучает, но, мать его, не закадрил ли он ее специально, чтобы привести сюда и нас подразнить? в любом случае, если они сейчас выйдут, значит, он уломал ее, а если нет, значит, не уговорил, и это здорово испортит его репутацию; этот старый кадрилищик не знает, что его ждет». Шабу: «А не думаете ли вы, месье Жан, что здесь не в кад্রেжке дело? они вот уже два месяца как приходят сюда вместе; эта курчавая крошка — дочь или племянница то ли посла, то ли министра, то ли вообще главы государства а он, как бы сказать, вы видите, как он разоделся сегодня? она вообще принцесса; во всяком случае, некоторые ее так и зовут — принцесса, принцесса Бегайя или что-то в этом роде; так я вам скажу, они взяли мне шампанского, это уже вторая бутылка они здесь ждут друзей, которые отвезут их в Версаль, на машине кажется, там какой-то праздник, сегодня ночью, что-то связанное с каким-то божеством огня; меня это не волнует; похоже, месье Жан, этот тип из Польши просто везет ее, принцессу, на групповуху, одну из тех, о которых я вам как-то рассказывал говорят, он любит это дело, этот злодей в белом смокинге»; если эта темнота, которая стоит сейчас, есть белизна, то что такое истинная белизна? если белизна есть темнота и что за темнота на самом деле профессор щеголял в шикарном смокинге, белом, с красной бутоньеркой в петлице; но не создавалось ли у меня впечатления, будто он тайно бросает на меня сверкающий и смертоносный взгляд эфиромана в момент «прихода»? между тем малышка, изрядно шатаясь, выказывала счастливое удивление, трясла вываливающимися из платья сиськами и при этом прекрасно себя чувствовала ее звали Розы, и могу сказать, что

даже я, никогда, и в Катанге-то, не увлекавшийся «черным товаром», нет, никогда, забылся до такой степени, что прямо тут, на месте, позволил себе ее отыметь; равно как и еще один господин, некий Джим Джонс стоя напротив двери в потайной кабинет Шабу, где сильно пахло «травкой» и свежестолченным красным перцем и когда они развлекались беззатей, погружая ее сиськи в протянутый ей профессором бокал шампанского, а затем это шампанское выпивали, сиськи Розы казались мне пьяными виноградными жемчужинами Аполлона ибо Аполлон есть Черное Божество, божество с алым взором, какой бывает у волков в сумерках раннего утра)

(Но что было потом? Что потом? «В Версаль, в Версаль!» — так, кажется, сказал тогда темнокожий Шабу? В Версаль, весь этот бомонд? А почему бы тогда не к Анн-Мари де Л.? Туда, хочу сказать, где я всегда думал, что схожу с орбиты, где был благодушен, оказывался вне фатального хода событий, словно Каспар Хаузер в объятиях любящей и прекрасной германской природы, в сладкой баюкающей тьме, сам как тень среди теней, свободный наконец от всех угрызений совести и от всякого страха. И так, однажды, подозреваю, все они переместились туда и там без зазрения совести валялись, развратничали и одновременно интриговали, затягивая и меня в электрическую цепь пророчески-пламенной свиты покойного профессора Исаака (он же, скорее всего, Вальтер Канторович). И меня, и меня... подали на стол холодным, обложив дерьмом, словно кусочками копченого шпика. Возложили на нежную подстилку из черники, всобачили фарсовую роль собственной обслуги.

Я говорю — *электрической цепи* пророчески-пламенной свиты Канторовича, но на самом деле думаю о гораздо худшем, о том даже, что должно составлять царственный удел совершенно непознаваемого, и все это, все это прилепляется снизу, присасывается, путается, субверсивно и сокрыто означает *Что там скребется в дверь, милорд? Открыть? — Ничегошеньки, дорогой, ничегошеньки* ибо я последую примеру монголов Тамерлана: если силы окружения берут верх и уже готовы взять тебя в плен, следует превратиться в голубя и взлететь прямо ввысь и я взлетаю, взлетаю)

(однако лучше всего удвоить внимание: я могу и заблуждаться, самым грязным образом; прежде всего, ничто не указывает и не доказывает со всей очевидностью, будто бы в прошлом году, в ночь на 14 июля, все они были именно у Анн-Мари; но в то же время — и это известно — Анн-Мари долгое время поддерживала тесные отношения с Франсуа Беллони и со всей труппой Театра Черной Луны, к кругу которых, хотя и только предположительно, принадлежали до последнего времени профессор Канторович и его люди; и если действительно все это пересекалось на жизненных путях; если эти пересечения подспудно распространяют свои самые интимные реверберации и даже, временами, все остальное, все стихии окружающей их, мистической и одновременно развратной, погруженной в непонятно какой, таинственный, догматический сон, туманности, стихии; если только они сами не вовлечены в ту же самую теургическую, как можно с полным основанием предположить, область и непонятно какие действия на острие вновь, еще раз *сла-*

достное пребывание, сладостное, сладостное в могиле со священными кобрами где, кажется, завершатся сегодня все пути *моей блядской жизни*)

(а сейчас, когда я все это вспоминаю, всплывает вот еще что: в ту ночь мне был нанесен «удар браслетом», — вернувшись к себе домой в два часа по полуночи, я обнаружил в правом внешнем кармане моей куртки золотой браслет, женский, витой, скрученный четырнадцать раз, причем на шести витках имелись выпуклые рубиновые пластинки; мне это ясно как день, который на сей раз завершился для меня последней сладостной четвертью часа на улице Бюси, «У концессионеров»; я даже вспоминаю, будто бы уход профессора и его прекрасной спутницы, прибывшей к нам из джунглей океанических островов, вверг меня в глубокое смятение, в самом метафизическом смысле этого слова, и в этом состоянии я, погруженный в водоворот, вдруг оказался уже не в баре, а посередине зала, и посреди всего этого возбужденного смешения я еще успел подбросить уходившему профессору дозу извращенной, постыдной и низкой лести по поводу его невольницы, на что старая развалина, конвульсивно протягивая мне руку, — была у профессора такая отвратительная привычка, что-то вроде бзика, выражавшего своего рода горячо аффективную привязанность, — ответила с видом загадочным и одновременно ничего загадочного в себе не заключающим: *нет ничего невозможного и неожиданного* он ли нанес мне «удар браслетом»? по правде говоря, не могу предположить иного разве что браслет он где-то по ходу прихватил для принцессы Розы или еще какой-нибудь соседки по застолью, а затем решил по тактическим соображениям от

него избавиться и подбросить мне, причем, как я понимаю, решил спонтанно, на ходу, дабы кто-то еще мог выпутаться из этого дела; вот почему мне не было заранее сказано ни слова, не сделано ни намека тайна сия велика есть, о темные божества Эреба, знание же мое весьма, весьма ничтожно в таком случае)

(что-то иное, в таком случае это все же удар браслетом

но с какой целью? ведь я знаю или глубоко чувствую: той ночью во всем, что касалось удара браслетом, не было никакой ошибки, случайной путаницы, ибо все было согласовано, упорядочено и замечательно проделано

я все пойму позже, когда придет час, я уже сейчас на самом деле, все более погружаясь во тьму, начинаю понимать, ибо уже знаю: настает и для меня час перейти к действию; и, вставая из мертвых, с оружием в руках, как издревле)

(они хотят *взять* меня)

(только что, сказав о могиле со священными кобрами, где, кажется, завершатся сегодня все пути *моей* блядской жизни, я не отдавал себе отчета в том, что через такое прикровенное именование навлекаю на себя великий тантрический заговор Черной Реки, вздымающей и озаряющей во мне и вне меня самые глубокие подземные оперативные истоки непреодолимо)

(удаляя от себя эти черные пустоты, *сгустки*)

Заговоры в Усадьбе Милосердия

Все возобновляется, а поэтому, когда я
уже исчезну, рано или поздно мое дело
возжжет новый огонь.

Шарль де Голль. Спасение

Сегодня утром, в субботу, 2 декабря, в день, если угодно, predetermined, я в третий раз заканчиваю читать секретные заметки Ниты Кольменар, и у меня начинается головокружение — глубинное.

Теперь, после отъезда Анн-Мари в Париж, если я в каком-то смысле и начинаю видеть все достаточно ясно, мне становится не менее очевидно, что я все менее знаю, чего держаться, а главное, *что делать*, какую сторону принять и куда направить мои попытки исцеления вскрытого нарыва, воспаленной раны долгих потемок нашего с нею взаимонепонимания. До тех пор пока все не прояснится в самой глубине вещей, я заставлю себя забыть самое имя Ниты Кольменар; прекращу всякие занятия с «секретными заметками» и отныне не буду указывать ни на что способное нарушить наложенный мной запрет на все обозначенное кодовым названием «Досье „Танго для Кали“».

Как только теневой водоворот по имени Нита Кольменар на время исчезает, ситуация представляется

мне следующим образом: Анн-Мари де Л., которая вот уже четыре дня как должна была возвратиться из Парижа, а затем отправиться туда снова, все еще отсутствует; что касается меня, то я живу у нее в Версале, однако Анн-Мари будто бы меня вовсе бросила, поскольку после ее отбытия я не получил от нее ни единой весточки и не знаю ни того, кто там и что плетет в темноте, ни того, где она сама; если за это время с ней ничего не случится, то еще менее понятно ее непредвиденное отсутствие; что за ним сокрыто, лучше всего может сказать как раз только вот такое таинственное молчание.

Так, кажется очевидным, что на данный момент мне предложен выбор между тремя возможностями: первая — порвать все связи и быстро, ничего не дожидаясь, исчезнуть, уехать в Швейцарию, остановиться на несколько дней в Эрликоне, у тибетцев С. и В., а затем, возможно, столь же быстро найти новое и, прежде всего, долгосрочное убежище; вторая — просто вернуться в Париж, делая вид, будто ничего не произошло; третья — не суетиться, спокойно оставаясь в Версале, у Анн-Мари де Л., и отсюда, если надо, принять вызов, отвечая на любую провокацию контрпровокацией, то есть *вступить в игру*; в этом случае все еще раз вернется в область высшего внимания.

Кажется, я выберу третье, и я думаю, что сделаю наилучший выбор (тот, который от меня и требуется).

В послеполуденный час сижу и в каком-то полугипнотическом полусне постепенно опустошаю стоящую на столе бутылку «Тулламор дью», любимого ирландского виски Мишеля Мармена, а через него — реверберационно — и моего тоже, и, погруженный в большое глубокое кресло, жду, когда падет день, и тени сада, образа кортеж, войдут сюда сквозь окна, и меня поглотят их синеватые и черные тинктуры.

Задремав где-то на четверть часа или, быть может, меньше, я вдруг вздрагиваю, и мое пробуждение столь же стремительно, сколь долгим было перед этим соскальзывание в сон; я чувствую, что рядом со мной в полутьме комнаты есть кто-то еще, и, проснувшись, но думая, что еще сплю, вижу отражающуюся в венецианском зеркале, лицом ко мне — а на самом деле позади, чуть справа, поскольку это зеркало, а она в дверях столовой — молодую темноволосую женщину, которая, заметив, что я ее вижу, молча подошла ко мне и остановилась.

Это была довольно высокая молодая особа, темноволосая, испанка или португалка по виду, одетая в шерстяное, вязанное крючком платье, в голубых, цвета морской волны, сапогах, как нельзя более удобных для того, чтобы подолгу прогуливаться по просторным, полным опавшей листвы садам, вдали от улиц, соединяющих гостиницы в этой части города, словно бы созданной для такой как будто подпольной жизни, вдали от подозрительного внимания, за его спиной, в стороне от людского коловращения.

Она была даже моложе, чем мне показалось вначале, и гораздо красивее, хотя всю левую часть лица ее пересекал большой красный шрам, похожий на растянутый до челюсти, но сглаженный временем длинный ожог, с виду страшный, но, вместо того чтобы ужасать, парадоксальным образом, драматически придававший ее лицу странное очарование, казалось рассеянно исходившее от всего ее существа, особенно от лица (хотя и немного тяжеловесная, она была при всем том прекрасно сложена, подобно юным и крепко сбитым крестьянкам из Алентехо, которые словно замыслены для упорного, под защитой невысоких валов красной земли, утопанной на тамошних дорогах, среди оливковых садов, сопротивления настойчиво-горьким ветрам и мощному вихревому дыханию Атлантики).

— Прощу простить меня, месье, если вас побеспокоила. Я — Лючия, служанка мадам де Л. Живу в пансионе, здесь, в Версале, в этих садах. Госпожа только что мне позвонила, попросила вас найти и сказать, что она вернется сегодня поздно вечером. Сказала, что очень огорчена своим вынужденным молчанием. Она вам все объяснит сама. А я к вам не ходила потому, что мадам де Л. просила меня вам не докучать ни под каким предлогом. Но раз уж я здесь, скажите, не нужно ли вам чего-нибудь? Не могу ли я быть вам чем-то полезна?

— Нет, Лючия, спасибо, я ни в чем не нуждаюсь. Вы не француженка?

— Нет, месье, я из Португалии.

— Но тогда почему вы так хорошо говорите по-французски?

— Мы давно уже живем во Франции, мои родители и я. Мы служим мадам де Л. вот уже пятнадцать лет. А я здесь, в Версале, даже ходила в школу.

— Ну что же, Лючия, в любом случае спасибо за добрые новости. Я пойду к себе, а вы можете прибраться к приезду Анн-Мари.

(На ее лице промелькнула легкая улыбка. Возможно, она означала, что Лючия считает меня ненадолго оставленным любовником Анн-Мари, которым та слегка пренебрегает, и что мне следовало бы, по ее мнению, мужественнее переносить перемену в судьбе. Я — любовник Анн-Мари? Прежде всего, почему бы и нет? Мы почти одного возраста, обоим под пятьдесят. Я живу у нее как дома, и мы проводим целые дни взаперти в этом более чем заброшенном особняке, ну и все такое прочее. Я бы сказал даже, что обратное, то есть отсутствие между нами связи, выглядело бы более чем странным. Но разве именно *странного* не следует избегать? Ибо подозреваемое никогда не кажется странным, но все, что не кажется странным, всегда подозрительно.)

Однако, когда я проходил мимо нее, стоявшей неподвижно, в свою комнату, настала уже моя очередь про себя улыбнуться: Лючия, если ее действительно так

звали, похоже, очень обильно поливала себя чрезвычайно дорогой туалетной водой своей отсутствующей хозяйки. Грешок этот меня, признаться, очаровал, и, конечно, я ничего не скажу Анн-Мари.

(утром я все же должен ей выговорить, этой малышке; так нельзя поступать, ведь это туалетная вода принадлежала еще матери Анн-Мари де Л.; наверное, надо все же сказать, что поливать себя ею бестактно, особенно когда та, другая, вот-вот явится)

(Итак, она возвращается, моя Анн-Мари? Ну что же, вино открыто, надо его пить. Сенак де Мейан: *Постарайтесь приехать пораньше; она мне часто говорила о вас; она говорит о вас так, как будто вы здесь. Я слышу зов — я должен к ней вернуться, я могу лишь написать вам несколько строк, но они пробьют насквозь ваше сердце. Мое уже разорвано.* Как бы ни отвечали эти слова умиротворения и разочарования равнодушию, в которое я погружался, все же они предваряют рассказ о бегстве мадемуазель де Вергентхайм к графине де Лонгёй, и это меня ободряет и возбуждает. Но теперь я чувствую, что вино, которое мне предстоит пить вновь, в третий раз, есть огненное вино смерти.)

16

Недомогание — вот правильное слово. Глубокое недомогание, слишком глубокое, возможно, для того, чтобы уловить его самый тайный, скрученный спиралью

в моих недрах зов, отголоски которого я могу улавливать только на поверхности, точнее, могу улавливать лишь его тень, подобную легкому, но настойчивому беспокойству, непрерывно орошающую своей тинктурой все во мне происходящее с того момента, как эта юная португалка пришла с утешительной весточкой от Анн-Мари.

Но я также добавлю что если держаться фактов, и только фактов, то это недоумение и себя самое освобождает от изначальной тьмы чрез простейшее, очевидно, предположение: служанку Анн-Мари, эту Лючию — или как она там себя называет? — я уже где-то видел. Где? Какая, на самом деле, разница, если так оно и есть.

17

Между тем оказывается, что ощущение, будто бы я уже видел эту Лючию, находится как бы на двух уровнях, на двух ярусах воспоминаний: первый, прямой и непосредственный, хранит память об одной прекрасной, но обезображенной, таинственной, трагической, неизвестной и уже такой далекой молодой женщине из Брюсселя, которую я так и называл — неизвестная из Брюсселя; второй глубже и, без сомнения, еще запретнее: служанка напоминает — ну как тут не разинуть рот от изумления? — саму Анн-Мари. Что за приоткрывшиеся врата бездны, какая разодранная глотка, глубина разрыва в луче славы соединяют служанку и госпожу?

На первом из этих двух уровней — одно, уже относительно старое, но подлежащее осмыслению воспоминание.

Вот уже три года, как княгине де Круа, Флоранс, пришло в голову основать в Брюсселе, «между Гран-Пляс и площадью Саблон», своего рода «литературное кафе», как она говорила, «нового, открытого для всего, типа», een helemaal nieuwe soort, waar iedereen welkom zal zijn, под обаятельным названием «Жак Фаталист».

И я вспоминаю, что вечером 13 мая 1975 года, уже после презентации этого заведения, главной темой которой было «обсуждение проблемы фатальности и возобновление постановки ее под вопрос», de fataliteit in discussie trekken, en die in vraag stellen, мы сидели с Флоранс за столиком и пили шампанское, а к нам присоединилась, вся словно в оболочке неведомо какой искрящейся печали, Элен де Франс, пожелавшая обсудить с Флоранс некоторые светские новости, хотя надо было обсуждать или хотя бы начать обсуждение, знала она об этом или нет — но как она могла это знать? — то, что я не могу назвать иначе, как *концом мира*.

Именно там, как подсказывает мне, впрочем с некоторой неуверенностью, вызванной сладостным плаванием в пене всего этого царственного щебетания, память, возле нашего столика будто бы появилась и некоторое время стояла молодая темноволосая женщина, довольно высокая. Она молчала, однако от молчания ее, как от лампы в абажуре, исходило какое-то тайное сияние. У этой женщины, мне не знакомой и никем не пред-

ставленной, левая часть лица была рассечена длинным пунцовым шрамом. Чего не помню, так это пришла ли она вместе с Элен де Франс или просто с ней поздоровалась, проходя рядом, как раз тогда, когда мы сидели все вместе, но хорошо помню, что, как только она словно попала в туннель моего бессознательного, обращенного к ней желания, мои движения как бы гипнотически замедлились.

Казалось бы, это все, но в том-то и дело, что Лючия, юная португальская служанка Анн-Мари, явившаяся мне сегодня после полудня, и есть на самом деле живой образ неизвестной из Брюсселя, изуродованного Единорога, столь недоступного на моем уставленном множеством выстроенных Элен де Франс — и даже Флоранс де Круа — ловушек пути, оживший образ точь-в-точь того же галлюцинирующего явления — особенно схожи страшный, бороздящий лицо пунцовый шрам и повлекшее меня к незнакомке тогда, в Брюсселе, внутреннее дыхание. По меньшей мере, я не знаю, какая немислимая мистерия, какое невыносимое чудо сделало служанку из Версаля глубинной копией неизвестной из Брюсселя, тем, что еврейская каббала называет «дыханием костей», *Nabal Garnim*, или же за лживым и затмевающим, поработавшим инобытием видимостей, сколь они ни устойчивы, просвечивает очевидность их тождественности? И здесь важно не ошибиться: отрицать сущение видимостей — значит отрицать мир вообще и его световое измерение, а утверждать сокрытую идентичность двух молодых женщин с одинаково изуродованным лицом — значит отрицать мир подземный и его ночную славу, спаситель-

ную славу «солнца мертвых», провозглашенную мастером Филиппом Лионским.

Повторяю: таинственное сходство Лючии и ее завуалированная идентичность столь притянувшей меня к себе 13 мая 1975 года в Брюсселе неизвестной подруги Элен де Франс, появившейся после открытия «литературного кафе» Флоранс де Круа, и образовало первую причину, или, как я уже это назвал, первый ярус испытываемого мною ныне недомогания, легко, на первый взгляд, преодолимого, но никак не ослабляющего тенета отчаяния, очарования и ужаса, недомогания, гипнотически манящего туда, куда я должен идти.

Второй же ярус весь и навсегда покрыт мраком. Единственное, что можно сейчас об этом сказать: его глубокий зов указывает также и на *некую схожесть* ее — с трудом решаюсь об этом писать — с самой Анн-Мари.

На самом деле, несмотря на почти тридцатилетнюю разницу в возрасте и некоторые другие вполне определенные вещи, Лючия все время напоминает мне Анн-Мари. Каким образом? Я этого не знаю и не хочу знать. Это нечто темное и могущественное, нечто указующее — при субверсивном приближении к нему на уровне видимостей — на совсем иной уровень бытия с не схваченными мной пока еще очертаниями, но уже затягивающими самым своим существованием в безымянную бездну ужаса.

Лючия, *неизвестная из Брюсселя*, Анн-Мари? *Неизвестная из Брюсселя* на первом и Анн-Мари на втором ярусе одного и того же недуга бытия, одного и того же головокружения вокруг Лючии, остающейся в обоих случаях тождественной себе самой чрез отражение в каждом из своих дублей. Не следует ли рассматривать всех их троих, только взывая к теургической диалектике, тайну которой составляет Высшее Пламя Тантры, то есть взывая к *четвертой*, дублирующей третью, той, которая поглощает, разрушает, возгоняет и воспламеняет всех троих в пылающей и пламенеющей короне сокрытого солнца, дающего здесь, в Усадьбе Милосердия, убежище Единственному Солнцу, солнцу нашего Благородного Милосердия?

Фантазия? Огненная и пожирающая, но фантазия? Возможно. В любом случае я буду столь живо желать ее осуществления, что она уже сможет оставаться просто фантазией, ибо все противоположное — как можно по-прежнему в этом сомневаться? — так или иначе будет невыносимым, будет ничем иным, как концом всего — необратимо.

Но не должен ли я отныне ожидать самых наихудших приступов сам не знаю чего в себе самом и столь волнующем течении моей жизни, преследуемой, как я всей кожей чувствую, страшной тайной, каковая есть последняя тайна

Жребия, Жребия, Жребия

Анн-Мари возвращается сегодня вечером, несомненно очень поздно. Следовательно, объясниться можно будет завтра.

Ускорю ли я тем самым ход вещей? Боюсь, мне ничего не удастся. Во всяком случае, завтрашний день будет ужасным.

В ожидании бросаю все дела. Остаюсь в своей комнате, откуда не выйду до завтра.

Чтобы хоть чем-то заняться, возобновляю редактирование некоторых моих заметок и, как бы ни работало это сейчас против меня, внушаю себе, что ничего не произошло. Наступил час быстрого падения тишины, и я как бы стратегически подвешиваю собственную жизнь над пропастью вмененного ей последнего недеяния.

Оказавшись, если точно выражаться, на пламенных и пылающих путях *более чем человеческого*, я в этот час чувствую фундаментальную, одновременно разрывающую и накаленную до глубин следующей за ней свиты предчувствий единственную проблему — проблему живой, прямой и непрерывной связи с *Внешними Разумными Сущностями*, находящимися вне мира и над миром.

С другой стороны, *что такое геополитика?* Непрерывное осуществление фундаментального стратегического, сверхстратегического проекта конечного господства над миром, именно так. Следовательно, в этом смысле геополитика определяется через фундаментальный концепт *Endkampf*, который, собственно, и есть концепт последней битвы за мировое господство.

Однако перед лицом наших прошлых, нынешних и грядущих геополитических деяний я утверждаю сегодня революционное действие галактического масштаба, пришествие того, что именуется *великой геополитикой*, в центре которой уже не только планетарная *Endkampf*: нет, я говорю о последней революционной битве за господство над всей нашей галактикой, а следовательно, и над всем космосом бытия и небытия, огня и льда в их живой полноте, каковому *великая геополитика* уже сегодня вменяет цель, долженствующую быть немедленно достигнутой — по ту сторону скорого перехода границы третьего тысячелетия.

Но *и я сам*, подобно фундаментальному концепту *великой геополитики*, чаемому концепту Великого Возвращения, *отныне обретаю свои обитатели Севера, озаренные молниями*.

Я говорю о концепте Великого Возвращения, в котором вместе с наиболее авангардным теургическим выражением парагалактического концепта *Höhe Rückher*¹, чей самый новый образ встречается в глубинах моего

¹ Высшего направляющего начала (*нем.*).

бытия с моим же древнейшим саморастворением и амнезическим образом бытия, в зоне высшего внимания, бытие-во-мне соединяется с его собственным, бездонным небытием и возносит последнее в область вневременного сияния, поглощающего время и утверждающего преонтологически догматическую идентичность моего тайного имени, соединенного с ним после отворения во мне бездны *pondum erant abyssi et ego concersus eram*¹.

нищая Шехина под покровом, разорванным
столь медленным ходом луны,

я, не поворачивая головы, пробужденный
в стеклянных жилищах с ветряными дверьми,
дверьми из теней,
обретал твое самое древнее имя и пил
твою самую новую кровь

в Тайне леса обрел я дыхание твое, столь ясное,
столь желанное, брал его у тебя, тебе отдавая свое

20

Все, следовательно, придет ко мне чрез забвение и в глубине самого великого забвения, а потому далее я воспеваю вспоминать о самом себе, кроме как о predetermined символе всякого нынешнего или буду-

¹ Я родилась, когда еще не существовали бездны (*лат.*) [Притч. 8:24].

щего деяния на одинаково огненных и ледяных путях Höhe Rückher; я внезапно осознал это однажды, в марте прошлого года, по пробуждении, подобном шоку от пришедшей извне, да еще какой непереносимо чистой белизны, зарницы, в разворачивании действия космогонической структуры, проецируемой на нашем Западе «Холмами» Хория Дамиана.

По самому ясному, самому огненному, самому тайному зову небес, чрез малейшее шевеление речных валунов, песков, почвы и грязи, эти самые заброшенные, самые ничтожные земляные, гравиевые холмы головокругительно, литургически располагаются и теургически переходят в спираль дыхания Внешних Разумных Существ, вовлеченных в великое галактическое сражение Höhe Rückher.

И если в других местах время литургической затворенности, вневременное время тайного евхаристического пламени преходяще, то на «Холмах» Дамиана оно субверсивно наступает для того, чтобы там остаться и стратегически утвердиться, сияя и распространяя свое сияние с каждым ударом.

Следовательно, именно на эту незримую Микронезию, в каковую превращается, оставаясь тем не менее в собственном пространстве, система «Холмов» Дамиана, уже вошедшую или еще только входящую во внутреннее бытие нынешней семиологической правомочности западного мира, призван опереться и уже, без сомнения, хотя и очень сокрыто, опирается великий пространственный и временной, более того, транспро-

страстный и трансвременный заговор Небесного Сияния, вовлеченного в операцию по окружению, подрыву и последнему переворачиванию наших темных времен, властвующих над тьмой мира тьмы, над *царствовавшей вчера пустыней*, как говорил Ив Бонфуа.

21

Бесконечно преступная иллюзия того, посредством чего внутренняя агентура влияния могущества тьмы, по стыдности и онтологического забвения устанавливает опоры своего господства над сегодняшним миром, каковой есть мир неотвратимости конца мира, преступная иллюзия, повторяю, того, посредством чего сегодня водворяется и правит великая ночь, лишаящая нас внутри нас и через нас на видимом и невидимом марше мировой истории всякой надежды на наступление дня, есть иллюзия одновременно тотальная, безжалостная и как бы с самого начала не оставляющая никакой надежды на хоть какое-то возвращение к жизни, на какое-то конечное завершение мира, все-таки данного нам в удел не ради смерти, но ради жизни, *как дар жизни*.

Безусловно, и сегодня, более чем когда-либо, господство тьмы над миром, отданным ей в эксплуатацию, представляется не подлежащим какому-либо облегчению и со всею ясностью никогда не должным иметь конца.

Однако в то же время область этого господства не может, как в самой себе, так и во времени, для него узаконенном, не быть чем-то иным, кроме как теологальной

пробой, тенью, темным удвоением, зарождающимся, размножающимся и удерживающимся на поверхности сущностей и явлений, а потому в их недрах глубинная империя на самом деле ни в чем ничему не подчинена и даже не поставлена под сомнение, готовая к всплытию как глубинная империя встречной пробы и репетиции последнего суда на черте перехода именно к этому суду, совершаемому через бездонный, призванный стать великим диалектическим переворачиванием конца всего, разрыв.

Там, поверх этих пропастей, — последнее из всего идущего в счет переворачивание и последняя битва, которая все решит навсегда.

22

(Тибет, желтые гладиолусы словно
сквозь единственное достоинство забытого слова,
превращенного в прах
отель «Виктория», у послед-
них пределов ужаса и тень его тени
в Сен-Лоран-де-л'Эскуриале)

(И все это в полной тишине. С кое-как прикрытыми уголком простыни грудью и низом живота. Но твердость ее взгляда, вопреки слезам и вопреки тому, что произошло на полпути между явью и сном, все-таки помешала мне произнести хотя бы одно слово, способное свободно предать нас в собственные руки, а затем и без тени сомнения перенести в любовном огне в про-

пасть утоления крови и плоти, в такую близость смерти, откуда мы даже не могли бы собственными усилиями вернуться на срединные побережья жизни.)

23

— Всадники Апокалипсиса, ожидая близкого конца, вступают в борьбу со Зверем, который, согласно предсказаниям святого Иоанна, должен появиться на заре Апокалиптических Времен и выйти из моря или, точнее, из Бездны, места, которое, согласно преданию, находится у врат Древнего Мира, где-то посередине между Гадесом, ставшим потом Кадиксом, и африканским берегом. <...>

По моему мнению, Всадники Апокалипсиса существуют вечно. Таково свидетельство режиссера фильма об Апокалипсисе. Но сам факт его принятия, без сомнения, указывает, что Робер Нуар в 1942 году считал себя продолжателем того, что делал Блейк в 1656-м.

— Это, без сомнения, тревожно, — забормотал его собеседник, — но блистательный Блейк не был преступником.

— Мы в этом также убеждены, — подтвердил Шарль, — но знаете ли вы, что именно с него началось создание этой страшной секты?

— Да, и это самое тревожное во всей этой истории.

Рауль де Варен. Зверь Апокалипсиса

Пересматриваю в связи со всем этим теперь уже никак не влияющее на ход истории собрание сверхсекретных документов AMSAR, помеченное кодовым названием «Досье „Всадники Апокалипсиса“».

На данный момент это досье состоит из восьми скрепленных между собой важнейших текстов — копий четырех писем, адресованных AMSAR находящимся на ответственных постах влиятельным политикам, и оригиналов четырех «записей бесед» с тем, кто сокрыто обозначен там под именем Сильван Репробат¹.

Если быть точным, речь идет о фотокопиях двух писем, датируемых соответственно 31 июля 1947 года и 27 февраля 1976 года и обращенных нами к Хесусу Фуэйю, директору Института политических исследований (пласа де ла Марина Эспаньола, Мадрид); фотокопии письма от 8 декабря, отправленного нами премьер-министру Жаку Шираку (резиденция Матиньон, Париж), а также фотокопии письма от 15 июля 1977 года, нами же адресованного в парижский, центральный, штаб партии ЮДР («Союз в защиту Республики») лично Мари-Франс Гаро.

КОПИЯ 1 нашего письма от 31.VII.1974 к Хесусу Фуэйю, директору Института политических исследований (пласа де ла Марина Эспаньола, Мадрид)

Как Вам и самому хорошо известно, нас сегодня достаточно много для того, чтобы с нашей помощью можно было тайным образом осуществить идеальную проекцию Большой Медведицы во внутреннем пространстве Западной Европы.

В связи с этим кратко скажу Вам так: сегодня, как и вчера, все исторически существенное вращается вокруг *абсолютного концепта* Третьего рейха. При этом я полагаю, что

¹ Лесной Распутник (*лат.*).

идея Третьего рейха, его собственного бытия и его мистериологии бытия, то и другое единоименно зачатое соответственно внутри Истории, как начертание, и по ту сторону Истории, как обретенная на краю бездны и описанная в рамках сотериологического знаменья kata-exon из Второго Послания святого апостола Павла к Фессалоникийцам, Послания о Великом Возвращении, передышка, содержится в хорошо известных Вам книгах «Решающие годы» Шпенглера и «Третий рейх» Мёллера ван ден Брука и уже оказывает свое действие через эти книги. Книги проклятые и самоубийственные, сожженные самой собственной сущностью из-за ее слишком очевидной близости к живому становлению Истории, ее смятению и срыву под откос, тайное имя коему — фатальность.

Однако сегодня наступают иные времена.

Времена парусиального завершения, головокружительное развитие которого охватывает изнутри мистирию Окончательного Конца. Времена Великого Растворения, Mahapralaya, несущего в себе непорочное зачатие Великого Возвращения.

И эти времена можно назвать абсолютно новыми настолько, что вплоть до последнего мгновения они должны оставаться для нас непостижимыми, более того, как писал Хайдеггер, *unvordenklich*, «непредмысленными». «Внутри эпох, — говорил Гёте, — неоткуда созерцать иную эпоху». Все познаваемое принадлежит прошлому, и поэтому не только наступающее, но и присутствующее сокрыто.

Наступающее остается и всячески стремится остаться непостижимым.

Но, с другой стороны, не менее очевидно следующее: эти абсолютно новые времена должны действительно возоб-

ладать над их собственной изначальной невозможностью только при одном условии: все историческое предшествование должно быть поглощено и обращено в прах опустошительным небытием междуцарствия.

Явлению нового должно предшествовать необратимое исчезновение прежнего.

Однако поглощение, уничтожение эпох есть прежде всего уничтожение диалектическое. Дабы разрушилось подлежащее разрушению, необходимо, чтобы кто-то назвал его таковым и тем самым сознательно уничтожил ничто, которое ничтожит. Возвращение всякой вещи к собственному, наиболее справедливому, но и наиболее опасному, измерению и означает немедленный запуск процесса конечного диалектического уничтожения, составляющий активную, решающую цель вашего эссе «Возвращение Будд». Речь идет о диалектическом уничтожении всего того, что отныне в истории западного сознания есть лишь ветошь и прах, тень тени, пусть даже все еще отбрасываемой, всего того, что в сумеречном сознании находится у точки конца истории Запада и безутешно требует ее стремительного продолжения, взывая к отверстой бездне перехода к бездне последней. Только если понять, что мы, находящиеся сегодня на черте перехода люди переломной эпохи, оказались одновременно мобилизованы и заблокированы, и сама Мировая История в ее тотальности, весь ее цикл и уже завершенное сознание необратимо оказываются позади. Это означает следующее: огненный круг нашей сегодняшней галлюцинирующей верности окончившемуся крахом и тьмой былому есть не результат запрета, не остановка времени, не ледяное покрывало грез о том, чему не суждено вернуться к истинной жизни, но эйдетический венец огненного ведения, пылающего по ту сторону бездны, отверстой уже после конца, погребальный костер для всего того, что в смерти и чрез саму смерть

вырывается вперед к иным возобновлениям, делающим смерть своею частью, каковая уже не есть ничто.

Сегодня Мировая История более не вовлечена в длительность длящейся историчности, она более не есть что-либо иное, кроме как свой собственный прототип.

Так, в том измерении, где «Возвращение Будд» есть книга, чья вовлеченность в Историю все более означает ликвидацию, диалектическое уничтожение Истории, эта книга, подспудно и сущностно субверсивная, становится оружием грядущего, метеоритом, явившимся извне ради перехода нынешнего *saeculum*¹ в иной, то есть поглощения того, чего *нет уже*, тем, чего *нет еще*.

Раймон Абеллио говорил о дурно пахнущей покойницей этих лет мирной передышки и о том, что именно в подозрительный час отказа Европы от попыток ее исторического существования произойдет Успение, то есть смерть Европы, соединенная с ее восхождением: в глубинах своих «Возвращение Будд» сегодня приближает конечное Успение Мировой Истории и ее последних состояний сознания. Состояний сознания, когда внутренний закат, закат, вступает во внутренний брак как в разрывающую небо зарницу, где должен явиться в собственной преонтологической наготе уже вечный Запад, Закат, с каковым всему приходит конец. Всему. А значит, и самому концу.

Войти, таким образом, в состояние конца — значит войти в Братство Всадников Апокалипсиса, в тайный орден того, что по ту сторону конца, любого конца.

¹ Века (*лат.*).

КОПИЯ 2 нашего письма от 27.II.1976 Хесусу Фуэйо, директору Института политических исследований (пласа де ла Марина Эспаньола, Мадрид)

Но что такое голлизм конца? 27 августа 1973 года в газете «Комба» я писал: «Сегодня нашу судьбу составляет переход от национального освобождения к континентальному». Голлизм конца есть завершенное геополитическое понимание последних судеб самого голлизма, и, кроме того, сегодня голлизм конца есть активная подземная геополитика континентального освобождения на марше к Великоконтинентальному Heartland, как называл его сэр Хэлфорд Макиндер, к бьющемуся сердцу евразийских Сердцевинных Земель, всплытие которых на поверхность и последнее проявление в реальности Мировой Истории со всей окончательной достоверностью означает вхождение истории во времена окончательного, конечного трансисторического завершения.

Если голлизм конца стремится стать тотальной геополитикой, то его наиболее активное самоопределение как раз и тождественно геополитике как таковой, геополитике в ее самых передовых сегодня качествах, контрстратегического и планетарного авангарда, озаряющего путь и пароксистически вдохновляющего прямую политико-историческую вовлеченность на марше.

Но правомерен ли вопрос о том, что такое *большая геополитика* и что она есть сегодня? Согласно нашим последним исследованиям, большая геополитика есть на самом деле непрерывное всплытие одного и того же постоянного проекта конечного господства над миром и, таким образом, может быть определена через фундаментальный концепт Endkampf, последней битвы за тотальное мировое господство.

Таким образом, для нас голлизм конца есть голлизм Endkamph, голлизм последней битвы за тотальное мировое господство.

Но голлизм конца есть также, парадоксальным образом, голлизм новых времен, еще только и уже наступающих и все более осознаваемых как глубинный зов к активному прямому преодолению как национал-социализма гитлеровского, так и национал-континентального социализма сталинского сокрытым — пока — могуществом третьего порядка, призванным придать революционное дыхание и силу оружия скорому западному, закатному, последнему возобновлению бытия в третьем тысячелетии. Но должное и имеющее прийти обретет свой собственный лик, лик живой ясности только на черте перехода к следующему тысячелетию, откуда до нас доходят лишь отдаленные раскаты гроз. Но за этими грозами — вселенская северная заря.

В то же время решительный поворот, начало коему положено публикацией в «De l'Atlantique au Pacifique»¹, в любом случае есть только непосредственно видимая часть айсберга, он требует всеобщей мобилизации всех *наших*, требует продвижения в глубины, из которых каждый из нас должен на своем месте ждать уготованного ему призыва. Ибо в этом новый долг, новая свобода и новая жизнь, *vita novissima*.

...В глубинах своих, — писал я в сообщении от 31 июля 1974 года, — «Возвращение Будд» сегодня приближает конечное Успение Мировой Истории и ее последних состояний сознания. Состояний сознания, когда внутренний запад, закат, вступает во внутренний брак как в разрывающую небо зарницу, где должен явиться в собственной преонтологической наготе уже вечный Запад, Закат, с каковым всему приходит конец. Всему, а значит, и самому концу.

¹ «От Атлантики до Тихого океана» (фр.).

Сила, и только сила, всякий раз приближает Историю к концу цикла и часу последнего растворения, Mahapralaya, всегда находясь по ту сторону наваждений, провалов и субисторических драм. Но это уже совершенно новая, находящаяся вообще по ту сторону деградации исторических эпох, абсолютно новая, живая, тотальная, *иная сила*.

На немедленное и прямое революционное овладение этой *иной силой* и направлено в конечном счете действие, подобное тому, к которому мы сами только что приступили через революционный проект, запущенный нами в ход публикацией в «De l'Atlantique au Pacifique», на определенной или еще находящейся в стадии определения линии фронта.

В этом основной парадокс нашего нынешнего предприятия: чтобы овладеть этой *иной силой*, следует вновь погрузиться в темные причины, каковы бы они ни были, нынешнего состояния Истории, принять бой на уровне нынешнего положения вещей, на внутреннем фронте антиистории. Иначе говоря, сделать так, чтобы лицом к лицу с могуществами и полным господством тотальной антиисторической субверсии стать *субверсией иного порядка* и таким образом силой захватить непосредственные и самые передовые контрстратегические командные посты.

Такова для нас контрстратегическая доктрина *очищения пустотой*, активная диалектика этой *иной субверсии*: субверсивно усиливая внутренние противоречия, ускорять идущий процесс антиисторической путрефакции, дабы вновь вызвать последнюю молнию в ожидании решительного часа, когда этот процесс, уже объявленный, окажется необратимо соединенным с самим очищением пустотой. По ту сторону конвенциональных манипуляций на уровне прямой политико-административной провокации всегда стоит провокация трансцендентная, никем конкретно не манипулируемая, ибо она и есть История в ее тайной глубине.

Из этого совокупного рассмотрения вытекает, следовательно, — и, я полагаю, со всею очевидностью, — до какой степени и сколь срочно книга, подобная «Возвращению Будд», необходима сегодня для создания боевой доктринально-идеологической организации нового типа, *специальной идеологической организации*, имеющей целью диалектическое вооружение срочного и прямого политического действия в рамках *иной субверсии*.

Ибо именно трагедия исцеляет судьбу.

Речь идет о трагедии, исцеляющей судьбу всякий раз на путях возвращения на прямые дороги, каковые Майстер Экхарт именовал *Rechte Meinung*¹, вновь становящиеся для нас *sacramentum fidelitatis*² нашего возвращения к древней чести и верности.

Что касается меня, то я был бы, в частности, очень заинтересован, особенно при нынешнем положении вещей, в том, чтобы предложить вам разработку нового концепта современной Испании, нового ее фундаментального геополитического проекта в двух аспектах — европейском и латиноамериканском. Ибо я сам в последние годы, работая над книгой о *Внутренней Испании*, приблизился к пониманию подземной тайны Испании как тайны конца мира и к тому, что час Испании вновь должен пробить на черте революционного перехода от конца к возобновлению завершающейся сегодня Мировой Истории.

Следующее столетие, — утверждал Ницше, — *принесет нам борьбу за мировое господство*. Она уже идет, и вот мы все здесь. Также Ницше писал: *Россия должна стать госпожой Европы и Азии. Она должна колонизировать и завоевать Ки-*

¹ Правильное мнение (*нем.*).

² Присягой на верность (*лат.*).

тай и Индию. Европа же будет тем, чем была Греция при господстве Рима. Но тот же Ницше в состоянии высшего озарения понял, что сама идея политики будет полностью абсорбирована борьбой духов.

В этой конечной перспективе перехода к тому, что Ницше называл *борьбой духов*, мы и задумали разработку конечного контрстратегического проекта *идеологической организации особого назначения*, призванной диалектически вооружить непосредственные политические действия *иной субверсии*.

КОПИЯ 3 нашего письма от 8.XII.1975 премьер-министру Франции Жаку Шираку, резиденция Матиньон, Париж

Как Вы можете убедиться, именно попытки опираться — настолько часто, насколько это возможно, — на Вашу собственную политическую мысль и ее глубинные аспекты лежат в основе текста, озаглавленного «От освобождения национального к освобождению континентальному» и положившего — наравне с передовицей в «De l'Atlantique au Pacifique» — начало разработке геополитического концепта нового типа, тотального геополитического концепта новой континентальной и мировой судьбы Франции, отталкиваясь от которого мы стремимся выстроить тезисы идеологического и политико-стратегического действия силы, уже именуемой нами *голлизмом конца*, голлизмом последнего на Западе встречного огня против тьмы.

На самом деле наш анализ в его наиболее передовой диалектической совокупности завершается четырьмя следующими выводами.

1. Сегодня, в эти огненные годы, Мировая История приближается к фундаментальному повороту, когда измерения и избрания судьбы не идут ни в какое сравнение с предшествующим ходом текущего, находящегося ныне в стадии окончательного завершения исторического цикла, к повороту, чьи подземные сейсмические разломы решающим образом изменяют судьбу пребывающей в состоянии открытого, тотального и необратимого кризиса цивилизации, к повороту, в любом случае имеющему привести ее, Мировую Историю, в бездонную глубину бездны, откуда нет возврата.

2. Однако на внутреннем горизонте этого абсолютно конечного расклада, озаренного трагической и обнаженной, вызванной самим неумолимым ходом вещей мгновенной зарницей, единственная возможность приостановки и удержания судьбы в руках, последний шанс на спасение и освобождение все еще принадлежит Франции, Франции, призванной чрез осуществление идеи голлизма конца исполнить свое самое глубокое и самое тайное, последнее предназначение — духовно, а затем и реально взять на себя ответственность за политико-историческое решение о начале последней великой битвы цивилизации, истории и судьбы и тем самым силой разорвать связи теневых могуществ отрицания и хаоса.

3. Призванный прежде всего к утверждению перехода от освобождения национального к освобождению континентальному, голлизм конца, то есть сущностное обретение революционного сознания, не сможет преодолеть черту исторического предела, если не выйдет на уровень непосредственного и прямого политического действия нового типа в революционном движении народных масс.

4. При этом сегодня внутри самого голлистского движения только Вы, господин премьер-министр, способны взять на

себя ответственность за драматическую судьбу нового перехода к истинной Истории, а следовательно, вся наша борьба с самого начала основана на тайной идентификации того, что мы именуем *абсолютным концептом голлизма конца* лично с Вами, призванным этот концепт осуществить, ибо он и есть Ваше глубинное, Ваше трагическое предназначение.

Что касается нас самих, господин премьер-министр, то мы, призывая Вас, пока тайно, к изменению истории конца истории, который должен и может быть осуществлен только Вами, точнее, не может не быть осуществлен Вами, находимся рядом, бок о бок, заверяя Вас в нашей живой и озаренной верности передового батальона ближайшего идеологического обеспечения и наступления, предоставленного в распоряжение Вашего грядущего диалектического действия на марше.

Именно поэтому, господин премьер-министр, я позволяю себе просить Вас проявить добрую волю и дать мне возможность встретиться с Вами и во время этой встречи лично и наедине ознакомить Вас с нынешним состоянием нашей борьбы и, прежде всего, с той реальностью судьбы, что, пока не имея имени и лица, необратимо явится в свое время открыто.

Должное свершиться непременно свершится. И вместе с Пьером Росси мы можем сказать, что *уже поздно и времена стали для нас невероятно тяжелы.*

КОПИЯ 4 нашего письма от 15.VII.1977 Мари-Франс Гаро, штаб-квартира ЮДР, Париж

В прошлом июне (в июне прошлого года), 3-го числа, на стадионе Коломб Жак Ширак заявил: «Некоторые лица, как мы знаем, уже готовятся плести интриги, компромети-

ровать, клеветать. Как будто игра уже сыграна, как будто худшее неизбежно, как будто все усилия тщетны. Мы же верим, что заранее проигранных битв не бывает. Эту битву мы выиграем, я убежден». И далее: «Эта новая политика сама по себе требует новой национальной политики. Настало время предоставить воле нации новый и решающий шанс, согласный с социальным духом голлизма». И еще: «Битва, которую мы готовы принять, есть битва историческая. Мы рассчитываем на формирование большинства завтрашнего дня».

Это большинство завтрашнего дня, новое большинство, фундаментальный концепт нынешней голлистской политики, требует, как утверждает Жак Ширак, «новой политики», «новой национальной воли». Одновременно тайный и видимый эпицентр этого нового большинства, новой политики и новой национальной воли есть сегодня (и останется им на ближайшие, абсолютно решающие, годы) сам Жак Ширак, «абсолютный концепт», призванный в себе и собою воплотить Историю Франции и всего нашего континента на марше.

«...Проснись, наконец, Европа», — сказал недавно Жак Ширак. Сегодня для нас вместе с Жаком Шираком возвращаются времена, которые Ницше назвал «Великой Историей». Перед лицом нынешней политико-исторической катастрофы европейской континентальной идентичности с ним все снова становится возможным. Времена пришли, и мы на посту.

Вот почему я позволяю себе просить Вас о срочной встрече, полагая, что могу представить себя и моих товарищей — не все из нас могут открыто воевать на передовой — в качестве вовлеченных Жаком Шираком участников общей битвы на двойном уровне новой национальной воли и последнего, самого глубокого, тотального пробуждения Европы.

Что касается наших неизменных позиций, они, я думаю, предельно ясны.

В передовой статье первого номера «De l'Atlantique au Pacifique», определяющего наши представления о голлизме и нашу тайную уверенность в последней судьбе, трансцендентальной судьбе Жака Ширака, мы писали:

«Именно благодаря ЮДР и связанному с ней великому национальному движению, которое ЮДР как авангардная партия, партия нового типа сумеет мобилизовать и запустить в решающий час, Франция способна на обновление судьбы, способна чрез это обновление создать политико-стратегическую основу новой мировой революции в Европе.

Так, только отталкиваясь от авангардных континентальных позиций, заявленных ЮДР, бойцы и революционные активисты европейской идеи обязаны утвердить линию новой битвы, определить новые национальные и континентальные измерения самой этой битвы и на деле перейти к континентальному освобождению, в котором наше поколение сегодня призвано опознать свою собственную судьбу и свое высшее испытание.

Враг, которого мы должны уничтожить, *тотальный враг*, воплощен сегодня в мировом заговоре, стремящемся воспрепятствовать возвращению Франции и, вслед за Францией, Великой Европы к истокам своего сознания.

Масштабы идеологического пробуждения и комплектования кадров, а также перемены, уже идущие во Франции, равно как и по всему континентальному пространству Великой Европы, ответственность за которые несет ЮДР, огромны, однако, без сомнения,

окончательное революционное решение принадлежит не всей партии, а ее внутренним группам. Именно эти последние призваны принять решение о старте контрстратегических действий, которые предусмотрены или еще только должны быть предусмотрены во имя полной остановки нынешнего развития ситуации: пока что враг все еще тайно владеет всем включенным в игру политико-историческим пространством, а его наиболее передовые форпосты уже открыто действуют во Франции, в Европе и даже в наших собственных рядах.

Таким образом, основной обязанностью ЮДР в наступающие времена будет открытое самоопределение в качестве силы сохранения и революционного развития мировоззренческой концепции, связанной с местопребыванием последнего прибежища свободы и жизни перед лицом и в окружении *сил негативного всемогущества*.

<...>

Ибо сегодня, как и вчера, в состоянии бесчестного и униженного истощения и, в конце концов, смерти, навязанной нам *всеми ими*, есть только два решения, два подхода: сражаться или, подчинившись, самим оказаться причастными всему идущему на нас только для того, чтобы унижать, разрушать и уничтожать.

Но все то, что на перепутьях всякий раз перед лицом сумерек выявляет или героический и чистый выбор одинокого человека, или пораженчески альтернативное такому выбору соскальзывание в безвозвратность, в ничто и в бесчестье, точно так же и столь же законно выявит и окончательный выбор судьбы наций, рас и цивилизаций, само существование которых окажется однажды вновь поставлено под вопрос тотальным врагом.

Бороться против тотального врага, как известно, значит прежде всего принять решение о тотальной битве, тотально привязанное к тотальной цели — уничтожению тотального врага, тотальному его разрушению. И здесь нет ничего проще, чем указать, как это, в его самый суровый час, и было сделано голлизмом, что ситуация, навязанная Европе, ее Западу и Востоку, после 1945 года, и есть ситуация тотальной битвы, когда опознание и определение тотального врага сегодня, как и вчера, является для Европы диалектикой выживания, призванной противостоять диалектике уничтожения.

Безусловно, представляется сущностно значимым, особенно сегодня, отметить следующее: даже если при нынешнем положении вещей, сегодня, без сомнения, еще слишком рано говорить о проекте уничтожения *европейских народов* в их живой целостности и совокупности, все равно невозможно не быть уверенным в существовании единой, решительной и активной воли структур глубинной субверсии добиться — тайно и наиболее совершенными оперативными способами — нейтрализации и отчуждения *европейской цивилизации* от ее исторической судьбы. Остальное, безусловно, предусмотрено в свой черед: цивилизация, смертельно раненная в самом бытии ее сознания, не замедлит впасть в отчуждение от собственной судьбы и прогнет до самого своего костяка, будет гнить заживо, во плоти и крови своих народов, уже бессильная оживотворить их становление».

(Здесь я в изнеможении, в усталости, близкий к помрачению сознания от тщеты этого всего, бросаю воспроизводить свое письмо к загадочной советнице Жака Ширака. Дальнейшие мои заметки сделаны уже этой ночью

и передают, я уверен, мое состояние в этот час слепой — и какой же бездонной! — тревоги перед лицом надвигающихся непредвиденных событий, неизбежно влекущих меня к *переходу черты*. Говорят о маячащей во мне и подо мной черной и ледяной тени «цивилизации, смертельно раненной в самом бытии ее сознания».)

(И еще о невыносимом тайном бремени *авангарда смертников гибнущей Мировой Истории*, которые в то же время составляют *передовой фронт ее последних гиперборейских измерений*. Я знаю одно: ничто не остановит меня более ни во тьме, ни при слепящем апокалиптическом свете последнего дня, ибо путь моего служения определен от начала.)

(Должное свершится в Истории, и прежде всего в *Великой Истории*, свершится, без сомнения, — всегда. Если нынешние наследники величайшего трансисторического начертания генерала де Голля окажутся неспособными — а похоже, это так и будет — не только совершить в ближайшей и отдаленной перспективе одновременно национальное и континентальное, планетарное политико-историческое действие, но, прежде всего, понять и усвоить истинные, сверхчеловеческие и трансисторические, ставки, равно как и гигантскую, пока еще не подлежащую оглашению, *высшую миссию*, открывшуюся взору Одинокого Человека 30 мая 1968 года и подвигшую его на предсмертное *двойное паломничество* в Сантьяго-де-Компостелу и Ирландию, иначе говоря, сегодня утвердить наследие, прерогативы и тайну великого голлистского действия на сокровенном марше в жертвенном авангарде Мировой Истории на стадии ее сворачивания.

Movebo Candelabrum, как было сказано. Так Ангел Откровения, оборачиваясь к Церкви Эфесской, говорит: «Ты много переносила и имеешь терпение, и для имени Моего трудились и изнемогала. Но имею против тебя то, что ты оставила первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты ниспослана, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, Movebo Candelabrum (Откровение Иоанна Богослова 2)¹.

Если сегодняшние голлисты окажутся неспособными полностью воспринять то, что должно быть ими субверсивно воспринято, вменено и утверждено, неспособными воплотить оставленное им в решающий час завещание генерала де Голля и узкого тайного круга Всадников Апокалипсиса, то тогда, без сомнения, эту последнюю миссию революционного разрыва и трансисторической *встречи*, путь к которой проложил генерал де Голль, возьмет на себя французский национальный и континентальный социализм во главе с Франсуа Миттераном при поддержке национального большинства французского коммунизма, который также, как мы знаем и можем доказать, включает в себя последние и очень тайные гиперборейские измерения, равно как и высшую Полярную Идентичность.)

(Признаюсь, нашим интересом, очень запоздалым, если иметь в виду ночной, глубинный и революцион-

¹ Парвулеско отходит здесь от канонического текста. Как известно, эти слова говорит не Ангел, а Христос и обращены они не к Церкви, а к Ангелу. Тем не менее мы сочли необходимым сохранить авторскую трактовку. Отсюда неизбежные грамматические изменения в тексте.

ный, ход вещей, к Франсуа Миттерану мы обязаны исключительно Сильвану Репробату. Вначале, в 1960-е годы, и даже немного позже, нас удивляла, более того, раздражала *субверсивная склонность* Сильвана Репробата к *сокрытому облику* Франсуа Миттерана, которого он неизменно почитал имеющим особое предназначение, ведóмым «тайной звездой». Тайной звездой, в конечном счете отождествляемой с самим его именем¹, звездой, которая «на самом деле невидимо участвует в охоте воспламененных свор, возглавляемых Великим Псом²», звездой, особо сокрытой, но и особо могущественной, впрочем подверженной особого рода «медлительности» или, если угодно, «истоме»; «Очень значима эта медлительность, и даже очень вдохновенна», — признался нам однажды Сильван Репробат. С другой стороны, несмотря на все наши старания и самые хитроумные уловки, мы никогда не могли добиться от него ни указаний на определенные политические факты, ни двусмысленных и чарующих откровений по поводу покрытой мраком неведения частной жизни Франсуа Миттерана — ничего более или менее ясного, определенного. Оставалось только думать, что время пока не пришло: пусть ради терпкой старости и сладости коньяка бочковой дуб еще работает.)

¹ Франсуа (или Франк), согласно Хронике Фредегара, первый царь франков, потомок троянского царя Приама. Фамилию Миттеран (Miterrand) можно истолковать как «увенчанный митрой» и «в колпаке».

² Намек на Гончую (Veltro) из «Божественной комедии» Данте, предвещающую появление фигуры, именуемой Дух.

КОПИЯ 5

(Как я уже указывал, папка сверхсекретных оперативных документов под общим кодовым названием «Всадники Апокалипсиса», с которыми я пытался работать помимо выше цитированных обращений [к Хесусу Фуэйо, Жаку Шираку, Мари-Франс Гаро], содержит также оригиналы некоторых «записей бесед» с тем, кого ни в коем случае нельзя называть по имени, но можно лишь именовать его *nombre de eternal destierro*¹, — Сильван Репробат.)

Кто такой Сильван Репробат? Что можно сказать о нем, не срывая рокового покрыва? Вопросы, висящие над пропастью, если угодно.

Сильван Репробат сам по себе есть — и пребудет *до самого конца* — последняя ступень мировой субверсии в действии в ее двойной онтологической идентичности — видимой и *иной*.

Впрочем, о чем еще можно на очень высоком гипнагогическом уровне сновидения размышлять в Версале, в Усадьбе Милосердия, в отсутствие, все более внушающее тревогу, прекрасной Анн-Мари де Л., но также и в отсутствие того, о ком я сейчас говорю, в этих гостиницах, в этом парке, в этих тайных комнатах, на этих озаренных экстагическим светом террасах, где только и можно искать убежища, теша себя мечтой, чаще всего пустой, об истинном исчезновении, недостижимости?

¹ Именем вечного изгнанника (*исп.*).

(По поводу необыкновенных, обнадеживающих слов о спасении, сказанных мне Сильваном Репробатом в день непереносимой скорби. «Я отчетливо вижу тайный образ вашего окончательного освобождения. Я не должен был бы этого делать, но все-таки скажу. Она должна прийти, она абсолютно неизбежно придет к вам и сама первая заговорит с вами, *Regina Austri venit ad Salomonem*². В конце некоего времени вы ее внезапно узнаете сами, и в это мгновение уже все будет свершено, *все*. Ибо так вы поймете, что она пришла с той стороны смерти, что она не просто жива, но всегда одна и та же; и она любит вас как в первый день; что с вами, в вас ничего не изменилось; что так или иначе вы были избраны и с самого начала получили Тайное Право Владения Концом Миров, этого мира и всех остальных. Это варено и переварено на самых тайных огнях Великой Смерти — я имею в виду то, что вам будет дано свершить головокружительную апокалиптическую миссию. И еще я скажу вам так: это произойдет в послеполуденный осенний час, дымчатый... Вы будете чувствовать себя бесконечно усталым, разбитым, но в то же время исполненным таинственной радости, крепкой и ясной, как очень старое вино. *Sophia Basilea*³ сущностно создана из красного — это ее собственный цвет — и еще из философского зеленого; ее сияние — от живого золота, которое она в себе носит; это золото освещает ее тайное имя и ее обычное имя, одно и то же».)

(Все уже упомянутые четыре «записи бесед» с Сильваном Репробатом относятся к развивавшемуся под соб-

² Царица Южская входит к Соломону (*лат.*).

³ Царственная Мудрость (*греч.*).

ственным глубинным знаком переходному периоду 1968–1988 годов, полагаемому нами в то же время безусловно решающим и озаменованным, во-первых, пришедшимся на него двойным — экзистенциальным и политико-историческим — становлением Жака Ширака; во-вторых, глубоким влиянием, оказанным на Ширака такими лицами, как Мари-Франс Гаро и, возможно менее непосредственно и в меньшей степени, Пьер Жюйе; в-третьих, двойственным положением Франции, отмеченным, с одной стороны, невидимым крушением ее исторического и национального бытия, а с другой — грядущим пришествием великоконтинентальной европейской политики и, наконец, «явлением» неизвестного лица, «вышедшего из небытия», как говорил Сильван Репробат, и обладающего *глубинной* идентичностью, лица, именуемого как Ветренником [Le Vendeur], так и Торговцем [Le Marchand], как Путником [Le Marchant], так и Купцом [Le Marchand]; его наиболее открытое явление, по утверждениям Сильвана Репробата, должно прийти на переломные 1982–1988 годы, когда он должен будет «уничтожать, вести и вдохновлять» социальное бытие в рамках «тотального революционного действия» и «как бы трансисторическим образом» готовить «глубинное становление новых континентальных и планетарных судеб Франции».)

(Выкладки Сильвана Репробата в их совокупности сводились к тому, что все происходит так, словно сегодня на пути политического, исторического и духовного становления Франции, французской «евхаристической» миссии в Европе и мире выставлена некая роковая преграда, и прежде всего, это ужасающая духовная

опустошенность тех, кто ныне облечен реальной политической властью — разумеется, речь идет о *видимой власти*, — кроме разве что более или менее харизматически predisposed Жака Ширака, от которого ждали или прямо *иных вещей*, или же шагов в области *невидимой власти* в духе того, что предпринимала за его спиной влиявшая на него Мари-Франс Гаро, которая уже ранее проделывала то же самое в окружении Жоржа Помпиду. Но кто стоит за спиной самой Мари-Франс Гаро?

Франция, а точнее, ее власть уже в конце XVII века утратила (или, скорее, *прервала* — именно так правомерно говорить о трех последних прямых Капетингах) в своем живом становлении, в истории на марше всякую связь с каким-либо регулярным традиционным центром или порядком, вышла из какого-либо духовного или трансцендентного подчинения, и это оставило ее, утверждает Сильван Репробат, без всякой помощи свыше, лишило любого животворного импульса к выздоровлению и выживанию.)

(Иными словами, похоже, Жак Ширак и те, кто стоит за ним, его не открывающие лиц, но от этого не менее ответственные советники во всем, что от них зависит в ходе вещей, да и судьбе Жака Ширака, оказываются — и это самое плачевное — совершенно не способны взвалить на себя непомерную тяжесть европейской и мировой миссии Франции, сделать эту миссию определенной, придать ей смысл и вывести на передовые позиции; и все это, говорит Сильван Репробат — и сам я теперь, увы, думаю так же, — оттого, что у Жака Ширака отсут-

ствуется доктринальное видение и практический опыт восприятия сущностных источников и общения с инстанциями большой политики, каковые всегда, когда действуют решающим образом, действуют под землей, а тайные импульсы их необратимой механики, относящиеся к области внутренней реальности Истории, герметически закрыты от всякого внешнего, непредусмотренного «профанического» внимания.

Вот почему, пребывая в полном неведении относительно сокрытого пространства, где определяются и подспудно получают развитие векторы тайных сил Мировой Истории, Жак Ширак не может понять ее глубинных причин, влияний и драматических противостояний, глубинных разрывов и раздвоений, обновляющих и утверждающих ее избрания, не может понять ничего вплоть до самого смысла хода истории, ни в коем случае не экономического, не политического, собственно говоря, даже не исторического, но относящегося к трансцендентному, невидимому порядку, к бездонной реальности истории по ту сторону Истории, о чем ни Жак Ширак, ни находящиеся сегодня у власти во Франции люди не только не имеют ни малейшего понятия, но уж тем более не способны эффективно размышлять — впрочем, в любом случае, уже слишком поздно.

Если бы Жак Ширак читал, по крайней мере, Юлиуса Эволю, если хотя бы в необходимости такого чтения для пользы дела кто-то сумел бы убедить его, то, как утверждает Сильван Репробат, «мы могли бы и не оказаться в таком положении».

Ибо они, эти слепцы, ничего не видящие и среди бела дня, не ведают, что творят и что творить следует, что происходит с ними, что их ждет, что угрожает им, стоящим у кормила сегодняшней политической и исторической власти во Франции и в Европе, из которых Жак Ширак, скорее всего, наименее виноват, они, неспособные понять, против каких отвратительных сущностей, а главное, во имя чего следует действовать и сражаться, при всем том питают иллюзии относительно своего могущества и бытия, которое есть всего лишь сомнамбулическое взбивание пены небытия их собственного небытия, они субверсивно выкликают тень собственного безысходного бессилия рассеять обитающий в них самих мрак, сами же этим мраком и одержимые.)

Отсюда наша непростительная, ибо мы, конечно, должны были бы ее предвидеть, неудача, тщетность наших усилий войти в скрытый контакт с группой поддержки Жака Ширака, засвидетельствованные документами из досье «Всадники Апокалипсиса». Все наши обращения к Жаку Шираку и Мари-Франс Гаро остались без ответа.

Именно через нас, при нашей тайной помощи сегодняшней французской политической власти была дарована свыше возможность перейти роковой брод собственного бессилия и заброшенности государства, но эта возможность была отвергнута из-за уже упомянутой трагической доктринальной и духовной некомпетентности, которая и пробудила в нас стыд, ужас, отчаяние и непереносимую боль утраты.

Мы призваны были создать противотечение, организовать противодействие трем векам тьмы, праха и забвения и не справились с этим.

Но мы всё начнем сначала. Ибо то, что должно быть сделано, будет сделано.

И это станет тайным началом великого трансцендентного исцеления и глубокого духовного очищения сознания и бытия самой живой истории Великой Европы, чей эпицентр, как нам давал понять Сильван Репробат, «все еще, как это было всегда, находится во внутреннем пространстве истории Франции, однако все более и более тайно».

(О самом Сильване Репробате: подобно Фулканелли и некоторым другим, носящим еще более тайные, я бы сказал, запретные имена, он — ради недостижимости для любых испытаний, даже сверхъестественного, метафизического порядка, даже на высоких ступенях дематериализации в областях, где на путника нападают «духи превыше духов воздушных», — должен был стать абсолютно непроницаемым, что и вынудило его в конце концов совсем исчезнуть в головокружительной череде бродов, каналов и подземных ходов, мнимых идентичностей и мнимых смертей — не так ли, в конце концов, и должно быть? Что же касается имени Сильвана Репробата, то оно, будучи само по себе совершенной тайной, безжалостно стирает его следы и дает возможность пережить нынешнее положение вещей.

Некоторые из нас уверены, что Сильван Репробат — величайший астролог нашего времени: все его предсказания, касающиеся жизни и смерти, периодов и революционных перемен Малой и Великой Истории, оказывались безошибочными и сновидчески подтверждались; в конце концов, на следующий день после убийства Джона Фитцджеральда Кеннеди в Далласе 22 ноября 1963 года Сильван Репробат, устремив рассеянный взор в неведомо какие дали, сказал, что «извлекает нынешний исторический цикл из его собственной живой и бьющейся вены, самой тайной вены его дыхания, в которой вдох есть выдох, а выдох есть вдох, и вход есть выход, а выход — вход, и отныне весь этот цикл должен стать, по словам Майстера Экхарта, *gegeistet und entgeistet*¹».

Для меня все же наука Сильвана Репробата есть по собственной вине попавшая в ловушку пленница, претерпевающая полное семиологическое переворачивание даже самих полюсов своего начертания всякий раз, когда она оказывается обращенной к тому, что принято называть *мировым путем*, переворачивание, делающее ее в конечном счете еще более сомнительным, более того, просто семиологическим выражением сущностно сверхразумного порядка вещей. Иными словами, вся астрологическая наука для Сильвана Репробата есть всего лишь эйдетическая опора его внутреннего зренья, данного ему только по благодати, а это значит, что истинным, глубинным источником в нем и для него является очаг обращенного внутрь себя дыхания, квазар

¹ Одушевляющим и рассеивающим (нем.).

фундаментально сверхразумного могущества, сокрытый, сверхличный, находящийся вне области всякой рациональной ясности и диалектического научения.)

(Согласно записи бесед от 21 января 1976 года из досье «Всадники Апокалипсиса», Сильван Репробат среди прочего открыл нам, что 8 декабря 1978 года, то есть по прошествии трех лет после того, как мною было отправлено оставленное без ответа письмо к Жаку Шираку, этот последний должен будет стать объектом посягательства, не оставляющего ему никаких шансов даже просто на жизнь; долго подготавливаемое, это покушение станет «неожиданным завершением» широкой акции по «очищению пустотой», направленной против действующего центрального ядра национал-революционного голлизма и осуществляемой «окультурным стратегическим центром», чье название Сильван Репробат утаил, определив этот центр как «действующий во Франции, но не французский, действующий против Франции, но по причинам, касающимся не Франции, а Рима», акции, начало которой, согласно Сильвану Репробату, уже положено «тайным убийством» Жоржа Помпиду; этот последний пал жертвой атаки *ad personam*¹, подвергшись смертельному действию метафизических волн, усугубленному начиная с определенного момента тайным отравлением радиоактивным кобальтом, «прямо в Елисейском дворце», уточняет Сильван Репробат, который был даже готов, по его словам, «лично показать места, где размещались кобальтовые трубки».

¹ Против личности (*лат.*).

В подтверждение сказанного им Сильван Репробат приводил фотокопию сверхсекретного письма, касающегося более чем подозрительной кончины Жоржа Помпиду и написанного одним французским дипломатом в ранге посла, занимавшим важный пост в окружении генерала де Голля, в Лондоне и позже.)

(После того как он, выдержав свое невидимое сражение, положил предел проискам высокосубверсивного и низконеокромантического «окультиного стратегического центра», как мы уже указывали, цитирую запись беседы, «действующего во Франции, но не французского, действующего против Франции, но по причинам, касающимся не Франции, а Рима», Сильван Репробат вновь открыл для себя пути очень древней мистической линии французской монархической и провиденциалистской мысли, парадигматически представленной и руководимой маркизом де ла Франкери, указавшем в своей книге «Божественная миссия Франции» на избрание этой страны «наследницей еврейского народа»: «На самом деле Бог всегда Сам уготовлял Себе пути. Глядя из абсолютной вечности, в Своем предвидении Он остановил Свой выбор на нашей стране и избрал наш народ для того, чтобы мы в христианскую эпоху стали наследниками евреев и исполняли божественную миссию, вверенную им в эпоху Ветхого Завета».

А вот что, рассуждая на ту же самую тему, открыл папа Пелагий II в своем послании, вошедшем в «Патрологию»: «Не напрасно и не без восхитительного умысла Провидение расположило католическую Францию

у врат Италии и недалеко от Рима; она есть ограждение их оберегающее».

Следующие два отрывка, наиболее важные, — из письма папы Григория IX к Людовику Святому, цитируемые, как подчеркивает маркиз де ла Франкери, святым Пием X 13 декабря 1908 года в связи с беатификацией Жанны д'Арк:

В точности, как когда-то колено Иудино получило особое благословение среди прочих сыновей патриарха Иакова, так Французское Королевство пребывает превыше всех народов, увенчанное и наделенное самим Богом особыми прерогативами.

Колено Иудино было предвосхищающим образом Французского Королевства.

Таким образом, Бог избрал Францию из всех народов земли для охранения католической Веры и защиты религиозной свободы. По этой причине Французское Королевство есть Царство Божие¹; враги Франции суть враги Христа.)

(Но самое для меня захватывающее — это то, что запись беседы с Сильваном Репробатом от 21 января 1976 года содержит также и своего рода двойное предупреждение, касающееся меня лично; последние два года я уделял ему мало внимания, но теперь, кажется, подошел срок платить по счетам.

¹ Во французском языке понятия «царство» и «королевство» обозначаются одним словом — *royaume*.

Прежде всего, Сильван Репробат предупреждал меня о том, будто к юго-востоку от Парижа, в самом простонародном предместье, название коего, скорее всего, начинается на букву «В», некая тайная группа, созданная в марте 1976 года и выбравшая методом борьбы «взаимодополняющую цепь» общей молитвы и воздействия, вскоре сделает своей единственной задачей медиумическое создание тройного кольца магнетического отравления с единственной целью — воспрепятствовать всем моим действиям и даже самому моему существованию как таковому, поскольку ее конечной целью, объявленной или нет, является предание меня «страшной смерти».

Так или иначе, я более или менее ясно представлял себе, что за «взаимодополняющая цепь», с окраины города — «двухэтажная кирпичная вилла возле бетонного железнодорожного моста» — противостоит мне, как предупреждал Сильван Репробат. Как я прекрасно понимал, эти сумасшедшие с окраины, самодовольные и несамостоятельные, всего лишь снимали пенку, причем весьма тонкую, с отвратительного, ханжеского, ветошного мистицизма и самовнушения с извращенной, но паразитично настойчивой претензией на «католическую мистику», которая у них на самом деле представляла собой всего лишь бесконечно тривиальную разновидность того, что Рене Генон именует *контринициацией* и *пародией*. Однако — и это следует подчеркнуть — не утвержденная в своем онтологическом статусе «взаимодополняющая цепь» действовала против меня из таинственной «красной двухэтажной кирпичной виллы» почти бессознательно под руководством некоего замас-

кированного манипулятора или, что вероятнее, *иной группы* оккультных манипуляторов, гораздо более опасной, чем первая, с ее изначально отравленной и больной психикой. Нечистоты, темная клоака. Неужели Немка впрямь думает, что я забыл ее?

Но разве на этом уровне я не неуязвим? Очевидно, неуязвим. Полностью, если не считать тайного промаха, допущенного между 1956 и 1966 годами, когда я взял на себя некое обязательство в отношении той, кого ныне и полагаю главным звеном «взаимодополняющей цепи» двойного подчинения из В. и темного колдовства которой я стал всячески избегать, побежденный непреодолимым омерзительным его привкусом, почувствованным со дня, когда понял его истинную природу, его *мерзкий секрет*. Она-то как раз и похожа на дьявольский персонаж из «Мистерий» Кнута Гамсуна, жалкую и омерзительную «Минуту» Grögaard.

Я уже упоминал в связи с записью встречи от 21 января 1976 года о том, что Сильван Репробат сделал мне двойное предупреждение. О первой его части я только что рассказал. Вторая касается события, которое «должно наступить» в январе 1979 года.

В январе 1979 года, в период между 8-м числом, когда Плутон будет в квадрате к Марсу, и 11-м, когда он окажется в квадрате к Солнцу, а точнее, в момент наступления субботы, с 9 на 10 января, будет тайно объявлено о некоей огненной по природе перемене, которая должна произойти там, где это необходимо и где, как я сейчас уже точно знаю, *она и произойдет*.

Никак не перемещения Плутона определяют эти внутренние перемены; напротив, известно: если то, что должно произойти, происходит, как в данном случае, при прохождении Плутона между Марсом и Солнцем, оно случается не под воздействием звезд, которые только указывают час события; на самом деле, *час назначают*; но разве само это не есть более чем необычайная характеристика битвы на небесах, чье ослепительное окончание и выражается геральдически звездной ординацией между принципами, явленными в проявлении, и самим проявлением? Астрология может только назвать час, тем самым указав на сверхзвездный, галактический момент окончания битвы между принципом и его обратной, теневой стороной, которая его онтологически отрицает и должна быть или преодолена в самой себе как самая глубинная, чернее черной черни, бездна, его собственная черная бездна его же собственной черни. Звезды ничего не навлекают и не отменяют; будучи *солью небес*, они только, если это предусмотрено, указывают на то, что некое событие совершилось или не совершилось. Ибо все решают *небесные глубины*, а в небесные глубины астрологии, слепой и как бы ослепленной тьмой, которая головокружительным образом есть тьма превыше всякой тьмы, то есть сияние света по ту сторону всякого света, заглядывать воспрещено.

Но о чем на самом деле идет речь? Что должно произойти в субботу с 8-го по 11-е число января?

Сильван Репробат:

«В этот момент вся нынешняя жизнь, изобилующая темными разрывами, с ее трагическим, мессианским

устремлением и отчаянием, внезапно обретет, обретет заново свой в равной степени изначальный и окончательный смысл спасения, освобождения и славы, не имеющий ничего общего ни с каким расположением звезд ни в этом веке, ни вообще Калиюги как последнего цикла.

Это будет рождение, небывалое возвращение в средоточие бытия, к непорочному зачатию, к живому и окровавленному воплощению иного возобновления мира и истории в их христологическом становлении; и это произойдет для того, чтобы вы оказались в состоянии принять и дать жизнь тому, что вам будет приказано принять — принять со славой — в зоне наивысшего внимания, открывающейся для вас в промежуток с 8 по 11 января 1979 года, уже зачатый внутри вас и для вас вами же самими и долженый стать для вас временем смертельных переходных испытаний в вашей предопределенной по годам жизни, в темных обителях трагедии, о которой вы знаете.

Думаю, я не совершу ошибки, если скажу, что вам следует быть готовым к переходу черты первой декады января 1979 года; но если ваша жизнь в ее глубине, ваше самое тайное предназначение действительно имеют трансцендентный смысл, а нынешний исторический цикл в его полноте действительно несет спасение и окончательное возвращение к бытию, то именно в незримо покровительствуемый Солнцем период прохождения Плутона с 8 по 11 января 1979 года исполнится и одновременно в полной славе откроется единство путей вашей собственной жизни и всего нашего исторического цикла».

Итак, отныне я жду этого. «Рожденные из огня, — когда-то говорила она мне, — восторжествуют над миром».

И снова Сильван Репробат:

«Что до меня, то я не имею ни возможности, ни тем более правомочия открыто сказать вам, кто, как я знаю, вы есть, равно как и о том, каким образом об этом узнаете вы и каким образом о вашей сущности и предназначении будет поведано миру во исполнение в наши времена древних обетований, каковые, как мне известно, не могут быть преданы забвению, что сокрыто и в то же время пламенно было поведано мне чрез мою науку о путях мира. Духи Горних Высот, ваши славные хранители, да вручат вам в должный час свое кипящее могущество, и да поддержит вас в ваших тайных прерогативах и космогонических правах царская и теургическая кровь их Повелителей.

Но молю вас, как и тех, кто, как я знаю, возвысится в этот час, держаться высот в озаренной ночи исполнения царского и имперского обетования, хранимого в звездных словах высочайшего ангельского приветствия: „Сегодня во граде Давидовом для вас родился Спаситель“».)

(Для того чтобы действовать, «взаимодополняющая цепь», вроде той, что составляют бессознательно подчиняющиеся манипуляциям посетители «виллы из красного кирпича», учрежденной специально для уничтожения меня и противодействия мне, должна быть не просто создана, но и *запущена в ход*, оживлена, а затем постоянно питаема изнутри себя самой.

На самом деле запустить такую цепь можно только чрез любовную поляризацию, внутреннюю сексуальность. Известно это или нет им самим — если нет, то пламя будет неуправляемо, — но воздействие участников такой группы может усиливаться только чрез воспламенение их сексуальных напряжений, тайно умножаемых дыханием *течений нижней бездны*: психическое пространство самоутверждения в глубинах его эгрегорической интоксикации образуется лишь через постоянный психический групповой акт, оргиастический шабаш погибающих душ и дыханий, безостановочно и беспощадно с четкой периодичностью «восполняемый» страшными «литургическими» перерывами на сам телесный акт, на образование «сперматических узлов» или «клубков», кое кем между собой именуемых «клубками Фессалии» или «клубками змей Танит».

Участники «взаимодополняющих цепей», глубинно управляемые чрез психические воздействия, ни о чем подобном на уровне своего дневного сознания не подозревают и почти всегда ни о чем не помнят, даже когда общаются между собой. Более или менее фантазматические отображения их бессознательной психической эксплуатации тем не менее открываются им во сне, являя образы наихудших эротико-сексуальных бесчинств одержимого зрения, наиболее полную картину каковых можно созерцать на великих полотнах Иеронима Босха.

Добавим, что каждая «взаимодополняющая цепь» имеет свою «тайную мать», которая, как правило, в здравом уме и твердой памяти не знает о своей высшей ночной власти; в любом случае она вершит волю

страшной и омерзительной Старухи Бездны, ужасной и всемогущей Матери Тьмы, *истинное имя* которой, на самом деле *несуществующее*, никто не может произнести безнаказанно [именно ее в необычайный для него день Доминик де Ру в озарении нарек *Старухой Смерти* и *Старухой Капитала* (La Vielle de Capital)].

Именно на «тайной матери» каждой цепи сходится и исчерпывается все бессознательное *могущество* ей подвластных, для которых она становится огромной сточной канавой, cloaca maxima. Наконец, если в наиболее тайных, демонических и свертотчуждающих цепях ночной эксплуатации и манипуляции, таких как эгрегорическая цепь из В., эти подвластные глубоко ущербны на психическом и моральном уровне и к тому же часто, хотя и не всегда, несут на себе еще и печать телесного уродства, то сама «тайная мать» группы таким уродством должна быть отмечена тем более, поскольку оно есть особый знак ее верховенства, налагаемый тайными физическими или духовными пороками, часто специально наносимый через ритуальное обезображивание ее тела, причем это уродство бывает куда более ужасным и темным по природе, чем ущербность ей подвластных.

Однако по ту сторону всего этого истинная власть над эгрегорической группой в действии принадлежит «особым иерархиям», устанавливающим и поддерживающим ее прямую связь с Могуществами Ада. По причинам вполне определенным, о коих, однако, я не желал бы сейчас распространяться, перехват испускаемого этими группами психического, прежде всего метафизи-

ческого, излучения, осуществляемый исключительно тайными манипуляторами и всегда являющийся операцией сущностно демонической, то есть перехватом с помощью сил специальной поддержки на службе постоянно действующего фронта Могуществ Ада, всегда нуждается в активной в его отношении диалектике действия параллельных иерархий. Таким образом, всегда важно определить того или тех, кто, занимая в цепи некое срединное, не слишком высокое и не слишком низкое, положение, втайне играет, я бы сказал, своего рода двойную роль и обладает, опять же тайно, но также и очень специфически, двойной инвестиурой тех же самых Могуществ Ада, сокрытых в непроницаемой тени собственного бытия и манипулирующих по каналам параллельных иерархий своими агентами *с двойной печатью* в целях поворота вспять по самым темным путям и возвращения себе метафизических и иных излучений, дабы использовать их уже окончательным образом. Таким образом, участники группы оказываются подчинены целям, которые они, ставшие марионетками в чужих руках, не могли себе и вообразить, но теперь эти цели становятся источником мерзкого и головокружительного взлета самых чуждых им и переходящих вне границы фантазий.

Взяв на себя труд напомнить о том, что взаимодополняющие цепи эгрегорического порабощения часто образуются «спонтанно», словно в бреду, подобно тому как головки репейника, растущего на песках и в низинах, разносят по пустошам ледяные ветры, которые *дышат, где хотят*, а бесчисленные множества модусов существования совершенно бессознательно причастны

ко всей этой лишаяющей их живого дыхания и тайно подчиняющей тьме, можно, тайно проникнув взором по ту сторону возводимых Могуществами Ада мнимостей, увидеть, что этот мир находится во власти иного, темного мира отбросов, он всего лишь легкая жертва преступных посягательств и самой постыдной демонической эксплуатации и только золотая сеть, незримо сплетаемая Церковью Воинствующей, удерживает его, хотя все менее и менее, в рамках бытия, не до конца пораженного адской заразой, оскверняющей и заражающей все в нас и вокруг нас.

Так все и происходит, так могущество тьмы овладевает нашей жизнью.

Что касается «взаимодополняющей цепи» из В., то, когда я попытался идентифицировать «тайную мать», равно как и того из ее «действующих детей», кто с самого начала состоял в ранге «сына-супруга» ее «прекраснейшего избрания», Старухой Бездн оказалась та самая, уже упоминавшаяся мной Немка, а «сыном-супругом» — глава маленькой группки, принадлежащей к самой традиционалистской национал-католической правой; однако я не сумел определить, кто внутри цепи поддерживает ее подчиненную связь с сокрытыми Могуществами Ада [если только ее не поддерживала сама «тайная мать» или — почему бы и нет? — ее «избранный сын-супруг», а быть может, и они оба, «брачно», что было бы равносильно, но не всегда видимо и одновременно отмечено *отдельным, особым* знаком, ибо *одно дьявольское одержание всегда может скрывать другое*].)

(Так, у Жана Жардена в Тур-де-Пейзе я впервые, кажется в марте 1969 года, встретил загадочную госпожу де Орус Борошаньи-Цекельи. Еще совсем молодая, даже слишком молодая вдова раввина, склонявшегося, как она объясняла, к хасидизму, возможно не слишком строгому, Лия де Орус Борошаньи-Цекельи, по чудесному стечению обстоятельств саббатаистка, хранившая свою родословную в тайне, происходила из Стамбула, но вот уже десять лет как жила в Бале, где была известна даром ясновидения и иными дарами, как перешептывались, еще более тайными и совершенно потрясающими. Что здесь удивительного? Совершенно особая мистика последователей Саббатая Цви, от которых Лия вела прямое происхождение по материнской линии, всегда была сопряжена с единственными в своем роде, тщательно скрываемыми от непосвященных практиками, пронизанными, согласно Предписаниям Основателя, постоянной пароксистической экзальтацией, которая связана с плотским актом, рассматриваемым как цель и средство достижения высшей тайной святости, совершаемой «в Глубине Единого». Будучи так или иначе тайной, вера эта до сих пор жива — во всей силе — в некоторых маргинальных еврейских общинах Турции, Греции и даже Румынии.)

(Летом 1968 года в Риме я имел счастье удостоиться прямых сновидческих признаний самого Юлиуса Эво-лы. Во время одного из своих загадочных посещений Бухареста накануне последней войны, тщательно оберегаемый главой Департамента полиции, который сам был посвященным высокого уровня в одной из особых ветвей франкмасонства и, возможно, всем этим и руко-

водил, Юлиус Эвола был приглашен в самые закрытые круги местных практикующих саббатаистов в качестве почетного прямого участника экстатической экзальтации столь дорогого Отсутствующему Основателю «акта Единого» и сам активно пережил незаконные *восхождения*. С другой стороны, умеющие читать между строк имеют возможность взять на себя риск и под углом зрения учения саббатаистов прочесть некоторые отрывки из фундаментального романа Матеи Караджале «*Craii de Curtea Veche*» [«Вольнодумцы старого двора»]. Оживший багряный, пурпуровый, алый образ прекрасной Рашелики Нахмансон, мистагогической пуганы, постоянно является в бестиарии тайных ласк, день за днем устраиваемом сектантами возле горящих внутренностей Отсутствующего Основателя, который тем не менее, как они говорят, «однажды вернется, когда найдет дочь, которую ищет и которая может чудом оказаться дочерью неважно кого из нас; вот почему мы, хотя начинаем редко, ибо огонь, наш прекрасный и яростный огонь сожигает все внутри нас, все же, когда начинаем, думаем только о Нем и той, которая способна вновь привести его к нам».)

Позднее я должен был вернуться в Баль, к ней, и среди прочего Лия показала мне свои страшные «сообщающиеся зеркала», в которых она, улыбающаяся, но бледная как смерть, заставила появиться своих тайных и все делающих тайно врагов, что пытались повелевать ею и должны заплатить за это роковую цену, — в левом зеркале — и своих друзей и защитников, даже неизвестных и принадлежавших к иным мирам — в правом. А мне сказала: «Ваши ужасные враги объединились, чтобы

вредить вам и наносить удары, ибо их конечная цель — вообще вас уничтожить. Вот, дорогой друг, оккультное сердце их власти. Оно-то и питает их тайную, трижды проклятую ненависть», после чего в левом зеркале я увидел — признаюсь, потрясшую меня — картину погребения или, точнее, закапывания заживо юной девушки, скорее даже, девочки, ребенка, обнаженной и окровавленной, в яму, вырытую на утрамбованном дне подземелья, а перед этим — совершенно непереносимые сцены осквернения этого же самого ребенка; осквернителей было много, и они делали свое грязное дело одновременно; девочка, с залитым слезами лицом, ртом, открытым в немом крике, была уже при смерти; какой-то тайный, безотчетный ужас подсказал мне, что это не просто изнасилование, но еще и инцест. «Власть их продлится, — прошептала Лия, — пока длится проклятие кровавой ночной мистерии, тайно совершенной ими где-то между тысяча девятьсот тридцать шестым и тридцать восьмым годами в этом изначально уготованном для смерти подземелье, в этом меченом доме, в этом преступном семействе, зараженном до самого мозга неочищаемых и заразных костей, черного, в ярости опустившегося до двадцать первой ступени лестницы ада, где некоторым из них удалось укрыться, но откуда нам однажды надо будет извлечь их, чтобы предать суду».

И тогда я невольно вспомнил так тревожившее меня в детстве начало «Ночи Святого Сильвестра» Э. Т. А. Гофмана: *Смерть, ледяную, стеклянную смерть ношу я в душе. Мне казалось, я чувствую, как мои огненные вены прокалывают острые стекла льда. Я поспешил выйти, вопреки...*

«Ибо, — страстно продолжала Лия де Орус Боршаньи-Цекельи, — страдание, если оно перейдет некий предел, становится огнеопасным для тайных происков *как тех, так и других*: сила страдания, которой питаются Могущества Ада, удовлетворяет их, а через них — и тех, кто *действует здесь* только до того момента, пока акт глубинного восстановления не нейтрализует, не разрушит, не успокоит, даже не *аннигилирует* сами истоки происходящего, пока кровавая работа не обретет искупления в самих же своих истоках».

Именно Лия первой заговорила со мной о профессоре Канторовиче, открыто назвав его великим ученым-окультистом и добавив, что очень хочет нас познакомиться: он может и должен «снять проклятие крови», лежащее у основания ночных могуществ, из глубин поддерживающих «некромантическую ассамблею» моих «недосягаемых» и «безликих» врагов (но много ли она, милая бедняжка, на самом деле знала обо мне и о том, что, если бы не напавшая на меня постыдная рассеянность, я мог бы в одно мгновение сделать со всей их блистательной «ассамблеей»?).

Когда-нибудь я сумею объяснить природу той неведомой силы, которая связывала в данный — только вот *кем данный?* — момент Лию Орус Боршаньи-Цекельи, профессора Канторовича и, немного позже, самого Сильвана Репробата.

Разве не сказал мне Сильван Репробат напоследок, перед тем как исчезнуть навсегда, из-за занавески купе в поезде, уходящем с вокзала в Лозанне, такие слова,

впрочем для меня давно витавшие в воздухе: «Читайте и перечитывайте де Голля. Не забывайте, прошу вас! Делайте это в память обо мне и о нашей встрече...»

(А еще когда-то давно мне открылось во сне, что в старину в В. была бойня, где забивали людей. Всегда юных. Прекрасных сошедших с ума юных матерей, согрешивших и забеременевших беглых школьниц, обезумевших служанок. Место это сохранилось поныне, оно хорошо известно и располагается возле большого, под стеклянным сводом, стока нечистот, полузаотопленного. Забойщики работали там стоя по колено в воде, задрав штанины, раздробляя голову жертвы одним тяжелым ударом. Впервые я видел этот сон лет тридцать назад, и он до сих пор постоянно ко мне возвращается. Я ходил туда. Однажды нашел это место. Окрестности, несколько пришедшие в упадок и запустение, почти не изменились. Возможно, там до сих пор происходит то же самое по праздникам. Недаром В. известно как древнейшее *место крови, кровавая баня*. Часто, очень часто «в небе над В. не видать звезд».)

(Я забыл сказать, что юную девушку, которую принесли в жертву в подвале «виллы из красного кирпича» и которую я увидел в сообщающихся зеркалах Лии де Орус Борошаньи-Цекельи, звали Терез, как мне сказал — с какой раздирающей душу печалью! — мой внутренний голос. Терез или Мартин, а возможно, имя было двойное — Терез-Мартин, хотя все то, что сейчас на меня надвигается, имеет отношение не к истязанию Терез-Мартин, а к несравнимо более опасным *иным вещам*.)

ков Кармеля, дабы Милосердие возоблададо над Нару-
шенной Справедливостью и дабы Боже-
ственное Забвение, в слезах встав на колени, развязало
бы одну за другой зверски перепачканные повязки
сразу же и мгновенно)

(и, быть может, все связано,
и жертвоприношение Терез вызывает к самоубий-
ству или все это находится под медиумическим
управлением, или еще хуже или ты, муж, почему
знаешь, не спасешь ли жены? [1 Кор. 7:16])

(Трагические, темные обрывы речи под действием опу-
стошительной силы тайны, которая, даже прежде чем
сказанное свершится, уже обжигает. Подобно изреше-
ченному метеоритами лицу пустыни, речь, которую
осенила тайна, своими зияниями воспроизводит топо-
графию прохождения небесной бури, а в книге оказы-
ваются сокрытые конфигурации пустоты, пробелы,
черно-белые раны глубочайшего отсутствия. Но не сле-
дует ли, спрятавшись, подобно хищному зверю, когда
трава вокруг него загорелась от молнии, отстраниться
в зиянии всякого обрыва речи от еще одного призна-
ния, само уничтожение коего есть признание, жестокое
самоопровержение, все еще кровоточащее бесчестие,
но уже, и превыше всего, также и призыв к иному сло-
ву, к исповеданию, обращенному к пустоте внутри са-
мой пустоты? Прервать, предать пустоте то, что ушло,
чтобы не быть... Разве это не означает — очистить, опу-
стошить иной пустотой избыточность немыслимого
признания, обратив запрет против него самого, над
ним же самим повешенного.

Так, вполне возможно, что дело не в секретах, кои таят в себе эти провалы, а в пустоте самой по себе, с ее собственными законами, пустоте слова, опустошенного в себе самом, столь же огненного при его прочтении, как и слово сокрытое, но высшим образом и отворенное в пустоте опустошенной пустоты.

В этом опасность, и так, например, мы, я в том числе, пришли, чтобы пропáсть в пути, двигаясь по огненному следу, возможно уже у самого его завершения. Не то чтобы слишком много сказано, скорее, как раз недосказано: именно в провалах недосказанного или безутешно вычеркнутого стерегут убивающие у входа в исповедальню сокрытые могущества, отвратительные своры гиен, от которых нет спасения путнику, истощенному индиго слов, отторгнутых от себя в пустоте, но пустотой не отвергнутых, слов без крика, с трудом исчезающих в захватившей их воздушной воронке, словно тень, накрытая безбрежным отсутствием тени.)

(если быть крайне точным, в подземелье, где стены выложены бутом, есть купель, наполненная замерзшей *стеклянной водой*; ощущаемое мною моральное бремя проистекает из царящего там великого, неслыханного молчания, но также и из того, каким образом это молчание оказывается связанным с мистерией вот этой сáмой, такой тяжелой, *стеклянной воды*)

*Последняя битва
за Великую Европу началась*

(тщетно пытаюсь погасить в себе этот навязчивый образ подземелья, купели с ледяной, более того, слоистой и твердой, меркуриальной, гипнагогической водой, непрерывно торжествующей над всеми моими мечтами об освобождении, для того чтобы с силою и как бы субверсивно вести меня по зову ее же, носительницы зова, зову какового я ныне как раз более всего и не желаю; знаю только, что это подземелье должно наверняка иметь свое продолжение где-то здесь, в подвалах этой старинной Усадьбы Милосердия, в которой я и нашел убежище; думаю, было бы достаточно спуститься на второй или третий подземный уровень здешних погребов, чтобы там оказаться только поспешно, без всякой страховки возведенная заградительная стена из черного кирпича, которую я мог бы сам, если надо, разрушить без всяких затруднений, преграждает туда дорогу но мне даже и этого не надо делать ведь есть также и тайный коридор, туда ведущий; он берет начало этажом ниже; достаточно лишь открыть спрятанную в глубине большого дымохода медную дверь,

находящуюся, как я полагаю, в спальне Анн-Мари, а затем

твердая, стеклянная, ледяная вода, содержащая в себе все обличья и все лунное сияние синеватой, искристой ртутиальной бани, ледяная, словно высшее, умиротворенное познание принятой на себя смерти, вода, предоставленная славе ее любовного отвержения солнечным двойником этой же ртутиальной купели из странного *отступления* Кеннета Уайта: *В Гафсе есть окруженная высокими стенами купель, принадлежащая романской эпохе*)

25

Через такое — поверхностное, но оставшееся, возможно, тем более значимым — скольжение памяти, появление внутри меня и передо мной, в каменном бассейне, — восемь лет назад, как мне кажется, прошло *с того дня* — в Женеве летним утром той же самой воды; над пляжем в «Интерконтинентале», возле этого бассейна, очень рано, когда еще не было и девяти утра, в сияющей ясности неба обрисовались следы испарения, подобно лучам восходящего Солнца на голубых и золотых знаменах его воинов, поднимавшегося из Куантрена прямо вверх, в глубину лазури; посетители бара под звуки легкой арабской музыки безостановочно, цепочкой двигались вперед; Доминик де Ру, в черной шелковой рубашке, черном галстуке и черных очках, истомно растянувшись возле самой воды и пристально, краем глаза, наблюдая за эскалатором, лихорадочно делал записи в своем блокноте, с которым был неразлучен; а тем вре-

менем мы с Лией де Борошаньи-Цекельи, мрачные и цепенеющие от холода, стояли на противоположных сторонах бассейна; внезапно, *ни с того ни с сего* мы оба погрузили головы в эту чудесную, кобальтовую воду, и наши головы сами стали как стекло, а мы оба, полумертвые от холода, каждый со своей стороны, произнося ругательства на разных — двух по крайней мере — балканских языках, двинулись навстречу друг другу.

По более чем подозрительным настояниям Лии де Орус Борошаньи-Цекельи мы должны были встретиться в то утро с неким Ш. В., представителем Цюрихского международного статистического центра (CIS/ZH), организации, скажем так, специфической, сокрытой под более или менее аутентичной оболочкой многонациональных «передовых экономических, промышленных и финансовых исследований», ведущей разнообразные разработки для очень важной, но малозаметной американо-швейцарской банковской группы в Цюрихе. Представитель CIS/ZH хотел переговорить с нами, причем настолько конфиденциально, насколько это возможно, об уступке прав на имевшиеся в нашем распоряжении «записи бесед» с Сильваном Репробатом, и что интересно, сразу же по вступлении в игру предлагал отступные в триста тысяч швейцарских франков.

К тому моменту Сильван Репробат только-только «исчез» или, как он сам говорил, «вышел из игры». Наша последняя встреча произошла за два месяца до этого в Лозанне. А потому я был убежден, что специальный представитель CIS/ZH прежде всего стремился через нас выйти на след исчезнувшего Сильвана Репробата,

точнее, искал доступа к нему. (Не вчера ли это было? До сих пор вижу его и слышу его голос: «Теперь я уйду, воссоединяюсь с grottaferrata, и никто никогда меня не сможет найти».)

В любом случае, сегодня признаюсь, что, если бы дело касалось меня одного, я, ни минуты не колеблясь, вступил бы в переговоры с CIS/ZH. Причем попытался бы довести выкупную стоимость до четырехсот тысяч швейцарских франков, что не так уж дорого за столь ценный материал, мы бы, по меньшей мере, могли перевести эти деньги в Португалию, а затем отправиться на Азорские острова, и, если бы все удалось, возможно, в Европе, а следовательно, и во всем мире начались бы решающие перемены.

Однако собранием микрофильмов и магнитофонных записей наших последних встреч с Сильваном Репробатом мы более уже не располагаем. Все это было спрятано в окрестностях Мадрида, в районе Валье-де-лос-Каидос, и охранять эти материалы, по моему приказу, было поручено двум нашим товарищам. Хорошо сознавая огромное политико-историческое и духовное значение отданного им на хранение, они отвечали за сохранность головой. Так, я до сих пор с ужасающей точностью вспоминаю то чувство беспомощности, то оцепенение, тот ступор, что охватили меня перед лицом неотменимого действия мною самим задуманного, запущенного и только что в то время установленного механизма оперативной безопасности, контроль над которым, по счастливому стечению обстоятельств, по воле всевластной судьбы, ускользал у меня из рук. Что было бы с нами

сегодня, если бы CIS/ZH все-таки сумел завладеть, как того сильно желала Лия де Орус Борошаньи-Цекельи, собранием наших «записей бесед» с Сильваном Репробатом? Между тем ее игра тогда почти не отличалась от нашей: при тогдашнем положении дел в мире как мы, так и она были вовлечены в необнаружимое исполнение высших велений полярных уровней бытия Вселенной, полностью недостижимых для укусов смерти и никак не зависящих от роковой утраты всего, составляющего по видимости полную, но крайне нечистую власть над этим подверженным необратимому гниению миром.

Почему я с такою ясностью вспомнил об этом? Особенно о том, как Лия де Орус Борошаньи-Цекельи заговорила со специальным представителем CIS/ZH, одновременно бесстрашным и уродливым Ш. В., по-венгерски. Я понял — хотя мой венгерский пребывает в рудиментарном состоянии, — что она изображала видимость переговорного процесса, идя на значительные уступки, отодвигая решающую стадию переговоров, как она сказала, до «возвращения из Испании» одного из наших «имеющих все полномочия» посланников, дабы Ш. В., получив отсрочку и одновременно надежду на принятие сделанного лично ей предложения, оплатил ее неудачную поездку в Женеву, причем для меня все выглядело так, словно она пытается «кинуть» Ш. В. Мне показалось, что афера с CIS/ZH умерла и более не воскреснет, и, хотя мне этого тогда не слишком хотелось, прекрасные иссиня-черные волосы Лии, самым плутовским образом сливавшиеся с чернотой ажурной вязаной шали на ее спине, похоронили под собой все мои тревоги. Я почувствовал, как от нее истекает устрашаю-

щее и неодолимое гипнотическое могущество, подобное разворачивающимся клубкам магнетических змей, то огненных, то ледяных, судорожно извивающихся и напоминающих каменеющую лаву.

На животе, ниже пупка, у нее была окруженная надписями на иврите, странного темно-фиолетового цвета, невыводимая татуировка: шестиконечная звезда, в центре ее — три буквы, «HSN», которые означали, я думаю, неотменяемое и безвозвратное *енохианское послушание*. На затылке ее — мне это хорошо известно — имелось темно-фиолетовое изображение черного солнца Нефилим, на правом плече — четырнадцатисвечный светильник, а вокруг ануса — цвета ржавчины надпись из четырех еврейских слов, призывавших «потерянного супруга». Словно продолжая смысл начертанной там же магической буквой «далет», правая ее грудь была изрезана четырьмя шрамами, образующими очертания граната — символа Царства; от нее исходили темно-фиолетовые лучи, которые, как я думаю, являли собой ту самую таинственную Синеву Израилеву, цвет Потерянного Колена. Но самым пугающим и самым фантазмагорическим были ритуальные насечки на клиторе, видимо навечно изуродованном надрезом в форме буквы «йод», окруженной зажившими шрамами. Я все это видел сам и когда-то обожал в ней. Говоря об исследовании ее светоносной плоти, не следует забывать: бесчисленные ужасающие уколы раскаленной иглой из сверхактивированного золота, последовательно, в неимоверном количестве и с опасностью для собственной жизни нанесенные ею самой, свидетельствовали об абсолютно неисповедимом каноне и безжалостных риту-

альных предписаниях жизни и любви, завещанных ей покойным супругом, которого ныне Метатрон мило- стиво оберегает от невидимой оболочки, тайной ко- сточки и астрального двойника самого покойного. Ибо он хорошо поработал — на *наших*.

*Terribilis est locus iste*¹ (Быт. 28:17–18). Менее всего на све- те отрицая пламенное исхождение от нее эротической экзальтации, а следовательно, принимая от этого, как и многие другие, боль и самые острые мучения, Доминик де Ру говорил о том, что в ее присутствии ощущает себя добычей диких зверей, выпотрошенной, обескровленной до последней капли непереносимым отчаянием, и о том, что никогда не мог смотреть ей в лицо. «Глаза ее слепят, а взгляд убивает», — признался он мне однажды в Жене- ве, откуда мы вместе собирались к Лие, крайне деликатно и удивительно умно отозвавшись о том, что было для него вопросом жизни и смерти, почти что... Но говорить об этом я сейчас не стану.

26

(Между тем, согласно сведениям из не слишком надежных источников, Лия де Орус Борошаньи-Цекельи в конце концов вышла замуж за того самого Ш. В., специального представителя CIS/ЗН, с которым, как и мы, познакоми- лась в Женеве, и после этого мы полностью потеряли ее след. Впрочем, не отправилась ли она на самом деле вслед за Сильваном Репробатом в тайный, неприкосновенный

¹ Как страшно сие место (*лат.*).

путь grottaferrata? Может, и так, ведь в наше последнее лето она совершила несколько «секретных вояжей» куда-то в Центральную Европу, в Австрию, Венгрию, Польшу, последней была поездка на север Румынии, в направлении Сигетул-Мармация.)

27

(Из письма Доминика де Ру: «Будучи проездом в Женеве, я встретил в „Ричмонде“ Вики Армледера. Что тебе сказать? Все как прежде. Я страдаю острой ностальгией по местностям, вещам, временам, но более не испытываю никакого сочувствия к ближнему, к упадочно-человеческому, равно как и к тем, кто всему этому сочувствует, к тому, что они называют *своими страданиями*. Существование как таковое ничто, но в то же время всякое конкретное существование всегда падение, всегда вина. Что касается Вики Армледера, то его изящная, слишком изящная хрупкость и меланхоличность становятся уже невыносимы. Между тем ярость его и мессианский профетизм, с которым он громит все, паля из пушки по воробьям, истощает и расчленяет его. Кстати, у него есть для тебя известия: он просил передать, что 13 декабря прошлого года Лия де Орус Борошаньи-Цекельи вышла в Женеве замуж за доктора Шандора Валя, которого ты еще должен помнить. Самое забавное, что Вики Армлдер был единственным приглашенным — они втроем отобедали в зеленом зале „Ричмонда“. Подавали икру, специально присланную по этому случаю шахом Ирана. Над полуголой грудью Лии растекалась река из бриллиантов и изумрудов — прямо ска-

жем, целом состоянии. Но если ты хочешь знать все, то скажу тебе, что она все это время очень сильно плакала. В конце концов, она еврейка, и еще какая, а он кальвинист, при том что утром того же дня их бракосочетание было совершено в греческой православной церкви [если помнишь, мы еще в тихое время года порой любовались этой церковью, ее прекрасными золотыми куполами над роскошным, в зелени, холмом, очень скорбном при этом, поскольку принадлежал он больнице]. Вроде бы д-р Шандор Валь получил новое назначение: им как раз предстояло выбрать, где жить — в Претории или Дакаре. И последнее: Вики Армледер заговорил с ней о тебе, и Лия ответила, что не знает такого и даже имени его не слышала. *Вот так*, дорогой Жан! Ну а в Лиссабоне ослепительная погода, и я не верю ничему, кроме черного сверкания рано в этом году прилетевших из Африки ласточек».)

28

(По мере того как мы пришли к выводу, что должны доверять визионерским астрологическим выкладкам Сильвана Репробата, который отталкивался, как я уже говорил, от прямого и непосредственного ясновидения, и сразу же после того обнаружили и в самих себе необычайные силы, приданные тайным посвящением, мы тут же установили для себя правилом битвы, медиумического поведения и самой жизни, имеющей оправдание только по ту сторону жизни, все то, чем Мировая История со всею ясностью испытывает невовлеченных и сделавших свой выбор.

Дабы не вызывать ни малейшего недопонимания, хотелось бы сказать: дело не в том, что мы во всё уверовали и приняли всё из того, чему нас научил Сильван Репробат, а в том, что мы на самом деле уверовали — полностью уверовали — в Мировую Историю, в ее самых сокрытых и тревожных проявлениях, как созданную само по себе именно ради нашего нового знания, нашего решительного и как бы сомнабулического следования исключительно визионерскому ведению, полностью внешнему по отношению к истории и к миру вообще и в то же время столь же полностью пребывающему внутри их, ибо это мы, и только мы, своим подземным, но *перманентным* действием беспрерывно привносим его в мир.

Я вовсе не утверждаю, что все толкования Сильваном Репробатом его собственных визионерских погружений в буквальном смысле совпадают с внешними проявлениями глубинного хода истории на марше, видимыми как бы по краям ее внутренних бездн; я говорю — и мы все в это верим, — что смысл всему придает исключительно внутренняя реальность вещей: в своем познании хода истории мы всегда лишь сомнамбулы, и наше познание фактов и тайных начертаний *иного* всегда сновидческое, медиумическое.

Это ни в коем случае не дозволение безответственности, но, напротив, требование восполнить, удвоить экстатическую, сверхчеловеческую ответственность Сильвана Репробата нашей революционной активностью. Мы обязаны стремиться воплотить на уровне прямого и тотального революционного действия все то, что Сильван Репробат видел в самых ночных глубинах Истории.)

(Как можно это отрицать? В феврале 1969 года, когда мы — я сам и моя боевая группа — вернулись в Берн, поскольку некоторые наиболее передовые элементы структуры, именуемой нами на тот момент Всемирным Секретным Аппаратом Революционного Действия [AMSAR], сочли, что мы готовы, как и некоторые иные группы, к немедленному захвату Парижа, и нам пришлось временно залечь на дно, только Сильван Репробат открыл нам то, чего не знал во Франции никто, включая ответственных лиц из голлистского штаба.

Так, рассеянные по Оберланду, в бернских окрестностях, мы узнали, что затеянный генералом де Голлем так называемый конституционный референдум по вопросу о «региональном управлении», затеянный без всякого основания и ставший ужасающим, мрачно ироническим финалом мучительного его пребывания в Коломбе-ле-дез-Эглиз, равно как и еще один, даже более унижительный, о «реформе Сената», иными словами, о возвышении *тех, кого нет*, или, что то же самое, о возвышенной по форме передаче власти в никуда, оба начинания заведомо и безвозвратно провальные, уже были — как первое, так и второе — загадочным маневром по отречению от власти, задуманным втайне самим генералом, пожелавшим уйти, соблюдая приличия. Однако, говорил Боссюэ, *замыслы государя могут быть познаны только по их исполнению.*

Кратко, но, быть может, не совсем точно суждение об этом Сильвана Репробата можно передать так: если 27 апреля 1969 года президент республики должен

был отказаться от власти и быстро уступить политическую территорию противнику, создавая видимость не ведущейся на самом деле борьбы, значит, он оказался перед угрозой развязывания кем-то строго контролируемой и уже подготовленной разоблачительной кампании, причем, если бы генерал боролся и проиграл, эта кампания стала бы роковой не только для него, но и для всей голлистской политики. Тайная опасность разоблачительной кампании *апокалиптического* содержания, против которой генерал де Голль оказался бессилем и на которую пытался ответить тайным отъездом в апреле 1969-го, опасность политического шантажа, заключалась в том, что она не оставляла никакого выбора, кроме негативного, связанного с немедленным оставлением власти, которое бы позволило генералу, по крайней мере, в соответствии с его тайным обетом сохранить видимость противостояния; но как мог он, когда-то «человек бури», чему-то противостоять, даже не пытаясь бороться? Можно ли было, а если да, то каким образом, противодействовать тем, кто замыслил эту ужасающую операцию, этот шантаж, подкрепленный — и, видимо, не без твердого основания — абсолютной уверенностью в немедленном и в любом случае необратимом уничтожении голлизма как оплота национального, французского, и глобального, всемирно-исторического, могущества, если бы президент республики героически и самоубийственно решился бы на последнюю, высшую по смыслу ставку в игре — пробу сил? На самом деле выбора не было, все было предрешиено от начала.)

(Но можно ли еще тогда сомневаться в том, что *единственной угрозой*, положившей начало отходу де Голля от дел, должны были стать трагические разоблачения, несущие опасность переворачивания и перемены, возможно необратимой, всего благородного облика голлизма и чрез него — всей национальной и планетарной политики Франции?)

В столь трагических обстоятельствах вполне можно предположить, что никто никогда не узнает пределов и масштаба этого смертельного и удушающего шантажа, незримой и не оставляющей следа удавки, несущей тихую, невидимую, бесследную смерть. Имя же ей — *ничто, которое ничтожит*.

Никто, разумеется, кроме очень малого числа пробужденных, *тружеников ужаса*, по ту и эту стороны фронта отныне и навсегда трансцендентной *Endkampf*, не может указать на час внутреннего разрыва и катастрофического саморастворения конца нашего цикла.)

(Речь идет о хорошо известном невидимом противостоянии двух непреодолимо и как бы подпольно обратных друг другу в лоне трансгравитационной *Endkampf*, с ее возносящим ввысь и уничтожающим призывом ко всесожжению рас — родов — *стражников* — черных гиперборейцев, испеленных солнцем Единого, с их

пронизанной ужасающей любовью субверсией, и белых Эфиопов, с их убеленными противосолнцем Небытия и его головокружительной антарктической мощью оболочками, противостоянии, в котором я также узнаю — припоминаю — образы из медитаций святого Игнатия Лойолы, его «Два Знамени», избранные Люсьеном Рабатте для названия великого сумеречного романа, без сомнения самого великого из всего, что написано о конце Запада, закате Заката.)

32

(Тем не менее, если закат Заката догматически тождествен закату де Голля, его концу, то голлизм конца есть абсолютная противоположность концу голлизма и, понимаемый таким образом, оказывается тем, через что придет к нам спасение и освобождение.

Надо ли вновь говорить об этом? Известно ли нам наверняка, что мы одни только и знаем об этом? Заметим, что информации, медиумически переданной нам через Сильвана Репробата, вполне достаточно; возможно, мы знаем не больше других, но этого достаточно для того, чтобы вопреки всему в решающий час мы сказали: битва за Великую Европу началась.

Но разве говорить не означает в конце концов и как бы заново, точнее, заранее умирать? Нет. Отныне говорить будет означать убивать. Час пробил.)

(Сильван Репробат всегда начинал — причем не выказывая никакого желания подкреплять это фактами — с того, что одно внешнее, сущностно антифранцузское могущество, не европейское по происхождению и ведущее тотальную войну за выживание, всегда стремилось, с одной стороны, расторгнуть, а с другой — публично утвердить и политически использовать с наибольшим для себя эффектом связь, в высшей степени субверсивно установленную генералом де Голлем с победившим в 1945 году мировым демократическим заговором и прикрывавшую неизменность его глубинного, сверхсекретного выбора, подспудно дублирующего видимую политическую карьеру генерала, причем главным для этого могущества всегда было именно стремление *расторгнуть и разбить* — дабы генерал немедленно лишился власти над Францией и все его великие планетарные политические начинания и начертания повисли в воздухе.

Сильван Репробат также утверждал, точнее, напоминал, что тот же самый процесс тайного торможения национального и континентального действия генерала де Голля проявился, пусть и менее очевидным образом, в столь таинственно и трагически нанесенном ударе по великоевропейскому франко-германскому проекту, визионерски, но в то же время доктринально осмысленно осуществлявшемся «человеком 18 июня» в течение шести лет — с 1958 по 1963 год. Им нужно было любой ценой воспрепятствовать этому тайно замысленному генералом де Голлем революционному проекту франко-германского сближения, и они этого добились. И никто

не понимает и не хочет понимать, почему после их успеха наступили времена застоя и медленного умирания, что для этого было сделано. Причем даже такое погружение во мрак до сих пор не мешает осуществлявшемуся в те уже далекие годы глубинному европейскому предпрятию генерала де Голля и сегодня оставаться живо актуальным: иного революционного выбора судьбы Великой Европы просто не существует. «Заключив мир, Франция и Германия объединяются в союз общей судьбы, — говорил генерал де Голль в июне 1963 года, — и совместно совершают Мировую Революцию».

Наконец, в той же самой перспективе, но на ином стратегическом уровне передовых континентальных сражений, прежде всего битвы голлизма за франко-германский союз и одновременно национал-революционного всплытия Великой Европы, следует рассматривать и сокрытый смысл майских событий 1968 года, в связи с которыми когда-нибудь станет предельно ясно, что международная субверсия, сделавшая голлистскую Францию своей главной мишенью, тогда же продублировала свои усилия еще и на Востоке — чрез попытку, счастливым образом абортированную Москвой, создать плацдарм троцкизма в Праге, что — и это совершенно очевидно для внутреннего и одновременно самоубийственного, *не профанического* взора — есть истинная ставка в ужасающей континентальной пробе сил лета 1968 года.

Пробе сил, когда впервые после Второй мировой войны Париж и Москва, утвердившиеся в единой политико-стратегической линии, оказались по одну сторону континентальной национал-революционной барри-

кады перед лицом планетарного недочеловеческого американского субимпериализма и его тайных мандатариев.)

34

(Мы постоянно повторяем: передовая политическая постоянная планетарного видения генерала де Голля всегда заключалась в безусловном отстаивании как фундаментальной стратегической основы Великой Европы континентального франко-германского союза, в котором он со всей уверенностью и безусловной ясностью видел «одно из трех планетарных могуществ, способное однажды стать арбитром между советским и англосаксонским лагерями».

Уже в сентябре 1958 года в Коломбе-ле-дез-Эглиз генерал де Голль в присутствии канцлера Аденауэра заявил: «Следует навсегда покончить с взаимной враждебностью. Мы убеждены в том, что сотрудничество между Федеративной Республикой Германией и Французской Республикой есть основа любой созидательной работы в Европе».

И еще, четыре года спустя, в Бонне: «Между Германией и Францией существует солидарность. От этой солидарности прямо зависит безопасность обоих народов. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту. В этой солидарности заключается вся наша надежда на объединение Европы в области политики, в области обороны, в области экономики. В конечном

счете от этой солидарности зависит судьба всей Европы от Атлантики до Урала».

Отсюда непрерывные, отчаянные усилия Сильвана Репробата обратить наше внимание на необходимость чтения и перечитывания тех страниц из мемуаров генерала де Голля, где он говорит о своей встрече с Германией, разбитой и изничтоженной Германией 1944–1946 годов, доводя свой рассказ до органной ферматы совершенно неожиданного размышления об истории, содержащегося в личном секретном послании к нему рейхсфюрера Генриха Гиммлера в конце 1944 года: «Тот, кто знает, кто Вы, генерал де Голль, и откуда, снимет перед вами шляпу. Но сейчас, что Вы будете делать? Пойдете на поводу у англосаксов? Они будут обращаться с Вами как с сателлитом, и Вы потеряете честь. Объединитесь с Советами? Они подчинят Францию своему закону, а Вас лично уничтожат. На самом деле единственный путь, который приведет Ваш народ к величию и независимости, есть путь союза с побежденной Германией. Объявите об этом сразу же. Войдите в контакт с теми людьми в Рейхе, кто еще имеет фактическую власть и желает повести свою страну по новому пути. Они готовы к этому. Они просят Вас об этом. Если Вы сумеете одолеть в себе дух мщения и воспользуетесь предоставляемым Вам историей шансом, Вы станете величайшим человеком всех времен».

И снова Генрих Гиммлер: «Астрология — королевское искусство. Я сообразую все великие деяния с определенными фазами Луны».)

(Следует признать, что де Голля, как и Гитлера, предали, тотально предали, причем самые важные люди из его окружения. Предали просто своей глупостью, врожденным кретинизмом и ленью. А точнее — что еще более драматично — предали *просто так*.

Ибо без постоянного, ожесточенного и осознанного *предательства просто так* задуманная и чаемая де Голлем франко-германская Европа не была бы поставлена под удар и не было бы ни мая 1968-го, ни, прежде всего, 27 апреля 1969-го.

Следует задуматься о чудовищной расовой, умственной и моральной дегенерации высшего политического класса Франции. О том, что де Голль называл «человеческой пустыней».

Демократия стóит дорого, это известно. Цена ее есть цена упадка, унижения и кровавой кончины исторической судьбы, пресечения всякий раз особого и единственного в своем роде дыхания жизни. Демократия есть то, через что силы тьмы входят в историю, есть стратегия внедрения и тайного умерщвления ее имманентного замысла.

Следовательно, трагедия в том, что мы поняли де Голля слишком поздно, непоправимо поздно и что сам он не понял нас и не обратился, когда еще было время для этого, разумеется тайным образом, к нашим контр-стратегическим оплотам действия.

В то время мы еще могли стать его последним шансом, а следовательно, и последним шансом агонизирующего, приговоренного к смерти и постыдно принявшего смертный приговор мира, но ответственные лица из политического аппарата де Голля буквально бились за то, чтобы помешать нам в этом, хотя и для них самих это открывало возможность тайными путями перейти открывшуюся бездну.

Таким образом, говоря о глупости, чрезвычайной политической безграмотности и преступном для действующих политиков претенциозном старческом маразме, нельзя ни в коем случае забывать и об измене, просто измене, *измене просто так*, а как следствие, о *высшей измене*, сознательной, невозмутимой, озаренной и воспаленной измене стратегических агентов влияния, внедренных в голлистский аппарат и действующих в пользу тотального политического и духовного, преонтологического врага, все еще и всегда неизменного, врага, действительно ответственного за *превентивно* внушенное де Голлю равнодушие к нам и нашему делу.

Неотступны мысли о том, что настанут дни, когда все эти теневые фигуры будут обнаружены, идентифицированы и необратимо приведены к соответствующему знаменателю. Аутентично революционная юстиция всегда имеет обратную силу. Ее конечная, тайная и исполненная славы миссия вообще относится не к живым, равно как и не к проблемам их безопасности и политико-духовного благополучия, но к мертвым, к сокрытой спирали их литургического восхождения в уготованное им место упокоения.)

(В 1967 году мы выпустили в свет совсем не похожую на все остальные сочинения этой тематики книгу «Шарль де Голль» Доминика де Ру, о которой можно говорить как о первом оперативном прорыве в направлении де Голя, так или иначе нейтрализованном лимфатическим окружением, тайно обступившим президента республики и состоявшим из участников заговора, желавших его сбросить и в конце концов сумевших это сделать в предусмотренный час.

В любом случае вышедшая в ноябре 1967 года книга Доминика де Ру «Шарль де Голль» остается самой важной из всего написанного о генерале вплоть до сегодняшнего дня.

«Все раздваивается» — эти слова Доминик де Ру впервые написал именно там, посвящая свою книгу памяти Жана д'Альтавиллы.

В ней приводятся политические тезисы одной из действующих в рамках голлистского движения «внутренних секретных групп», вооруженной авангардным проектом активной субверсии, глубинно связанным с тем, что Юлиус Эвола называл «четвертым измерением истории».

Из этих политико-доктринальных тезисов сегодня наиболее важны следующие:

«Разве сегодня, в конце уже перевернувшегося исторического цикла, Франция, ведóмая железной рукой

в бархатной перчатке, рукой генерала де Голля, не находится на пути превращения в упоминаемый доктринами мартинизма „новый“, „иной Израиль“, трансцендентный Израиль конца? В любом случае не следует забывать, что Тухачевский, младший товарищ де Голля по лагерю для военнопленных в Ингольштадте и будущий маршал, сам был мартинистом высокой степени посвящения и создателем Полярных Лож во внутреннем круге командиров Красной армии. Во Франции мартинизм также был внутренней идеологической опорой субверсивных военных движений, из недр которых в числе прочего вышла Синархия».

Далее о планетарном политико-революционном действии генерала де Голля в этом документе сказано так:

«„Замыслы государя могут быть познаны лишь по их исполнении“, — говорил Боссюэ. В этом заключается „явленная при свете дня тайна“ большой геополитики голлизма, которая, непрерывно сияя, взывает к сущностному возвращению изначальной Франции, более глубинной, чем нынешняя Франция, с ее историей преступлений, унижений и стыда, порожденных происками Анти-Франции.

Между тем сегодня, когда, возможно, великое духовное предприятие, каковым можно назвать историю голлизма, приближается к завершению, к своему концу, если не обрыву, сам де Голль, хочет он того или нет, от достигнутого им апогея своей чисто французской судьбы медленно движется к тому, чтобы стать, и все более очевидно, пробным камнем, первым громовым раскатом нового

видения и осознания собственной судьбы, обета и клятвы уже не просто французского, но во все большей степени европейского значения и в конце концов обрести и воплотить в себе абсолютный концепт совершаемого чрез него возобновления мирового бытия в его целом».

«Ибо сегодня де Голль, — делал вывод в ноябре 1967 года Доминик де Ру, — уже все более превращается в то, что будет после голлизма. Эта работа или не будет иметь конца, или обратится в ничто. Но всякое ее продолжение секретно, непредвиденно, авантюрно и подобно движению над пропастью».)

37

Эту книгу Доминик де Ру написал за четыре огненных дня, с 15 по 19 октября 1967 года, у себя в Ла-Букадери, в низовьях Шаранты.

Плутоническая, исполненная ужасающих сокрытых сил, река Шаранта берет начало в ночи и в ночь впадает.

Книга Доминика де Ру была зачата пришедшим извне, непрерываемым, стремительным, словно вздымаемый бурей вал волн, огнем вдохновения.

Я знаю это потому, что сам в те дни был там, борясь с царством тьмы за последнее дыхание нашей с Эйей любви, последнее дыхание моей безвозвратно утрачиваемой жизни.

У последней точки нашего общего вихря агонии, когда уже наступила зима, Доминик сражался с нисходившим на него небесным огнем, а я, пребывавший между жизнью и смертью, стесненный немислимыми путами, не мешавшими мне, впрочем, падать вниз и пробуждаться от сна с криком, застывшим в горле, последним, окаменелым, обутленным, падать вниз по спирали в пропасть собственного вневременного и безнадежного удушья, бился с круговым наступлением бессилия и постыдной тьмы века сего.

(мы, словно пронизанные инфернальными лучами, медленно спускались по рыже-коричневому ковру опавшей листвы и черной гальке полупустого сада Ла-Букадери, затем пересекли поля и заросли кустарника и вышли к синим заводям бегущей меж прихотливых берегов, всегда темной-претемной Шаранты в потрясающей тишине холмов Мелани, усеянных множеством черных точек — то была просто какая-то генеральная ассамблея воронов пронзительные взоры их янтарных глаз с первого дня подвергали нас безжалостному суду; они с первого взгляда понимали: доверять нашему облику нельзя, *krâ ni-daro, nii-dha râno kranò, krâ ni-daro nii-dha râno, arrh kranò, krâ ni-daro, krâ ni-daro, krâ ni-daro* а после все огни Ада, пожирая каштановые поленья и сухую виноградную лозу, пели в камине нашей спальни и в наших венах, изголодавшихся по смерти, по разрушению и забвению черного вина страшной Фессалии наших древних сновидений, преследующих друг друга, подобно стальным облакам на закате разгромленного, разорванного на клочья теней, стертого в прах

мира) (я бы сказал, если ничто не может спасти этот гаснущий огонек ни безумие, ни бездна, да, я говорю — бездна вдоль парапета, светящегося в черноте, словно пропитанной непроницаемой кровью останутся только вино, слезы и, когда он идет, снег) (по ту сторону всякого размышления — Бельведерские гнезда: сначала высохшее гнездо ос, затем, окруженное ореолом бездонной печали, гнездо соек и еще змеиное гнездо, под тяжелой черной плитой, в подожженных нами кустах ежевики и, наконец, двойная угроза, *тайное двойное* послание, а именно обнаруженная нами утром, внезапно, на грани сна и яви, на кухонном столе двойная связка черных перерезанных ужей, прикрытых ветвями остролиста, чью листву жемчугом усыпали капли свежей крови графин, расколовшийся в полдень, и ночью звезда, тоже расколовшаяся на части, рассыпавшаяся головокружительной огненной пылью прямо над нами, в глубине бездонного неба) (чтобы потом, внезапно, словно в бреду, вернуться на вишневое покрывало дивана в маленькой гостиной на закате зимнего солнца, когда ворон Карду беззвучно парит над решетками оград) (и, говоря с Домиником, я настаивал, что «не плачу — это она плачет внутри меня, и ее слезы возвращаются ко мне из глубин ее смерти; не спрашивай меня ни о чем, забудь, оставь меня, дай мне сейчас уйти») (я мог бы похоронить ее в пещерах Ла-Букадери и тем восстановить равновесие, укрепить себя призванной засвидетельствовать могущество, свежесть и тотальное ее покорство жертвенной молнией ее крови, но для этого требовалось, чтобы и Доминик как хозяин этого места хотел

того же или хотя бы согласился ради меня; Доминик же опасался, что она, оставленная мною в духовном неведении, еще не до конца переломила саму себя, что душа ее еще не растворена мной в ее отречении от самой себя и даже что она еще не способна внутренне воспринять суицид как совершенное нами ритуальное убийство, использовав нас без нашего ведома и таким образом нерушимо связав нас ее собственной ночью тьмой) («я сама знаю, какая я плохая, — говорила она, — знаю это лучше тебя; но это не причина делать меня *иной*: изменив меня, ты меня убьешь, и если ты меня действительно любишь, как говоришь, божественной любовью, ты должен меня любить такой, какая я есть, — скверной, неисправимой, посвященной той абсолютной свободе, которую ты называешь *абсолютным злом*, любить божественной любовью во зле, ведь я люблю зло и делаю все, чтобы его познать, ты должен меня любить, зная, что я никогда не предамся тому, чего от меня хочешь ты; если я способна понять все то, что для меня бытие для тебя небытие, и ты должен понять: то, что для тебя бытие, для меня небытие и ты должен быть счастлив, что я не лгу тебе, возможно, потому, что тебя люблю: правда лжи и любовь нелюбви — это черное солнце в самом нижнем ярусе всего того, чего ты не желаешь, чего ты никогда не пожелаешь принять; черное солнце того, что истина есть ложь, но если ты захочешь, я сегодня же ночью буду в твоих объятиях кричать: *черна я, но прекрасна, дочери Иерусалимские*, и все исчезнет в этом крике, даже слезы на моем лице ты знаешь»)

(я не знаю, кто она и откуда; и этого не узнает никто — ни я, ни кто другой но она, с ее ослепительной и ясной нордической белизной, сияющей, словно золотое и медовое — сакрально медовое — индо-германское солнце, изнутри опустошена, выжжена и стеклянна, словно степь Содома, словно степь Гоморры, она вся — сгусток тьмы и смерти; выброс небытия, дверь в *иное*, в антигравитацию, антиматерию, открывающаяся через ее — полярной белизны и одновременно перламутровую, досократическую — плоть, дверь в пространство головокружения и бесстыдства антимира после конца этого мира и исчезновения его единого гравитационного поля, после смерти любви

но смерть любви не есть смерть плоти; и если прекращение действия онтологической благодати крещения означает раскрещивание, которым — и ничем иным — является этот внутренний разрыв с вселенской любовью, ведущий к смерти любви, а следовательно, к мору мира, разрыв, представляющий собой немислимую мистерию выживания живой плоти, тогда животворящее божественное дыхание себя изживает; но тогда какое иное дыхание жизни оживляет жизнь и безжизненность ее, обнаженной Эйи, жреческой и царственной плоти перед лицом желтого и красного пламени и в какой иной жизни, созданной как бесконечность безжизненности и безжизненность сама по себе, она так живо оживает?)

(но всякая ложь унижает саму себя, поскольку способна лишь препятствовать живой истине, тени собственной тени сразу же, как только взрыв слез ясно изобличает ее ничтожество, ее полное ничтожество

в древности, когда она сама была лишь тенью и — в еще большей степени — просто падением, но также и погасшим, поглощенным светом по ту сторону света и поглощенным светом бытием — прежним)

38

Творению противостоит уже не рас-творение, то есть растворение, но начало, зачало, внутреннее зачатие по ту сторону бездны конца всего, и зна́ком этого был, как я теперь уже знаю, приход в мою жизнь Эйи в самом начале 1968 года, года первого великого атлантического землетрясения, года начала конца.

Отныне горы обречены сторать от подножья, ибо тайное сердце скал навсегда оледенело. Отныне подземная туника океанов разодрана, а дно колодцев отверсто тьме.

И даже если, как мне хотелось бы иметь силы верить, появление Эйи в моей жизни было только зна́ком, философской аллегорией и огненной пробой любовного мне служения самой Великой Разрушительницы, небеса, сквозь которые прошел ее огонь, навсегда останутся для этого мира небесами первого явления уже неотвратимо идущего на него сегодня Нового Огня.

Словно слова сжигаемого письма, исчезают боль и мольбы, но остается страх, кокон оцепенения, ужаса и утраты *перед лицом этой нищеты и скорби*, словно озаряемой ясным и белым стеклянным солнцем смерти, светоносной скорби.

(Именно в 1968 году, когда де Голль, которому оставалось жить всего два года, выйдя на новый континентальный и планетарный уровень действия, начал войну уже в области невидимого, вплоть до «могуществ превыше сил воздушных» и даже по ту сторону того, что Леон де Понсен именовал «оккультной войной», Франко также достиг спасительного для Испании и не менее спасительного для Европы и видимых, равно как и сокрытых, судеб Западных Врат фундаментального уровня, к которому он двигался начиная с 1939 года.

Также можно сказать, что и де Голль, и Франко после грандиозной европейской катастрофы 1945 года оба пребывали в одиночестве, но вдвоем способны были остановить или хотя бы стратегически замедлить наступление конца мира, затянув *на время и полвремени* обвал Западных Врат или, если угодно, «новый уход на дно Атлантиды».

Отсюда проистекают все последние признания Сильвана Репробата: когда, сложив с себя прямую политическую власть, де Голль открыто встретился с генералом Франсиско Франко-и-Баамонде в его официальной резиденции во дворце Прадо, он утвердил на своем посту *нового стража* Западных Врат, а затем — разве не было сказано, что их двое: «один — дневной, а другой — ночной», то есть тайный? — он вторично за эти годы предпринял таинственную поездку в находящуюся уже за пределами Западных Врат Ирландию, чтобы встретиться с тем, о ком он заранее знал, что *тот есть*, и пере-

дать тому, пребывающему в сокрытой недосягаемости, все необходимые полномочия, сделав его, пока сам де Голль был еще жив, *третьим*.)

40

(Уже в 1946 году по указке из Вашингтона Анри де Кериллис в своем почти недоступном сегодня эссе под названием «Де Голль — диктатор» высказался так: *Голлизм есть национал-социализм, разыгравший партию его победителей*.)

Однако история всегда есть одна на всех братская могила, и для победителей, и для побежденных.

Вопрос: *когда судьба становится противосудьбой?*
Ответ: *в час, когда, как говорил Наполеон, его звезда начнет гаснуть, а потом исчезать*.

Однако вот что совсем уж невероятно и таинственно-темно: звезда де Голля в 1969 году не должна была ни погаснуть, ни исчезнуть; как с полной убежденностью предупреждал нас Сильван Репробат, *эта звезда должна была погаснуть, причем очень быстро, только в августе 1970 года; и не погаснуть на самом деле, а, словно покровом, затянуться звездным облаком, излучающим необычайное, алмазное, бело-голубое сияние*. А затем, говорил он, облако не рассеется, а станет прозрачным изнутри, и тайная звезда де Голля появится вновь, но при этом раздвоится: «генерал-две-звезды» — называли его отвратительные и преступные наглецы и, сами

того не подозревая, попадали в точку; но ведь и название Коломбе-ле-дез-Эглиз указывает на две церкви, то есть на то же самое, ибо, как говорил Доминик де Ру, «все двойтсся».)

41

Что же, следовательно, происходит этой ночью? Остановилось ли время, или я, не отдавая себе в том отчета, обрел коридор, ведущий прочь от истощения, усталости и забвения, отмеченных когтем времени, которое идет и уходит? Словно вся эта ночь целиком принадлежит мне, а сам я могу сейчас беспрепятственно искать все в себе самом, в моей жизни, в самом целостном и освежающем из всех возможных миров.

Который час? Разве святой Иоанн Креста не говорил, что последний час ночи самый темный? За окном как раз такая темень, что я думаю: это последний час.

По мере приближения зари за окном все холодает, а жар в моей комнате между тем становится невыносим; уже стены, кажется, тлеют, и пол под ногами как будто вот-вот вспыхнет огнем.

Неужели всю ночь тлел остов дома и вот пожар? Нет, это невидимый огонь самой ночи, огонь не от мира сего, огонь поядующий, излучение которого невыносимо.

Никакого беспокойства, ни малейшего следа страха нет во мне; напротив, радость, подобная восторгам лета,

подобная благодатным песнопениям, hymnein. Когда-то — сейчас я в этом уверен — Усадьба Милосердия была философской обителью увенчанного успехом труженика царского Искусства Хризопеи, и вот уже двадцать три года, как в годовщину его торжества солнечная слава озаряет место святого труда, свершавшегося в этих отмеченных судьбой с тех пор навеки стенах.

Сегодняшняя ночь в Усадьбе Милосердия, в Версале, следовательно, совсем иная, чем все остальные.

42

В одном я отныне уверен: не в эту ночь суждено мне привести в порядок досье «Всадники Апокалипсиса», и уж никак не в ближайшие дни, которые — я чувствую это с почти болезненной ясностью — станут для меня самыми драматичными, головокружительными, жестокими и абсолютно безжалостными.

Впрочем, срочной необходимости приводить в порядок досье, поглотившее меня этой ночью, уже нет; по крайней мере, в нем нет разгадки *знамения грядущего*; все так или иначе свершилось, и сегодняшние политико-стратегические сражения, их космические и духовные определяющие уже совсем иные. Иными, чем десять лет назад, стали *глубины небес* — в этом все дело.

Изменения, неугасимый огонь которых я сейчас ощущаю в себе, носят характер циклопический, и сами по себе события Апокалипсиса, пусть не так давно, но уже произошли.

Что все-таки наперекор всей черной усталости я должен сделать этой ночью, так это отпечатать на машинке оставшиеся у меня заметки о де Голле, касающиеся периода после предначертанного и загадочного дня 27 апреля 1969 года, добавив к ним, в ту же папку, уже отпечатанные записи моего великого тотемического сновидения от 14 июля 1976 года о *сокрытом лице* де Голля.

(И еще о просвечивающем сквозь лицо де Голля *сокрытом лице* Мировой Истории, уже совсем близкой к своему концу. О Великой Истории, поставленной под черный удар в 1963 году, когда была выставлена роковая *преграда* попыткам генерала де Голля, получившего безусловную поддержку канцлера Аденауэра, приступить к ускоренному строительству новой Европы, выставлена подонками, извратившими голлизм, марионетками атлантических и прочих внеевропейских участников антифранцузского и трансевропейского заговора, которые сегодня *ни на чем* строят недолговечную, рассчитанную на короткое время *перехода черты*, пародию на голлизм, так называемую Европейскую Конфедерацию, вместо Европы Федеративной, единственно способной взять на себя ответственность за политико-исторические судьбы континентальной евразийской общности и тотальное ее освобождение в конце времен.

Если де Голль и делал вид, что видит в Европейской Конфедерации конечную цель его великого континентального начертания, то только потому, что хотел, чтобы его планы свершились в сроки, известные лишь ему, а не *кому-то еще*; с другой стороны, Европейская Кон-

федерация устраивала генерала как прикрытие его конечной, высшей политико-стратегической цели — Европейской Федерации, Imperium Renovatum¹ его великой германской мечты, в которой Франции вновь была уготована участь Frankreich² в рамках великоримских имперских владений Карла Великого. Точно так же первоначальный боевой голлистский концепт «Французского Алжира» служил прикрытием проекта ускоренной всеобщей деколонизации, неизбежного геополитического противовеса его же секретных планетарных начертаний. Вновь *larvatus prodeo*³, перманентная фатальная контрстратегия, в какой-то степени объективная, как вызов любой великофранцузской политике, проистекающий из *внутреннего препятствования* Франции самой себе, которое ведет свою историю по меньшей мере с XV века и направляется кукловодами Анти-Франции на службе Могуществ Ада и всего того, что его императорское величество принц Отто фон Габсбург называет *негативным всемогуществом*.

Именно эти подчиненные негативному всемогуществу могущества *внутреннего препятствования*, без имен и лиц, заблокировали на марше продвижение к Федеративной Европе, начало которому положил генерал де Голль в 1963 году, а затем оборвали политико-историческую карьеру этого «человека бурь» чрез усекновение его готовой к венценосному свершению последнего «трансисторического Успения» главы, пусть даже это была не физическая декапитация, а пресечение Великого Делания генерала де Голля.

¹ Обновленной империи (*лат.*).

² Франкского рейха (*нем.*).

³ Я шествую под маской (*лат.*).

(Церковь Воинствующая, Тотальная Церковь признала святость Карла Великого и канонизировала сам его путь, что и вооружило на последнюю и самую тайную битву генерала де Голля: творение, растворение и претворение тайной судьбы генерала в роковой год его смерти служило только делу Божественной Монархии и было стратегическим замыслом небесного штаба, Regnum Sanctum. И я — все мы — со всею ясностью это понимаем. И это не просто пророчество, но ритуальная, указывающая точную дату свершения насечка на моем сердце.)

43

Но что же все-таки происходит? Мощная лампочка моего настольного светильника сама по себе, без всякой видимой причины трижды потухла и трижды вспыхнула вновь. Свет ее вдруг становился призрачно-красным, затем — грязно-серым и гас, чтобы, вновь ослепительно вспыхнув, столь же ослепительно погаснуть, и так, повторяю, три раза. Знак, поданный мне? Но знак *чего* и *кем* поданный? Хотят ли *они* вновь установить со мной, вернувшимся к своему деланию, связь? Признаюсь, меня это не успокаивает, тем более что в воздухе витает аромат роз и ладана, брачный аромат, истекающий откуда-то одновременно со вспышками настольной лампы; я сильно подозреваю, что аромат этот ментального происхождения. Я помню этот запах, я знал его, а затем он исчез и пребывал разве что по ту сторону всех воспоминаний, и вот теперь он возвращается — но при *каких* обстоятельствах, и что означают эти райские розовые глубины?

Дом, чьи стены чудесным образом раскалились, как в печи для обжига стекла, и сад вокруг дома, погруженный в стеклянно-извращенную тьму, готовую вот-вот распасться на тайные слои невероятной тишины. Всякая жизнь, всякое дыхание, всякая живая мысль кажутся подвешенными над неведомо какой зыбучей котловиной в наступившее время окончательного конца этой ночи, окончательного конца моего раскаленного добела ожидания. Подвешенными так или иначе сокрыто.

Не предчувствие ли это наступления чего-то ужасного? Кто алчно следит за мной из глубины сада, из глубины ночи? Не есть ли все, что я чувствую: внезапное одиночество, головокружение, тошнота, раздвоение, весь этот стеклянный ужас, разрыв, гипнотическая амнезия, ощущение постыдности происходящего, — результат того самого тайного излучения, каковое и есть на самом деле истинное царство смерти? Но какой и чьей смерти? Кому я несу смерть, кто здесь и сейчас умирает, о чем литургически возвестило мне троекратное чередование тьмы и света? Кто и что мне этим говорит? И что мне следует делать? Чего они ждут от меня?

Усталость до тошноты, черная усталость.

Прибыв в Усадьбу Милосердия, я тем же вечером обнаружил в выдвижном ящике ночного столика забытые и лежавшие там месяцы и годы две книги — «У врат тьмы» Жана-Луи Буке и «Тайна голубого экспресса» Агаты Кристи. Изданная в 1955 году у Деноёля в «Презанс дю фютюр», книга Жана-Луи Буке является, на мой

взгляд, лучшим собранием оккультных новелл, появившимся во Франции за последние тридцать лет; несколько не удивляюсь, что она осталась никем не замеченной: таков железный закон царящего в нашем бесчестном и ступорозном времени повсюдусущего кретинизма. Анн-Мари, которой я сказал о находке, не знала даже, как эта книга попала к ней.

Что до замечательного романа Агаты Кристи, то и о нем я могу сказать: там присутствует струя оккультизма, достаточно нехарактерная для этой глубоко ошибающейся относительно природы буржуазной преступности как субверсивной основы истеблишмента старой, благополучной и высокооплачиваемой пенкоснимательницы, через безответственное кредитование опозоренной *своими*, но в моем сознании неизменно связанной с образом впадающей в беспамятство молодой женщины, которая одиноко скитается среди зимы по опустевшим пляжам на океанских берегах, сопровождаемая скользящими по ее следам, словно чайки с окровавленными клювами, тенями и терзаемая гипнотическим притяжением неодолимо манящих самоубийц скал Корнуолла, что «окутал ветер брызг слюной, вздымающейся над волной».

Вот отрывки из «Тайны голубого экспресса», вырезанные мной специально для того, чтобы подклеить в мои записи:

- Мадемуазель, я вижу, вы читаете полицейский роман. Вас так интересуют эти истории?
- Да, это чтение меня занимает.
- Кажется, этот жанр становится все более популярным. Почему так? Я изучаю психологию и хотел

бы, чтобы вы объяснили мне причину успеха полицейских романов.

Сильно заинтригованная, Кэтрин ответила:

— Без сомнения, потому, что они переносят нас в состояние ускоренного времени.

— Да, есть такое мнение, — задумчиво проговорил человек с набриолиненными усами.

— Причем известно, что таких загадочных драм в реальности не бывает.

— Извините, мадемуазель! Бывает. Человек, который с вами говорит, сам пережил не одну подобную трагедию.

Живо заинтересовавшись, Кэтрин взгляделась в собеседника.

— Кто знает, может быть, однажды и вы попадете в такую историю. Это опасно.

— Не думаю, — ответила Кэтрин. — Со мной никогда не случается ничего необычного.

Она наклонилась вперед.

— И вы об этом сожалеете, не правда ли?

Удивленная вопросом, Кэтрин громко вздохнула.

— Если я не ошибаюсь, мадемуазель, вам очень хотелось бы пережить что-то хоть немного необычное. В этой жизни каждый в конце концов получает то, чего очень сильно желает. Я всегда это замечал. Возможно, ваши желания исполнятся, причем самым неожиданным образом.

— Это предсказание? — спросила Кэтрин, вставая из-за стола.

— Нет, я не предсказатель, — ответил коротышка. — Тем не менее, если я что-то продвигу, это всегда сбывается, но я никогда этим не хвастаюсь. Спокойной ночи, мадемуазель. Приятного сна!

Кэтрин, которую изрядно развлекла беседа с соседом по столу, вышла в коридор.

И далее:

Внезапно Кэтрин почувствовала, что на скамейке она не одна. Ощутила чье-то невидимое присутствие. Присутствие убитой Рут Кеттеринг. Более того, Кэтрин сознавала, что Рут хочет ей в чем-то признаться. Девушка не могла одолеть смятения. Она ясно чувствовала, что Рут Кеттеринг пытается передать ей послание чрезвычайной важности. Затем это ощущение рассеялось. Кэтрин встала, охваченная легкой дрожью. Но что хотела сообщить ей Рут Кеттеринг?

(В глубине парка внезапно раздается скрипучий крик, за которым следует тревожная, затягивающая тишина, а через несколько мгновений — могучие невидимые *ébats* посреди листвы, переполненной алчными тенями, до которых я могу почти дотянуться рукой, прямо отсюда, из открытого окна моей комнаты, *у врат тьмы*, как говорил Жан-Луи Буке.

Это пара молодых сов, хороших моих знакомых, поделив меж собой добычу, теперь сотрясает ночь до самого ее костного мозга, вызывающего в них желание — и в то же время сокрытого — костного мозга полуночи.)

И вновь странное ощущение невидимого — совсем рядом со мной, — внимательного присутствия, а еще точнее, присутствующего внимания, исходящего от западной стены моей комнаты (где располагались большой, красного мрамора, камин, украшенный гербом де Л., и единственное окно, выходящее во внутренний, пыльный и желтоватый, похожий на бассейн без воды, усадебный дворик, посреди которого, словно трогательная,

волнующая трещина в плотном и сухом воздухе, возвышается Сухое Древо, много лет назад явившееся мне во сне, незабвенное и парадигматическое, Сухое Древо из православных житий с их необычайной простотой; яблоня, как я помню).

Говорю об этом с трудом: из головы у меня не выходит, что эта комната, на данный момент моя, чрез тайный коридор сообщается — не может не сообщаться — с *философским пространством* меж стен, а чрез него — с пространством доктринального удвоения, имеющего статус *онтологического смещения* Усадьбы Милосердия как таковой, которая, оставаясь на первоначальном уровне непосредственной данности, становится в то же время *чем-то иным* в невидимом пространстве, где свершаются немыслимые судьбы, дарованные чрез особую божественную миссию, *tibidabo*; все это означает, что Усадьба Милосердия такая, какая она есть, как расположена, задумана ради свершения сокрытых путей в невидимое, туда, где находится космогоническое святилище и брачный колодец, отворяемый над и под ними сверху вниз и снизу вверх в час, когда *черные грязи* начинают кипеть, с тем чтобы обрести для такого кипения опору по ту сторону забвения, по ту сторону забвения забвения, по ту сторону забвения забвения забвения.

Ибо именно из этой черни чернее черной черни должны будут изойти новое небо и новая земля, и именно оттуда, из подземной купели, наполненной золотоносной черной грязью, явится абсолютно новое солнце новой и новее новой жизни, *vita novissima* философов, явится для того, чтобы подняться надо всем в некоторый вѣдомый час всевосходящего облучения, *в мой час*.

Эта усталость — я знаю, она совершенно не нормальна. Что бы дал я за возможность соскользнуть под стол, низвергнуться, растянувшись на паркете в умиротворяющем сне, словно на берегах первоначальных водных потоков, словно в самом сердце темного устья вод, именуемого ими — теми, кто знает, — Телад, в сердце погребенном, но пробужденном в любовной медлительности, в этой черной и влажной грязи, под сладковатым на вкус — вкус спустившейся к горизонту луны — дождем.

Праздный, если угодно, вопрос: как сумела гипнотически отравить меня своим вином эта служанка с великим сердцем и меченым красным шрамом лицом? И если это — ибо вообще-то возможно все — действительно так, то с какой сокрытой тьмой целью она это сделала? И по чьему указанию? Ведет ли она свою собственную, опасную конечно, игру или же — сокрыто — игру чужую, преступно-подпольную игру *иных*? Но я-то сам разве не понимаю, насколько она прекрасна, насколько невыносимо прекрасна эта дева ниспадающей ночи?

И почему мое сознание вдруг сомнамбулически и внезапно остановилось на только что процитированных мной отрывках из «Тайны голубого экспресса»? Что за предостережение, по видимости банальное, но на самом деле зашифрованное, мне сделано? Какая милая мне тень предупреждает меня о большей, чем сама смерть, опасности, открывает мне заблуждения, отвергающие меня в бездну самого главного выбора, указы-

вая на события, призванные полностью изменить все, о чем я сейчас не могу даже и помыслить?

С другой стороны, этот сборник Жана-Луи Буке под названием «У врат тьмы», в который вошло пять новелл: «Дочери Ночи», «Кающиеся грешники милосердия», «Каакринолас», «Источник радости» и «Глиняная фигура».

Если особое послание с той стороны смерти медиумически обращено ко мне чрез два отрывка из «Тайны голубого экспресса», то я почти уверен, что это послание должно иметь прямое отношение, скажем так, сущностную отсылку к сборнику Жана-Луи Буке, скрывающему оперативный ключ к посланию. Я подумаю об этом, но не нынешней ночью.

45

Разноцветье грязи в центральном бассейне, темно-синей с отливом, темно-зеленым. Что думать об этом? Все это приходит ко мне как сладостная и крепкая ясность бесконечного брачного соития, имеющего завершение разве что в самых темных садах смерти. Скажем так, угасания. Не из этой ли грязи пришла Лючия, юная португальская служанка, обретающаяся на нижнем этаже — здесь и в глубине сада, совсем рядом со мной, проводящая тут дни свои за работой?

Беру себя в руки. Надо все-таки допечатать заметки о де Голле. Хотя пока еще не уверен, надо ли. Пересечь границу дня, уснуть, уснуть наконец.

(Если де Голль мог по видимости *выйти из игры* или, с более отстраненной точки зрения, «удалиться от дел» и в то же время сохранить, словно на краю бездны, собственную жизнь, то потому только, что прибег к помощи, весьма, впрочем, запоздалой, некоего сокрытого, имеющего центр в Лондоне могущества, с которым он сумел договориться при посредничестве — подчеркнем это — Дени Сора. Все это стоило сделать хотя бы за тем, чтобы — генерал был в этом уверен — запустить, уже на духовном уровне, контроперацию, самую драматическую во всей его полной испытаний, тревог и тайн жизни, видимым — только видимым — покровом каковой было его двойственное теургическое посещение Сантьяго-де-Компостелы и еще *одного места, где-то в Ирландии.*)

(Определенно слово чести следует держать, только когда имеешь дело с ровней. Слово, возможно данное де Голлем при некоторых обстоятельствах Могуществам Ада или их порученцам, быть может более или менее замаскированным, не могло в конечном счете не означать вхождения в их игру, но только для того, чтобы, став по видимости их дважды невиновным соучастником и как бы слепой мишенью, со всей их игрой в итоге покончить.

По поводу чести и слова чести: именно честь обязывает так поступать с Могуществами Ада — предавать их всегда, нарушать данное им слово, любое обещание участвовать в их делах жизни и смерти. Вот почему де Голль действовал именно так, и это позволило ему в последний раз повернуть все в свою пользу, использовать благодаря отходу от дел данную ему передышку для того, чтобы с целями уже далекими от его непосредственных политических интересов утверждать в Испании и Ирландии новые направления отныне полностью планетарной, хотя тогда еще все же и французской, игры с более высокими тайными ставками вплоть до духовной битвы, чей ход уже прямо касался исторических начертаний самого Божественного Промысла.

Однако, с другой стороны, ему все же пришлось заплатить за свой контрудар и способность поставить и заставить действовать на месте все то, что он должен был поставить, и так или иначе это *трансцендентно обозначить* своим *двойным* испано-ирландским путешествием, ибо Могущества Ада ответили ему еще более коварным, черным образом: хотя за уход от дел он получил отсрочку от смерти на четыре года, она настигла его ровно за три года до предусмотренной для нее даты.)

(По причинам, связанным с загадочным оккультным влиянием и ни в коем случае не сводимым к обстоятельствам времени, ошибкам, злоупотреблениям и растратам, которые имели место в годы второго прихода генерала к власти и о которых я вообще не должен судить,

бремя которых, однако, использованное против него Могуществами Ада, как раз и сообщило ему некую тайную слабость, дело Шарля де Голля, хоть его и невозможно было искалечить до самого последнего момента, как таинственно предопределенное свыше, все же искалечили, я бы сказал, подрубили под корень, когда оно уже почти увенчалось последним *выводом, коронационным* завершением.

Так или иначе, работа его завершилась усекновением главы, то есть *всего*, и все это, оплаченное полной ценой, произошло, когда им удалось уговорить генерала отойти от дел, самоустраниться, отказаться от всего, отказаться по доброй воле. Годы высшей судьбы и битвы, на которых он рассчитывал утвердить *все окончательно*, должны были быть на самом деле вознесены в непроницаемую ночную тьму высот: *краеугольный камень* всей его исполненной верности Божественному Промыслу карьеры в этом переходном мире был обретен, и то, что де Голль в головокружительном конце исторического цикла с подлежащим сомнению бытием его завершения так и не смог воспользоваться всем этим, действительно может означать начало Самого Конца.)

(Некоторые из *наших* знают, какова в этом мире предшествующая декапитации негативная необратимость и черная под нею подпись и что собой представляет внедренное извне оперативное проклятие, наложенное на последние судьбы Франции самой смертью, в любом случае преждевременной, Шарля де Голля, иными словами, его физической нейтрализацией. Эта смерть, как мы полагаем, замысленная в мире невидимом и оттуда насланная,

была на самом деле вызвана медиумическим разрывом внутри самого невидимого мира естественных путей непосредственно возвращающейся жизни.)

47

Уже светает; розово-золотистый, пронизывающий молчание и юную свежесть сада свет возвещает близкий восход солнца.

Я возвращаюсь издалека. Надо открыть окна. Кругом ворохи неподвижной, сверкающей от росы листвы, витриолически обожженные таинственным, лучезарным предзимьем, когда самые высокие ветви все еще отказываются обнажиться. Но разве не в ноябре всегда происходили великие перемены в состоянии мира — этого и иного?

На этот раз я с самого начала знаю, как все будет. *Однажды, когда они были на винограднике, она взяла его за руку и повела к стене, туда, где вывалились камни и зияла брешь* («Графиня де Калиостро»).

Но куда же я мог засунуть рабочие заметки о смысле моего сновидения от 14 июля 1976 года? Никак не могу найти. Это было фундаментальное и абсолютно визионерское сновидение — сновидение того, что можно назвать *сокрытым лицом* де Голля. И вот оно пропало. Упало. Все это выводит меня из себя, усугубляя обычную тошнотную маету раннего утра.

(В таких случаях — вот и сейчас тоже — я задаюсь вопросом: не состоят ли наши вещи в заговоре против нас? Распространяется ли на них, на все эти предметы, населяющие ближнее, граничащее с внутренним, пространство нашей жизни, презумпция невинности?)

Почему некоторые вещи, как будто их и не было, ночами воровским манером уходят в тень отсутствия и безвозвратно покидают зону нашего внимания? Что, более того, *кто* стоит за всем этим непристойным передвижением, за этой роковой утечкой вещей? Не для того ли они исчезают, чтобы затянуть нас в зыбучие пески самого постыдного процесса утраты, соскальзывания в водовороты промежуточной пустоты, а быть может, и дальше, на губельно-регрессивные пути к неразличимости, к предначальным сумеркам всего постыдного, уже внутри самих нас? Оно, это *постыдное*, соединено с пустотой внутри пустоты, с бездной вот этой самой неразличимости всех вещей вообще.

Не есть ли наша с вещами вражда лучшее, я бы сказал, самое поучительное и твердое доказательство непреложного факта беспрерывного подземного вмешательства в наше существование? Прежде всего, когда вражда эта через переходящую все установленные, скрывающие истинные смыслы пределы ярость, через тайную лепрозную злобу выводит нас далеко из-под покрова в высшей степени обманчивых видимостей, чья *зыбь* непрерывно порождает так называемое видимое лицо и паводок непосредственной реальности, ее движущуюся и трепещущую оболочку. Полагаемое абсолютно неопределимым и, во всяком случае, никогда не опреде-

ленным вмешательство, безымянное вплоть до сущностно непредставимого не-сущего и в то же время заключающее в себе грязную установку на пропажу, бессилие и распад, это заранее задуманное и управляемое, но на самом деле мнимое параноидальное вмешательство, этот грязный пес клоаки неизменно, по всегдашнему темному начертанию погружает нас в самые постыдные глубины неразличимости, которая всегда в нас самих, под защитой глухой услужливости в отношении всего того, что можно назвать *нашими былыми ночами*, нашими самыми сокровенными желаниями распада и гибели, соскальзывания в смерть, неостановимо и ни на миг не прекращает навязывать нам добровольный отказ от себя, усыпляющее и самоубийственное самоотречение перед лицом разнообразных ловушек, составленных нам приоткрывшейся бездной и внезапно разрушаемых самым простым внутренним решением, выбором озаренной воли; так мы, усыпленные великим холодом и ночью, наперекор медленному уплыванию в сон, перед лицом наступающих нас субверсивных ухищрений *злой смерти*, сами настагаем ее — одним невероятным прыжком, как волки по льду, или, наоборот, исподволь, словно сквозь ломкие, подобные слоистому трубчатому стеклу, тростники.)

Можно ли даже предположить такое? Рабочая запись моего сновидения от 14 июля 1976 года, сновидения того, что я называю *сокрытым лицом* де Голля, всю ночь лежала здесь, передо мной, на столе. Что же это такое?

Как она пропала, в какой момент и куда? А главное, *почему?*

И при этом внутри меня — слепой, пенный и дикий, не дающий думать водоворот, имеющий и не имеющий прямого отношения к Лючии, к ее голому телу, вздыманию сосков, сладковатому вкусу ее крови, свету ее глаз, в котором я, как бы входя в недра собственной смерти, мало-помалу узнаю великую, сокрытую во мне тайну.

А между тем весь мой ночной труд над записями о тайном пути Шарля де Голля через историю — внезапно, в последнюю минуту, в последней инстанции, через простое исчезновение записей, а значит, отказ в окончательной подписи под всем остальным — был подвергнут *усекновению главы*, на заре, с первыми лучами солнца, *входящего в красное*, и это несмотря на то, что сами записи были сделаны красными чернилами, а быть может, как раз потому.

(Ибо все благовидное и, прежде всего, неблагоприятное, что можно решающим, полярным образом познать из моего труда о становлении Шарля де Голля, а стало быть, и голлизме, нынешнем и грядущем, голлизме после голлизма, как бы в геральдически сконцентрированном виде было явлено мне в медиумическом, ясновидческом сне два года назад, в ночь с 13 на 14 июля 1976 года, когда я получил герметический ключ связанного со всем этим познания и подземного трансцендентного действия.)

(Вот почему указания Сильвана Репробата, касающиеся мистерии исторического и трансисторического наследия голлизма, были тайно даны мне не как прямые откровения, но, скорее, как прояснение вещей, уже

известных мне не напрямую и не въяве, но зашифровано, сущностно и иррационально, как бы через образ, теперь уже явились в качестве ничем не искаженной истины, глубинно субверсивной и всегда крайне опасной до тех пор, пока существует голлизм, а точнее, все то, что тайно стоит за ним, поддерживая его как призыв к тотальной войне.)

(Увиденное во сне происходило на заре, в Кольмаре, среди затерянных в трагически замерзающей осенней грязи перелесках, а затем где-то возле Парижа, в Лувьсьене, без сомнения; а последняя часть была ослепительно мимолетным скольжением по садам усадьбы Виктория, в Эскуриале; в страшную грозу, среди тысяч кустов запоздало цветущих роз, сияющих глубинно-алым, но таких неожиданно свежих, касающихся краев вот-вот готового оборваться сновидения-сновидения, во свете уже иного неба.)

48

Белая, пустая усталость, похожая на наготу прерванного сна, на его самоудвоение, в котором второе сновидение все еще бодрствует как явление второго порядка в ужа-сающей, глеющей, неоспоримой полупрозрачности.

Нестерпимое желание выпить чашку обжигающего кофе, внизу, на кухне, охлаждаемое только страхом встретить там Лючию. Страхом, я сказал? Каким страхом? Да, страхом, и даже великим страхом, страхом страшнее страха. Этой ночью я слишком многое понял

о том, что происходит с вещами, чтобы впредь все могло идти как прежде, когда здесь, в Усадьбе Милосердия, нечто бессознательное безнаказанно пребывает между нами, и в то же время я понял слишком мало для того, чтобы контролировать ход событий.

На самом деле не любовь, а чистое желание раскачивает лодку, и я уже знаю, какое новое желание и с каким грохотом несется горным потоком по руслу моей жизни, обновленной в глубине, вздымается во мне сейчас.

(Так Бернадетта, уже вынесенная в роковой день потоком Акеро к указывающей *точное место* каменистой косе посредине реки за мгновение до явления ей великого света, уже должна была слышать среди яростного, пенистого воя воды иной пенистый вой — вой стаи Могуществ Ада, приходу которых помешать нет сил.)

49

Таким образом все выстраивается в единую пламенеющую структуру.

Откуда-то снизу я слышу первые такты увертюры к «Дону Жуану» — нет ничего более траурного, более погребального, чем великая музыка Моцарта в лучистые, ясные часы раннего утра.

Трудолюбивая Лючия, как я подозреваю, уже занимается домашними делами на своем месте.

Тем временем воздух обретает сгущенность белого стекла, подозрительную прозрачность карамели.

Белизну Антарктики, которую пронизывает крик птицы — *текели-ли, текели-ли*.

Ибо теперь я могу сказать, что Аполлон нанес мне удар.

Превратить ее мертвое, каменное сердце в живое, согретое горячей кровью сердце сияющей милости и означает обрести Последнее Прощение, сумев заставить любовно кровоточить разбитое сердце нашего Благородного Милосердия.

Тазобедренный сустав

Я занимаюсь исправлением имен. Когда я вступаю с неизвестным в схватку, оно становится известным.

Франсуа Миттеран

(Над агоническим склоном пробуждения — белая, как лед, зарница последнего сновидения, солнечного и безнадёжного, словно порез, словно мастерски нанесенная клинком рана, которую трудно разглядеть из-за крови, хлынувшей вдруг и растекшейся по всему прекрасному творению, по черноте смерти, а затем — внезапно — совершенно непредвидимое и, быть может, решающее *возобновление всего*.)

Я видел во сне, как иду по улице с небольшой книгой в руке — или это была только тень книги? — книгой, чьи страницы почернели и склеились от эктоплазматической влажности; улица Грёз, XVI столетие, в котором произошли ужасающие вещи, каких уже давно-давно не было [среди прочего — среди многого прочего — жертвоприношения Владычице Нашей Халдейской].

Так получилось, что я не стал останавливаться, но только замедлил шаг, открыв ее — не без предчувствия уже готовой вот-вот свершиться фатальности —

я говорю о книге, которую держал в руке. На титульном листе ее значились таинственным образом сохранившиеся слова, появляющиеся в «Аурелии», в самом конце, решающем конце: *Небо отверсто во всей славе, и там я смог прочитать слово «Прощение», написанное Христовой кровью.*

Улица Грёз переходит в улицу Декам — тут есть исповедальня; сероватая лестница с неровными цементными ступеньками, и данный мне с удивительной ясностью ответ; устами младенца, вечером 18 сентября; я узнал, что моя жизнь завершится так, как должно, ибо Небеса сделали свой выбор точно в то мгновение, когда все мне казалось потерянным — и уже было потеряно; полностью потеряно, без всякой надежды на прощение, без тени надежды, даже без сокрытого снисхождения.)

52

Я просыпаюсь и вижу, что уже больше двух пополудни.

Как все это случилось? Я даже не знаю, в какое мгновение соскользнул в пространство сна. Между тем сегодня, ранним утром, после бессонной ночи я решил одеться и спуститься на кухню — где, как я слышал, Лючия уже начала свой день музыкой Моцарта, как бы утверждая этим свое полное совершенство и сладости, но также, несомненно, и притворства, спокойствие, изображаемое — с какой прекрасной безотчетностью! на лезвии бритвы — ее приходом на кухню,

куда уже шел я, как сам себе говорил, выпить чашку горячего, черного и, конечно, очень крепкого кофе. Видимо, усталость моя была столь велика, что я действовал, не замечая остального мира, думаю, даже раздвоенно, пребывая внутри себя в ином, *втором*, состоянии.

Белое, уже зимнее, солнце воспламеняет все стекла предо мной, превращая их в зеркала. Дом словно переполнен тишиной не от мира сего, и я внезапно вижу, что на моем столе, в черном керамическом кувшине, стоят розы, а рядом — запечатанный конверт с моим именем.

И во мне внезапно пробуждается дикое, отвратительное и напряженное дыхание, словно предупреждая о близкой и безликой опасности, таинственным образом увенчанной розами. Широко открыв глаза, я пытаюсь определить, откуда, из каких глубин пространства пришло ко мне это слепое предупреждение, но чем более просыпаюсь, тем более это чувство ослабевает, утрачивается — постепенно и неотвратно.

Эти желтые розы, как бы несущие тонкое и томительное послание *оттуда*, где, говоря словами Жоржа Замфера, *все сокрыто*, какие они? С коротко подрезанными, как и полагается делать с дичками, стеблями, числом двадцать одна, свежие, словно отлитые из жидкого золота. Но двадцать одна ли? Действительно двадцать одна? Это меняет все. Да-да, внимание: именно в этом я вижу прямое указание на то, от чего должен беречься, как от самой смерти; угадываю сразу же по пробуж-

дени и именно чрез этот знак нежности, появление маленьких желтых роз, некое прямое субверсивное заманивание меня в ловушку, грозящую самым запретным и извращенным образом растворить, затмить, притушить разгорающийся во мне свет ослепительного дня встречи после разлуки. Что делать? Прежде всего, одним ударом уничтожить оккультное проклятие, всегда связанное для меня с числом двадцать один, быстро раскрыть окно и выбросить в сад три желтые розы, так чтобы их у меня осталось восемнадцать, тут же, не сходя с места, и вот их уже восемнадцать — неизменно счастливое для меня число глубоко и могущественно озаренной, даже озаренно-озаряющей, спасительной чистоты.

Что до запечатанного конверта с моим именем, то он, понятно, от Анн-Мари, хотя в глубине души я предпочел бы, чтобы он был от Лючии: так все бы развивалось быстрее и быстрее.

Но у меня совсем нет времени придавать значение всему этому — ни письму, ни этим лживым желтым розам с их плохо скрываемой нумерологией: дом заливает. Краны открыты, струи воды бьют со страшной силой, ванна уже переполнена водой. Словно еще один странный, волшебный знак тревоги, разрыва уровней бытия, смерти. Весь этаж тем временем вибрирует, словно обшивка подводной лодки на краю гибели, когда она тонет, подавая сигналы о помощи.

Признаюсь, все это, подобно томительному и бессмысленному страху, в котором нетрудно распознать не-

удачное, порочное, без сомнения, уже необратимо порочное сокрытие пребывающего во мне внутреннего возбуждения, ввергающего меня в положение критическое и даже, следовательно, драматическое — драматическое в квадрате. Однако вино открыто, и надо его пить, это прекрасное *vinho verde*¹, известное как *Las Tres Marías*. Удивительно, крайне удивительно, но как же все связано — явно и очевидно! Неужели, действительно, *Три Марии*?

Ванна, откуда извергаются сияющие водопады, как я понял, принадлежит самой Анн-Мари, и мне явно не хватило бы духу хоть как-то остановить, перекрыть воду, скорее, наоборот.

Анн-Мари, в конце концов, она все-таки вернется? Ее слова в любом случае это подтверждают. Как и розы.

Больше я не могу себя сдерживать. Не надевая трусов, натягиваю на голое тело джинсы и пуловер, надеваю ботинки на босу ногу и направляюсь на террасу. Окно ванной Анн-Мари — я хорошо это знаю — четвертое слева от моей открывающейся туда застекленной двери.

Все бело от солнца, слепого и опасно пьянящего. Покусывает холод, и столкновение с законным пространством неприятно. Внезапно ко мне возвращается самообладание. Настает пронзительная тишина — я понимаю, что вода больше не течет.

¹ Молодое вино (*порт.*).

Заглядываю через стеклянную дверь в ванную, где занавески задернуты, скорее, скажем, символически. Кто там? Анн-Мари? Нет. Чудесным образом в ванне оказывается стоящая спиной ко мне Лючия, приподнятые руками волосы открывают ее шею. Мгновение спустя она поворачивается ко мне лицом, ложится в ванне, улыбаясь, прикрыв веки, словно вот-вот уснет. Стараюсь, чтобы она не заметила, что за ней тайно следят. Во мне, в моей груди — какой-то безмолвный крик, от которого сворачивается кровь, и одна за другой — от грудины до головы — во мне восходят волны до самых глаз, и я слепну.

Тем временем она обильно, словно дородная крестьянка, медленно раздвигая ноги, намыливается, как будто умышленно доводя меня до безумия, распятия, разорванного в клочья блаженства, колесования, смерти.

Сквозь закрытые стекла слышу ее тихое воркование, не произнесенные ее слова, ритуально сопровождающие путь ее самообновляющего самопосвящения, созерцаю пламенные и обжигающие метастазы галактического и космологического пресуществления ее плоти, нагой, голой, голой, голой, более чем голой, кажущейся мне сейчас раскаленной добела, словно сокрытое или как бы сокрытое непрерывными радужными цветопереходами сердце солнца, чья девственно живая мистерия в тот чудесный год в Фатиме озаряла небо с кружащимся солнцем. На самом деле именно они — эти фатимские цвета — обжигали

меня, разрывали глаза, зрачки и сокрытое в них тайное внутреннее небо.

А еще я бы сказал, хотя и помедля, помолчав, что вода в ванне сама обретала отливающий золотом царский, порфириносный свет, пурпурно-красный и в то же время синий. (Лючия *кровоточила*, но ни о чем *таком* я не мог бы подумать, я был просто неспособен думать, уже вознесенный на орбиту совершенно иного, недоступного и запретного для всякой мысли сознания, на орбиту слов и семиологического шепота их ментальных вспышек, тошнотворных спазмов всего того, что обретает свой смысл только чрез удвоение сущностей.)

Ибо она, Лючия, вообще *не наша*, не отсюда, она свыше. Она пришла сюда, как все, по естеству, но в то же время — и поверх естества, неведомыми тайными ходами, с целью, быть может, вообще *здесь* не дешифруемой. Чужая, чуждая и более чуждая, космологически, евхаристически чуждая этому отчужденному миру, где я должен был, как это, без сомнения, и было предусмотрено, с ней встретиться. Но разве сам я не чужд этому миру, разве сам этот мир — мой? Разве и самому себе он не чужд, не погребен неотвратимым образом под отчужденным всемогуществом его собственной, но чуждой ему тьмы? Не есть ли отныне этот мир тьмы нечто совсем иное, чем мир тьмы, сокрытой в самой тьме, и во тьме мы сами не чужие ли самим себе, тому в нас, что прежде и превыше тьмы? И разве опустошительная нагота Лючии не есть, следовательно, раскрывающаяся тайна самого древнего света, света *возвращения домой*?

Между тем мне следовало вести арьергардные бои. В игру были прямо призваны и вступили сверхмогущественные, сверхчеловеческие, дочеловеческие древние силы. Нечеловеческие и, без сомнения, противочеловеческие.

Я сам всегда стремился этим силам служить, служить вне- и надчеловеческому, тому, что превышает и против всего человеческого, но вот хотят ли они этого от меня? Прежде, по крайней мере, не хотели и отбрасывали.

53

Признаюсь, я потратил определенное время, чтобы кое-что понять, но как видно, этого времени было мало. Но вот наконец я начинаю понимать все. И даже попытаюсь все сказать — или почти все.

Начинаю понимать, чего от меня хотят и что мне дано в обмен на участие в деле — главном деле. Следовательно, все эти годы я ждал не напрасно.

54

Возвращаюсь к себе; глаза все еще полны этим иным, чуждым светом; я, кажется, дрожу словно лист, но не от страха, нет, совсем не от страха, это что-то совсем иное; принимаю ледяной душ, бреюсь, одеваюсь на четвертой

скорости, чтобы спуститься на кухню чуть раньше, чем туда вернется Лючия; на лестнице вспоминаю, что даже не вскрыл конверта от Анн-Мари. Все сразу, я все сделаю сразу.

Кухня еще пуста, но между тем кофе уже поджидает меня на электроплитке.

И вот, когда я уже почти покончил со второй чашкой, появляется Лючия, спокойная, возможно с некоей металлической улыбкой в глазах. В темно-зеленом, я бы сказал, цвета дубовой листвы, свитере — раньше я на ней этого свитера не видел — и сапожках из мягкой кожи. В руках у нее — красивая трехкилограммовая щука, вся в зеленых и золотистых отблесках.

— Доброе утро, месье. Анн-Мари велела мне приготовить этого крокодила к четырем часам, обед сегодня будет довольно поздно. Это Щучий Король; когда его вытаскивали из воды, у него на голове была золотистая, словно хрустальная, корона. Да, вот еще — вы видели на столе сегодня утром записку от Анн-Мари?

— Да, конечно, благодарю вас. Но, по правде сказать, я ее еще не прочитал. Не знаю почему, но я не успел. Просто не успел. Странная история, не правда ли? Но так уж вышло, что по пробуждении со мной произошло много странного, необычайно волнующего.

— Не понимаю. О чем вы? Что такого *волнующего*?

— Если говорить правду, то я смотрел на вас, когда вы лежали в ванне, смотрел с террасы. Не просто смотрел, а созерцал вас, созерцал обнаженную, и я бы решился сказать, более чем обнаженную: я видел вашу последнюю наготу — сверхчеловеческую и космологическую. Вы сияли, как солнце. Отбеливая грубую материю, превращая ее в золото.

— О! Неужели как солнце? Это все пустое. Я тоже вас видела обнаженным, когда поднималась этим утром передать вам записку от Анн-Мари. Вы спали, как я только что вам сказала, совсем голым — да, и вы тоже, совсем голым на ваших мятых простынях.

— Но почему вы не попытались улечься на мои простыни, устроиться рядом, тоже голая? Немедля, мило-сердно и сострадательно?

— Возможно, потому, что, как мне казалось, вы были не совсем один. Был еще кто-то, какая-то тень, я так вам скажу, *огненная и хрупкая*. Как будто вы мне сами это сказали, разве не так? Вот видите, как я за вами здесь присматриваю. Впрочем, я сама ее узнала — ведь это я же сама и была, ну, скажем, не я, а мой двойник. Или я ошиблась? Скажите мне, наконец! Чего здесь только не происходит, и все покрыто тьмой, и вы это хорошо знаете. О, *эта тьма!*

— Тогда на что вы жалуетесь, Дева-Жребий? Эта тьма, *о которой вы сами знаете*, это ведь наш единственный шанс в этом мире.

— Если я на что и жалуясь, так только на то, что вы до сих пор не прочитали записку от Анн-Мари. Да-да.

Говоря все это, она положила щуку на большой белый кухонный деревянный стол и приготовилась ее потрошить. Затем за чем-то полезла в соседний шкафчик. Так получилось, что я потихоньку приблизился к ней и попытался сзади заключить ее в объятия.

Внезапно, глянув на отражение в дверном стекле, я обнаружил — сам не знаю как, поскольку совсем не желал этого делать, — что мои руки приближаются к ее бедрам. Очень удивившись, она резко остановилась, застыла на месте, ее тазобедренные суставы оказались у меня в плену, словно сжались, и бедра ее захлопнулись — но с такой сладостью, какую я пережил когда-то очень давно, во сне, и потом совсем забыл. Воспоминание об этом старом сне вдруг явилось ко мне вместе с глубинным рыданием боли без имени и лица, подобно молнии, оно разрывало до непереносимого пароксизма.

Мы оба застыли, не шевелясь, затаив дыхание, и стояли так — две или три минуты, возможно. Или вообще не знаю сколько на самом деле.

Наконец она, не оборачиваясь, сдавленным, низким голосом, шепотом, но пламенно и твердо и в то же время изнемогая в каком-то райском сладострастии, сказала:

— Нет, оставьте меня, прошу вас! Если вы действительно хотите доставить мне удовольствие, подними-

тесь к себе и не спускайтесь до возвращения Анн-Мари. И еще — прочитайте послание, сделайте над собой усилие. Займитесь своими делами. Вы ведь меня понимаете, разве нет? Вы ведь *всё* понимаете.

— Почему? Откуда эта тоска, я спрашиваю, эта агония, почему все так, Лючия?

— Вы сами поймете позже. Позже вы всё увидите и поймете. А теперь идите, прошу вас как о милости. Я прошу вас, Жан. Прошу вас и заранее благодарна за это.

— Лючия! Лючия, нет!

Мы отделяемся друг от друга, но она все же не могла не обернуться в мою сторону, отныне уже вечная пленница этой открытой в никуда двери, над которой, однако, висела маленькая картинка в золоченой рамке: она изображала встречу стоящего на коленях, в кроваво-красном плаще, святого Губерта с оленем, увенчанным ветвистыми королевскими рогами, между которыми сиял Святой Крест.

Во мне — великая пустота. Лежа на спине в постели, смотрю в потолок и вижу лишь черный прямоугольник, экстатически отверстый в пустоту неподвижного и ледяного небытия, словно черное солнце Каабы, ко-

торое созерцаешь повешенным вверх ногами, как на одной из карт Таро.

Вспоминаю отрывок из Послания святого апостола Павла к Эфессянам, повторяющийся во мне множество раз и вопреки мне самому, гипнотически: *Тому, кто действующего в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь* (3:20–21). Мной овладевает ужасающее чувство, будто рот мой наполняется кровью, а сам я леденею, подобно труп.

Чуть позже встаю, чтобы одним махом напечатать на машинке Magnificat, основываясь на котором много лет назад я собирался написать нечто, визионерски и словно брачным образом названное мной тогда Imperium¹. Образ, омытый слезами, смертельно раненный радостью, ибо слова его со всею ясностью объявляли о конце мира, о конце этого мира, так или иначе.

(Однако Корона и Царство, которые я должен был вручить той, кому я должен был их вручить, не были узнаны и даже умышленно, своевольно отвергнуты, и снова входы в страшные ночи былых возобновлений закрылись над нами и над тайным миром нашей безжалостной беды, нашего стыда и нашего самого что ни на есть бездонного и черного космогонического бессилия, *непристойного* на самом деле.)

¹ Империя (*лат.*).

(Magnificat)

*люблю тебя от века,
мою еще прежде начала
мира*

*от начала мира ты идешь
мне навстречу, сегодня ты со мной
и все свершено*

*я обрел тайную корону Гогенштауфенов,
я Владыка Времен Конца*

*я несу тебе эту Корону и Царство, люби меня,
как люблю тебя я, и вот я вручаю тебе Корону*

56

(Распечатываю конверт, читаю письмо Анн-Мари, наблюдая при этом себя как бы со стороны, будто это делает кто-то другой, некий пленник глубинного слова, сказанного во сне, но не в темном сне, не в полном забвения, а среди какой-то размытой светотени, во сне зовущего — я бы сказал, вызывающего — меня в час раннего утреннего марева во Фьюмичино, в сентябре и даже уже в октябре, когда кругом — нагромождения водорослей, сожженных живых огнем этих молочных сумерек, марева, зовущего внезапно узнать и опознать эти Великие Места, вылизанные имперской морской волной моего высшего возвращения в запретные, мертвые области моей иной жизни во имя нашего отречения от самих себя.)

194

(Письмо, следовательно, написано только потому, что оно — прямо ли, косвенно, не знаю — окончательно решит мою судьбу. Если бы только Анн-Мари знала, какова в эти часы тайная тяжесть всех, не важно каких, приходящих ко мне из внешнего, кромешного, непознаваемого и сияющего мира непознаваемых существ — в бредущем полете — слов.)

(Анн-Мари:

Видя, как глубоко, мирно Вы спите, погруженный в собственные бездны, я не решила Вас разбудить. Я только прошу Вас набраться терпения и обождать до четырех вечера, когда мы вместе будем обедать (кроме всего прочего, это ведь час, когда мы прежде вместе обедали у Липпа *тем летом*). Мне надо срочно посетить моего нотариуса, в Удане, это совершенно необходимо. И еще нужно некоторое время для того, чтобы просмотреть текущие досье. Такие вещи, как Вы знаете, всегда делаются в последний момент.

Пишу Вам внизу, на кухне, стоя. Какое ослепительное солнце предзимья! *Имперское солнце*, как Вы бы сказали. Я попрошу Лючию положить этот конверт к Вам, когда уеду, и постараться Вас не будить.

Что до всего остального — чистая безвкусица. Парижские новости для Вас прекрасны. На самом деле Вам больше нечего опасаться, все уже снова приведено в порядок; Вы можете, повторяю, не опасаться, ехать в Париж и всё начинать сначала, и мы вновь не будем с Вами встречаться — разве что в нашем печальном прошлом. Но я очень крепко обнимаю Вас.

А.-М.)

Итак, Анн-Мари возвращается, и мы сразу же сядем с ней обедать. Сразу же — значит не раньше чем через час, возможно. Еще немного одиночества, но уже взвихренного взвихренным взвихрением всего. Начать сначала, я должен все *начать сначала*.

Кража

Сказанное Анн-Мари предельно прозрачно. Если все в Париже складывается для меня так, как она мне умно, с чудесной деликатностью и прозрачностью, объяснила, если озера моей смерти высыхают, то все происходящее само по себе изменит также и ситуацию здесь, в Усадьбе Милосердия. Я бы сказал, теперь уже все обязательно изменится, ничего уже не будет как прежде.

Все стало предельно ясно, и ко мне возвращается лихорадочная активность, на самом деле мне самому отвратительная, смрадная, прежде всего необходимостью подъяремной работы на самом грязном и одновременно захватывающем уровне фатальности на марше: если больше у меня нет причин укрываться в Версале, у Анн-Мари, то мне придется смириться с возвращением в Париж, немедленно оставить все — а иначе *все оставит меня* и к тому тайному служению, к каковому я считаю себя призванным, мне уже не вернуться.

Прежде всего, прямо здесь, пока Анн-Мари не вернулась из Удана, надо срочно перехватить — для себя и, в первую очередь, для людей из нашего стана, *для моей группы* — находящиеся здесь конфиденциальные записи под названием «Досье „Танго для Кали“».

Как это сделать? Совершенно очевидно, что Анн-Мари вот-вот вернется из Удана и у меня нет ни времени, ни возможности, ни уверенности в том, что я способен сделать копии с бумаг, даже если найду в городе место, где можно их перефотографировать. Значит, не остается ничего, кроме как просто взять, скрыть и со сладостным чувством тащить досье в Париж, а дальше будь что будет! Зачем Анн-Мари оставила меня в Усадьбе Милосердия одного да еще отправилась в Удан? Что это — отсрочка, прямая провокация? Хотелось бы знать. Но разве все неожиданное не есть активная провокация самой судьбы, по крайней мере? Итак, именно сейчас мне предоставляется — кем? — возможность заглазить прежнее немислимое легкомыслие в отношении бумаг, столь очевидно проявленное мной здесь, в Усадьбе Милосердия, во все эти дни одиночества и постыдного безделья; впрочем, они ведь были и днями внутренней смерти, так и не завершённой инициатической путрефикации, дни, ритуально отданные самой пустоте. Раз десять я мог спокойно перекопировать всё досье целиком, так почему этого не сделал, что за помрачение нашло на меня? И вот теперь, когда вина моя признана и осознана мной самим, надо, как говорят в среде крупной буржуазии Версаля и его окрестностей, *исправлять положение*.

Разумеется, сделать решающую ставку мне мешало, и, наверное, грубально мешало, пусть небольшое, но все же колебание, нравственного или просто сентиментального (этического, я бы сказал) порядка. Надо было все сделать сразу же, любой ценой, совершенно не принимая во внимание наших прежних отношений с Анн-Мари, даже нашего былого и тайного *сообщничества*.

Какой бы непростительной ни оказалась в ее глазах кража документов, я-то всегда сквозь засыпанное песками бессознательного сознание знал, что когда-нибудь мне придется *пройти сквозь* Анн-Мари, перешагнуть через нее, бывшую на самом деле совершенно ночной, если так можно сказать, непознаваемой, в чем-то постыдной фигурой. Почему так? Если она на самом деле знала о содержании хранившихся в Усадьбе Милосердия документов, с их поистине трагическим предназначением, и, скрывая бумаги по каким-то неясным, двусмысленным и лживым причинам, ничего мне не объяснила, и сомневаюсь, что когда-либо объяснила бы, то такая темная ошибка — ошибка ли? — с ее стороны все равно не освобождала меня от расплаты, причем платить пришлось бы самым драматическим образом; впрочем, возможно, это будет уже совсем иная история. Ибо заговоры в Усадьбе Милосердия, свидетелем изощренности которых, тщательно избранным, но тем более посторонним, мне довелось оказаться, еще должны будут в последние времена отозваться на уровне, где Мировая История в ее тайных, запретных глубинах или свершится, или потерпит крах; речь идет о глубинах, океанически оберегаемых самой тайной апокалиптического часа, тайной *свершения всего во едином часе*.

(Так скажем без промедления, *hic sunt leones*¹: среди множества непроходимых сетей, переполняющих семиологическую начинку этого текста на всем его протяжении, переполненном тенями, читателя обязательно настигнет пустота. Ибо сам этот текст по природе своей непроницаем и непроясняем. Непроницаем и неподвижен в сумеречной полутьме, в собственном царстве невнятности, исполнен иносказательных и словно шепотом произнесенных недомолвок, ибо призван служить субверсивным кровом для тайного пребывания *иного текста*. Какого *иного текста*? Вот он: «Дрейф материков, плод — каких? — космических страстей — каких? — действенных любодейных притяжений между магнетическими коронами Солнца, и эта резкая остановка дыхания неба, отмеченная точкой непрерывного сияния Указующей Звезды, дрейф материков, повторяю, и движение оледенений, и невыразимое биение тысяч сердец диких голубей, тайно оберегающих огонь жизненной материи мира, огонь, уже вынесший свой приговор роду человеческому, — все это любовно связано и продолжается, даже если я, лишенный всякой уверенности в бытии, остаюсь как бы окаменевшим, в полдень, пред сплошь заросшей плющом высокой стеной; все утро шел снег, словно в древнем счастливом германском сне, в объятиях ожидания, а сейчас вошло солнце и привело все в порядок — во имя иного, высшего и чистейшего света;

¹ Здесь живут львы (*лат.*). Так в древности обозначали на картах неведомые места.

и в металлическом воздухе, вдали, внезапно — фиолетовое и пурпурное пламя петушиного крика, счастливого и предивно премудрого — я бы так сказал. В любом случае именно сейчас все будет решено — за несколько часов или дней. Но самым замечательным, самым странным из всего было следующее: дойдя в конце концов до края моего странствия, стоя словно на линии перехода от бытия к небытию, когда эту линию, преодолев онтологические запреты, уже следовало перейти, я вдруг оказался охвачен воцарившимся во мне ослеплением, безвозвратно мешавшим видеть впереди себя, именно во мне самом, природу этого перехода, бывшую для меня необходимостью преодолеть ужасающие запреты, стерегущие все то, что Рене Гёнон еще в юности называл «границей иного мира». Ничего, значит, я не вижу, абсолютно ничего. Мне, зрящему, на что мое зрение? Я сам есть конец этого мира, его абсолютная перемена, его *metanoia*¹ и возвращение в ядро изначального огня; я сам в себе самом есть возвращение мистерии апокатастасиса², и апокатастасис всякой живой мистерии, которая должна возвратиться и уже возвратилась: после меня более не будет ничего, будет ничто, ничтожное ничто. Каким образом я понял это? Обретя уверенность в том, что этот мир стоит у своего конца — все должно погрузиться в небытие, и это погружение, скорее всего, будет безвозвратным, — я решил воспрепятствовать тому, чтобы это произошло *так, как происходит*. И я

¹ Изменение, перемена, переворачивание (*греч.*). В церковном употреблении — покаяние.

² *Апокатастасис* (*греч.* *apokatastasis*) — всеобщее возвращение. Термин Оригена и Григория Нисского.

решил, что призван остановить колесо судьбы, положить конец онтологическому упадку мира; а для этого следует во мне самом и в моей экзистенции отказать самому себе в праве на самоуничтожение, в самом себе воздвигнуть непроходимую преграду разоружению. Со мной и чрез меня все или спасется, или погибнет. Итак, здесь я понял: в точке, куда все пришло, этот мир более спасен быть не может; напротив, ему необходимо погибнуть.

Я получаю новый приказ: этот мир предназначен не для здоровья, но для болезни, не для спасения, но для разрушения. Разрушенный тьмой, он будет возобновлен *иным светом*, и именно я есть и это разрушение, и это возобновление, и эта тьма, и этот свет, и это *иное солнце*.

Я понял: мне следует одолеть последнее могущество этого мира, основания которого покоятся, как это известно среди *наших*, на самом факте мистерии смерти. Следовательно, моим последним долгом, последним боевым заданием является победа над смертью. Я сам должен возобладать над смертью, и это следует сделать евхаристическим образом, в душе и во плоти или, если угодно, в живой крови и живой плоти, которые, будучи чрез меня приведены к смерти, будут отданы смерти в жертву, любовно разрушены и введены в смертные владения с тем, чтобы потом, также чрез меня и мною, они же были силой оттуда извлечены и в нетронutom, целостном виде, *теми же самими*, вознесены из самых черных философских обителей смерти на озаренные солнцем берега вновь обретенной жизни.

На самом деле я сделал это. Я сделал это в полном соответствии с тайными ординациями и более тайными, чем само самое тайное, правилами Братства Запретного Спасения: молодая женщина благородного и великого происхождения была живой приведена в мир смерти, с тем чтобы чрез мою огненную работу она вышла оттуда, как и вошла — это последнее произойдет в предусмотренный для этого день; она будет жива, как прежде, *жива, как была жива изначально*. И вот сейчас уже пришли эти дни — времена ее возвращения, времена ее всплытия из-под медных глыб самой великой смерти, времена ее космологического пробуждения к самой великой жизни.

Это возвращение — как оно должно произойти? Я крайне опасным образом приближаюсь к тайной обители уже свершенной тайны, поражающей более молнии и обращающей в прах все, что об этом даже можно подумать перед лицом обнажения этого огня, ясного и более смертельного, чем сама смерть. Но я знаю, что обратного хода нет, и я должен сказать даже об этом, и немедленно: это так, ибо я проникаю сейчас в ледяную пустоту высочайшего повиновения. Необходимо, чтобы эта столь царским образом принесенная в жертву юная женщина в день возвращения, рожденный онтологической реверберацией в сверхглубинах бытия, вернулась душой, я скажу это так, во плоти другой юной женщины, которая была бы тайно, очень тайно, все еще ею самой; ибо всякое существо высокого онтологического предназначения с самого начала удвоено, а на самом деле учетверено в самом себе, удвоено самими временами года собственной жизни; существуют древес-

ные разветвления, тайные линии этого существа как такового на самом низшем, глубинном его уровне, разветвления потоков крови, передающихся только в самых запечатанных подземельях истории. Но эта *иная* юная женщина, призванная на служение Самой Госпоже Конца и охваченная амнезией, забвением собственной предыдущей, тайной и погребенной идентичности, сама не ведает о реальном присутствии в своей нынешней жизни той, *первой*, которая тем не менее является жизнью ее жизни, единственной в ней самой частицей ее собственной вечности; вся битва, вся великая битва конца направлена только на теургическое управление этой *ситуацией*. Только в этом пребывают тайные могущества, только в этом состоит запретная наука *ars regia*¹, столь трагически влекущая нас вперед: необходимо, чтобы забвение царским образом использованной, *потребленной*, то есть уничтоженной юной женщины было побеждено в себе самом, в ее живой душе и живой плоти, я бы сказал, в самом ее существе и бытии живым тайным светом еще более живой бесконечной жизни, я бы еще сказал, невыносимым живым светом воспоминания, анамнеза, древнего *anamnesis* орфиков. Но ни один смертный не может обрести *anamnesis* сам, своими собственными силами, без Поддержки Единовластной Госпожи, нашей Единой Госпожи Конца, абсолютной правительницы жизни и смерти жизни, несущей смерть и смерть смерти, правительницы господствующей над более чем полным забвением немислимой высоты ее собственной неподвижности, ледяной и занесенной, и бездонного припоминания в тайном пла-

¹ Царское (королевское) искусство (*лат.*). Это название было дано алхимии.

менном восхождении ее одной, Императрицы Адской Топи, болота, но также и Императрицы Неба, ее, Марии. Отсюда проистекает мое придворное, как царице, и беспрекословное служение Госпоже Нашей Фатимской, ибо именно *в своем зеленом* явилась Мария, когда я вопрошал Ее и просил открыть мне обо мне, просил дозволения на Поддержку Оттуда.

Мое дело в целом сделано, и начинается только Ее: *когда она, Мария, соблаговолит*. Последнее, огненное ожидание, столь высокое, что только оно уже определило пришествие этого часа. *Времена совершились, бездна отворена*, — говорила Мелани, маленькая ясновидящая из Ла-Салетт.

Но я задаю себе вопрос: чего Она все еще ждет? Ибо уже поздно, слишком поздно, и я уже у смертных врат, опознаю *вторую* как *первую* и готов вознести ее живой, но она, вторая, ослеплена любовно господствующим в ней светом *anamnesis*, пронизывающим ее, словно живая рана, раскаленная и очень узкая лощина последней космологической молнии. Так что же, значит, это воля Самой Марии, столь чистая, столь страшная, столь прекрасно воспламененная воля Марии отняла чрез опустошение, страх и стыд в сверхглубинах живого и пульсирующего бытия волю *второй*, приведя к небытию тайну ее прежнего уничтожения? Если Мария желает, если Мария делает, что помешает Ей? Как можно мешать, как можно препятствовать Марии? Разве могут быть препятствия Самому Бытию, не прекращающему свое бытие последней вершины вечной Беспрепятственности?

Остается каменеть, пребывая в неподвижности и опустошении пред лицом этой покрытой плющом стены, пред этой невыносимой тайной, в опустошении от всякой мысли, в опустошении от всякой живой памяти во мне самом; отныне я сам тьма во тьме вечного ожидания, неподвижен и опустошен в ясной и чистой тьме этого солнечного зимнего полудня.

Но почему тогда все эти слова, а не молитвы? Отвечу: все молитвы в этом состоянии бытия уже исчерпали себя. И все слезы. Остается только попытаться что-то сделать, но что? Но именно *делать* — более никакого ожидания: оно само уже невыносимо изнурительно, словно высохший колодец посреди безводной пустыни. Итак, необходима *работа* — и определение того, *в чем она состоит*.

Вот ужасающая, опасная и тревожная — даже при припоминании — запись из секретного архива Братства Запретного Спасения, хранящегося более или менее тайно в довольно необычном месте, под милосердным покровительством одной очень уважаемой организации, в Версале; доступом к этому архиву я обязан исключительно тем, что некогда открыто поддерживал тесные отношения с Анн-Мари де Л. Кодовое название этого архивного собрания — *Pardes Rimonim* («Гранатовый сад»). Так назывался фундаментальный труд великого гностика Моисея бен Якова из Кордовы (1522–1570), труд, пронизанный негасимым звездным светом древней иудейской каббалы. И как тут не вспомнить о таинственно брачных отношениях, которые связали Моисея бен Якова из Кордовы в Сафедде — чрез ту, которую он

сам называл двойником Шести Сестер или *Кратной Матронит*, — с Шломо Алькабесом, более известным как Генрих Серуйя, его шурином и посвятителем на путях киновари, автором Lekha Dodi, гимна Невесте Субботы, который благочестиво исполняют — не имея, несомненно, ни малейшего понятия о его глубинных смыслах — каждую пятницу вечером во всех синагогах мира?

Надо ли возвращаться к этому, надо ли *повторять*? Операция, которую я совершил, нарушив покров над Pardes Rimoni, по сути, тоже *стырив* этот документ, не оправдана ли тем, что мой роман также есть образ тенистого и тихого подлеска, покрова, убежища, более тайного, чем то, где хранится, столь субверсивно доверенный ненадежной и неверной охране, этот документ, сам по себе уже предательский по существу?

Более того, я не мог не нанести *второй удар*, добавив к тексту из фонда Pardes Rimoni, цитируемому ниже, также и второй, дополняющий и углубляющий смысл первого: это повествование — анонимное в моем изложении, но не в самих версальских документах — о посещении одной принесенной в жертву великой затворницы, великой уже при жизни и бесконечно более возвеличенной по смерти, когда она стала одной из Тайных Хранительниц таинственного и страшного Братства Запретного Спасения, чья деятельность и чьи *практики* столь испугали Апостольский Престол, когда его о них уведомили (епископы тем не менее воздержались от какого-либо вмешательства в них и даже слишком близкого с ними знакомства).

Привожу ниже мошеннически скопированный мной отрывок из второго духовного документа версальского досье Pardes Rimonim, повествующего, а точнее, содержащего отчет о глубочайшем смысле посещения одной из Тайных Хранительниц Братства Запретного Спасения.

Отчет из досье Pardes Rimonim

Я был доставлен сюда рано утром 24 января 1979 года в сопровождении монсеньора Руперция. Никогда не думал, что во Франции может идти такой снег. В отливающем синевой утреннем воздухе я опознал древний свет, сохранившийся в моей памяти со времен, когда я видел снегопад в Хельсинки, Варшаве, Сату-Маре и — во время последней войны — среди мистической тишины березовых лесов Карелии. Когда мы уже подъезжали, монсеньор Руперций сказал мне уверенным, но каким-то отстраненным голосом: «Увидите, все это будет совсем не просто. Делая вид, что не хочет выходить за пределы обыденного, вводя вас в заблуждение тем, что избегает всяких ловушек ясновидения и пророчества, как говорит, она в конце концов откроет вам все, все, вплоть до самого невыносимого, самого головокружительного. Возможно, не прямо, не все сразу, но потом вам надо будет это обдумать; быть может, вы что-то поймете сразу, а что-то потом, не вдруг, и даже, может быть, поймете все. Она источает чудо, она сама чудо, больше чем чудо: то, что исходит от нее или через нее, всегда будет по естеству чудесно, непосредственно провиденциально, все как бы покрыто прозрачной, но крепкой вуалью, самим покровом *Божьей тайны*. Я часто вспоминаю то, что говорил о ней покойный кардинал Даниелу, который был од-

ним из наших друзей: „Самая удивительная вещь в наше время это не Шарль де Голль, не Иоанн XXIII, но она, ()“. Возможно, я не совсем согласен с мнением кардинала Даниелу о (). Я один из тех немногих, кто знает о ней только то, что необходимо на данный момент. Кто может знать пути Божественного Промысла? Возможно, в будущие годы наш взгляд на () еще изменится, а она сама или раскалится добела, или, наоборот, потухнет под непроницаемыми запретами ее собственной королевской и в то же время бесконечно страшной тайны».

Деревня (), подобно древней спиральной насыпи римской крепости как бы собравшаяся в себя, казалась этим утром совсем покинутой, таинственно скользящей в прошлое, в темную трещину своего далекого былого, быть может. Ничего более не зная об этом — какую невидимую границу следует пересечь, чтобы попасть на ее территорию? — я ощущал это замкнутое в самом себе, умиротворенное пространство, субверсивно подчиненное двойному естеству, как *переполненное иным*. Алел Восток.

Люди ждали, стоя двойной цепью на утопанном снегу между сугробами почти в человеческий рост. Но мы прошли без очереди прямо во двор дома (поблажка или привилегия, связанная с высоким положением монсьеора Руперция среди самых влиятельных семейств Братства, его самых «добрых домов»). Нужный нам дом был красив и массивен, довольно низок, хорошо выбелен, светел; входное крыльцо из четырех необычно крутых ступеней вело к деревянной, наполовину застекленной двери; я поднялся и, как мне советовали, вошел без стука. О чем еще меня предупреждали? О том, что там, в главной комнате,

где и находится (), постоянно должен царить тревожный, с трудом выносимый мрак — дань особой мистике заточения и пытки. Каково же было мое удивление, когда, войдя к несчастной, предназначенной в кровавую жертву Безжалостной Любви, я оказался в просторной и тихой комнате, полной света, как бы совершенно белой; повсюду разливалась какая-то особая, случающаяся иногда погожими зимними утрами ясность, причем умиротворенная и как бы ровная в себе самой, как бы продолженная заснеженными далями, такими бесконечными, что в них теряется взгляд, видными сквозь два окна. Узкая, но достаточно высокая, под белыми покрывалами, постель стояла в левом углу, и там была она — словно больная, ангельская, серафическая, керубическая; со смеженными веками, словно спящая или вроде того, словно погруженная в последнюю степень каталепсии — полная безысходность. Но я знал, что это бдение, что она тайно, по ту сторону себя самой, погружена в молитву о благом и счастливом исходе нашей встречи, нашей *встречи после разлуки*, я бы сказал. Чаша была переполнена до краев, через край.

Безысходный плач каждого замученного в этом мире младенца.

И тогда внезапно, врасплох, вспышка за вспышкой, меня, словно жертву, охватили спазматические, дикие, доходящие до разрыва самого бытия во мне, рыдания и страх, что сердце у меня в груди вот-вот разорвется, что вот здесь и сейчас, в это мгновение, я, не успевший даже раздать все долги этому омерзительно темному миру, должен умереть. Каким-то нечеловеческим усилием я направился к ней, неподвижной, ледяной и сияющей, словно звезда Бетельгейзе в созвездии Ориона в ночи, протянул к ней руки. Во мне,

в глубине меня раздался голос, которого я не знал сам, голос, задушенный, засыпанный песком и черным пеплом: *помилуй, помилуй, помилуй, помилуй!* Это сам я — или кто-то во мне, но кто? — молил, через (), двойную — здесь и там — о прощении и о милосердном даровании мне окончательного помилования и освобождения. И этот голос прорвался из самых пытаемых, самых униженных глубин моего бытия: *прости меня, прости меня, о, прости меня!*

Она сказала, что сначала надо определить мое имя, истинное имя () *in saecula saeculorum*¹, мое единственно истинное имя «в лоне Авраамовом» и в еще более глубинных недрах. Она также признала мое предназначение () Времен Конца, она вернула мне уже утраченную уверенность в моем совершенно тайном и в то же время деятельном предназначении («избранник, предуготовленный, искупитель»).

() (« »)

(« »)

Я постепенно слабел, а голос ее становился все слаще. И еще () сказала мне так: «Вы именно об этом и хотите меня спросить? Но я ничему вас научить не могу. Да и разве я должна вам говорить или объяснять то, что вы знаете изначально, и, без сомнения, лучше знаете даже то, чего я сама никогда не понимала? Вы хотите знать *час*? Но вы же сами это хорошо знаете. Разве вы не приближаетесь к огненному порогу этого часа, к невидимой границе иного мира, где перед вами предстанет с распростертыми крылами архангел Гавриил? Думаю, вы прекрасно

¹ Во веки веков (*лат.*).

меня понимаете. Это час, в который Пресвятая Троица ждет Свою Возлюбленную, которая восходит на зов любви, чтобы дать на него Свой Девственнейший Ответ. Так, чтобы и Сама Троица могла сойти к Ней, Вечной Избраннице и Вечному Замыслу, Огненному Дыханию, имеющему оживотворить Ее в бесконечные веки, навсегда». (« »)

(« ») (« »)

Наконец, все во мгновение запылало, () сказала мне так: «Вы задали мне последний вопрос. Я даю вам последний ответ. Готовы ли вы его услышать? Одиннадцатого февраля тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года вы обнаружите себя в новом качестве — на эти времена и на вечные: как это произойдет, под каким космическим излиянием, вы должны, не торопясь, узнать за следующие двадцать лет — это для вас будут последние годы, — изучить, пребывая в недрах Братства Запретного Спасения. Тем не менее знайте: самая главная для вас тайна, начиная с одиннадцатого февраля тысяча девятьсот сорокового года, содержится в зеленой тетради, где есть запись о ее первом причастии. Знайте также, что я принимаю вас в лоно Моей Молитвы, навсегда, в этом мире и в ином».

()

60

Я должен предупредить о пробелах в тексте: привести здесь весь документ из версальского *Pardes Rimoni* совершенно невозможно. Признаюсь, я испытываю

страх, очень сильный страх перед многоглаголаньем и ясноглаголаньем, особенно о трех совершенно роковых годах, с 1980-го по 1983-й, где и сокрыт ответ на великий космический разрыв 1962-го, ибо в этом случае мне пришлось бы принять на себя ответственность за разоблачение, которое)

(так все разрывы так все провалы отмеченные белизной страницы чрез прояснения смысла отсутствия)

(разоблачение, которое)

(Великой задачей данной книги — я, так или иначе, недалек от этой мысли — является именно внедрение, может быть в ущербном, я бы сказал, *ларватическом*, виде, двух документов из версальского фонда Pardes Rimonim. Следует ли удивляться тому, что каждая книга имеет свою великую задачу? Боюсь, у меня нет сил сказать об этом открыто; и тем не менее я мог бы все же приблизиться к этому тропами иносказаний и намеков. Ибо в нас под мерцающим и ледяным светом самых высоких и отдаленных звезд сокрыта тайна нашего жалкого и мучительного желания возвратиться домой.

И тут надо определенно и вдохновенно указать: в созвездии Большого Пса, древнего *Canis Major*, звездой Сириус, возле Плеча или, согласно Альфонсинову своду, *Al-Mankib*, отмечена наиболее привилегированная небесная область, откуда произошел — изначально или даже более чем космически предызначально —

солнечный, имперский и полярный род Sûrya-Vamṣa, от которого тянутся великие тайные истоки всех *наших*; далее, со звезды Бетельгейзе пришли и продолжают приходить юные и прекрасные тайные агентки Галактических Браков Верховного Севера, непрерывное празднование которых призвано поддерживать Абсолютно Полярный Огонь в живом очаге Сердцевины Неба, откуда исходит ужасающая Сехмет, наша Львица; следовательно, именно с Бетельгейзе являются нареченные непроизносимыми именами Божественные Супруги великого космического становления нашей тайной, более чем тайной расы; с Бетельгейзе, чей прекрасный источник красно-малинового свечения исполняет свои обязательства перед Пятой Ориона, что есть иное имя того же самого Плеча Большого Пса, Al-Mankib; разве кое о чем совершающемся в звездных пространствах предшествующей всему жизни не было сказано как о *девиации, сдвиге, или переворачивании Разбитого Плеча / над покинутой мною Областью Сострадания, среди ежевики?* Ибо во Времена Великого Возвращения все начнется заново чрез апокалиптическое чудо нового сверхпревращения в философское золото, чрез *сверхаурификацию, Al-Mankib*; а далее чрез *ауроральное, то есть полярное, сияние, чрез родство новой жизни* должно быть восстановлено решительное вмешательство *ежевики как таковой* в самое сердце *древесного разветвления, возлюбленного кустарника*, разрастающегося в Области Сострадания и побелевшего от инея; эта Область Сострадания станет открытым полем для наступления пращников, каковое сейчас невозможно даже себе помыслить.)

(позже я обнаружил для себя, что зеленый, оттенокка нильской воды, цвет абажуров на лампах рабочих столов в Национальной библиотеке в Париже воспринимается некоторыми читателями, предрасположенными к пониманию сокрытого смысла явлений, как некий знак необычного происхождения, исполненный сокрытого очарования; так, я сам, работая там, неоднократно чувствовал, что гипнагогически, расслабленно и в каком-то смысле *постыдно* ускользаю по тропам непосредственного восприятия под сень деревьев в зыбучие пески *иного* берега, следует осознавать, что все это неспроста и не бессмысленно и что я не случайно говорю именно о Национальной библиотеке в Париже, о том, что там брезжит свет того же оттенка, что и вода в Ниле)

(Две сокрытые звезды, два документа из фонда Pardes Rimoni, в точности как сияющие в вышине Сириус и Бетельгейзе, эти стражи высот, откуда пришли роды Ориона, стремятся окружить себя туманностью текста, принявшего их в свои недра и субверсивно их скрывающего, и это сходство двух звезд земных и двух звезд небесных говорит само за себя. И вот на заре, в пути, я встречаю садовую ограду вокруг древней кладки стены, увитой тенистым плющом. На первом же углу этой теургической стены я вижу висящий белый плащ, похожий на плащ Рыцарей Храма; крест между лопатками; затем на его месте появляется знак Святого Сердца, царского голубого цвета. Я узнаю в этом знаке свидетельство высшей поддержки глубочайших глубин незримого; так гипнагогическими путями самого глубокого сна я прихожу к тому, что предусмотрено для

меня, я узнаю: моя партия выиграна; в принципе я уже владею всем, и владею решающим образом in principium erat signum¹)

(срочно вернуться к проблеме похищения досье «Танго для Кали» и его долгосрочного, серьезнейшего использования в Париже и, возможно, в Риме, при субверсивном приближении к)

(Записи эти, условно названные мною «Досье „Танго для Кали“», не все сделаны рукой Ниты Кольменар; досье в целом состоит из множества разнообразных отрывков, связанных между собой общностью происхождения; все они исходили из одного и того же действующего контрреволюционного центра и, похоже, имели отношение к одной и той же онтологическо-стратегической операции, как я полагаю принадлежащей к высшей контрреволюционной субверсии, которая имеет конечной целью не только изменение всего актуального смысла французской и вообще западной Истории, но также — и прежде всего — конечной идентичности ее вплоть до ее самых очевидных и признанных абсолютно неотменимыми даже всеми приверженцами конвенциональной истории очертаний. Операции, точнее, ее проекту, который, как мне было понятно, разработан не до конца, а лишь в самых общих чертах, но тем не менее должен быть достаточно радикально и достаточно *открыто* реализован на крайнем образом определенных, но не менее крайним образом перекрытых в час *вынесения приговора* теургических путях, то

¹ В начале был знак (лат.).

есть у самих истоков современной истории Запада. Истоков, которые для нас — начиная с огромного черного водоворота, именуемого Французской революцией, — навсегда сокрыты в благосклонных к ним сумерках так называемой великой масонской тайны; истоков преступных и кровавых, рожденных на гекатомбах целой трансцендентной по происхождению расы и на самом Акте Цареубийства, которое можно рассматривать как контрлитургическое повторение Основополагающего Богоубийства, служащего, как известно, — чего не знают и знать не хотят приверженцы конвенциональной истории — залогом существования Протоцарства, уже сегодня готового окончательно отождествиться с верховными институционными прерогативами *Князя мира сего* и его Основных Имплантаций. Об этом — понтификальное и, как я верю, решающее слово Иоанна Павла II: *Битва между Царством Духа Злобы и Царством Божиим близка к завершению. Она уже вошла в новую, Последнюю Фазу. В нашу эпоху эта битва разворачивается уже как история всего человечества с его народами и нациями. Она разворачивается в каждом из нас.* Какое имеет значение, что труд Ниты Кольменар остался незавершенным, а сама она бесконечно страшнее смерти)

Не думаю, что могу поступить иначе. И прилагаю это загадочное досье «Танго для Кали» к моему дневнику. Дневнику, роману, повести? Какая разница — теперь, после моего пребывания в Усадьбе Милосердия, в Версале? Без сомнения, так было надо, так было предусмотрено с самого начала, когда я в эти дни шагнул в бездну глубинной космологической авантюры,

в которой гостеприимство Анн-Мари, равно как и ее отсутствие, должны были неизбежно привести меня к Лючии и к концу всего.

И вот сейчас я вверяю рукопись и ее копию, ее двойника разорванной в самой себе *тьме и сени смертной*, тьме ее собственной смерти, которая однажды станет и моей смертью, прячу рукопись и само досье «Танго для Кали» в большой твердый бумажный конверт, а конверт — в саквояж. Партия, в принципе, уже сыграна.

(Нита Кольменар: Прийти к рассечению плоти Мариш-Антуанетты можно было, только прежде разорвав на части плоть принцессы де Ламбаль; путь к Крови Королевы лежал через кровь Принцессы Крови; это был надрез, позволяющая и сакрализующая все остальное рана, открывающая путь ко всему, что должно было следовать далее. Они пожирала Сердце Принцессы Крови как дубль, как двойника Сердца Королевы, ее Вечного Сердца.)

Вдоль Красной Реки

Садовник не боится поранить кору.
Он доверяет дереву: жизнь, которая
сильнее раны, обретает новый образ.

Иоанн Павел II

Каков же вывод? Я не вижу в нем необходимости. В любом случае конец конца старого мира есть начало нового — в предусмотренный час и навсегда: сколь безначально, столь и сокрыто.

Итак, я все сказал. Разве не известно, *что* по-прежнему сокрыто в Версале, на гнилом дне хорошо всем знакомого озера, некогда бывшего дворцовым прудом?

(И еще, не следует ли мне, не уточняя, что за *двойная фигура в красном* ориентирована по магнитным полюсам Земли, упомянуть о *подготовленной нами жидкости*? Той самой, могущество которой проявляется ранним утром, на рассвете, на некоторых из трех десятков таинственно мумифицированных групов, каковые можно увидеть в одной из крипт собора Сен-Бонне-ле-Шато, на Луаре, где у тех, кто навещается туда постоянно, во рту появляется вкус прокисшей малины? Разве не было написано, что они *воскреснут в малиновом ужасе*? Я говорю о хорошо мне известной, запечатанной в маленьком стеклянном сердце, черновато-красной *подготов-*

ленной жидкости, утраченной затем на тропях, где ис-
сякла любовь)

(в слезном прощении о нас вспоминают;
сначала смерть — она подобна мокрой удавке, а затем
и ужасающая рана озарения, словно магнитом притя-
гивающая нас своим светоносным ликом, который
сам я утратил)

62

Так, багряный шрам на лице Лючии не есть ли зарубка на память о переходе через Иордан, красную реку, в день, когда потоки ее смешались с кровью, в час, когда крови было больше, чем воды, в мгновение, когда земля сотряслась, а сердца, все сердца расплавились, подобно камням в пустыне от солнца? Такой же шрам, словно брачная реверберация кровавого надреза на Сердце Иисусовом, утверждающая и вдохновляющая Его Самого на Его невообразимо преступных Путях и на неискупимых путях Его Преступления — теперь я это понимаю, — присутствует в безысходных глубинах моего сна наяву.

(Из письма Ниты Кольменар к Хуану Доминго Перону: «Когда несколько дней тому назад я говорила Вам о последнем крушении Имени Могуществ, я упоминала еще два Высочайших Имени Запада — Имя Жизни и Имя Бездны: но есть и Четвертое Имя, чья одновременно апокалиптическая и полярная молния, двойная тайна и брачная клятва, равно как и сияю-

щий космогонический лик, нам еще совершенно не известны, немыслимы и далеки от преследующего нас ныне тайного головокружительного отчаяния, однако с некоего часа Четвертое Имя, возможно, будет довлеющим и непреодолимым. Ибо на высотах небес Четвертому Имени соответствуют сияние и могущество Прозерпины, таинственная зеленая звезда, которую никто не знает и тем более не может видеть, но именно она призвана определять близкое трансисторическое обновление миров бытия и небытия. Прозерпина, с ее пунцовым шрамом на покрытом вуалью в три слоя лице, есть именно та, кого дано увидеть только Повелителю Самого Великого Конца, Chakravartin Последних Времен».)

(Но таков ли на самом деле ход вещей и всегда ли мы идем по провиденциально уготованным нам путям? И что произойдет, когда времена видимого мира расколуются на их же незримом марше? И что означает эта застывшая в нас самих и пред нами непроницаемая тишина и эти раскаты грозы — черные, белые, зеленые? Отныне Апокалипсис можно развязать одним словом, но мы об этом не подозреваем. Впрочем, какая разница? Ведь необходима — все еще и всегда — только вера. Час начала *времен пробы* хранится в тайне: это произойдет неожиданно, вместе с явлением самого немыслимого небесного дара, *tibidabo*.

Но я-то знаю, какие огни очень скоро запыхают на пустынных холмах Запада, во тьме, носимой нами в нас самих)

А Лючия? Эта прекрасная история, я верю, повторится вновь; более мистическим, но и более сомнительным образом, в Париже, через *пробу сил* и *высший путанаж*, чудесно-тайный, при котором все еще можно позволить себе некоторую широту, щедрость души и тела, и даже религиозную широту, ведь религия и есть расплавленная любовь.

Любовь, невыносимая любовь, излучающая свет звездной чистоты алмазных глаз, глаз, чья прозрачность опалает холодом, подобно десятку тысяч *умных солнц*, любовь, действующая в этом мире и в ином; так, словно вообще ничего нет, в тишине.

(Субверсивно укрываясь в Усадьбе Милосердия, я обрел то, чего давно не ожидал: со мной расплатились щедро и справедливо, милостиво. Никогда ни я сам, ни мои люди не состояли на службе ни у какого иного тайного общества, кроме Общества Единой Милости. Ради этого и приходит любовь, *даруемая и дарованная*)

Досье «Танго для Кали»

Ради себя самого, но и ради нас на тайной шахматной доске страстей и амбиций нашей эпохи он переставляет актеров безумных дней, меняет им роли, стирает резинкой состоящий из официальных версий сценарий и обретает истину в собственном вымысле.

Франсуа Миттеран

На заднем плане мира, в котором мы живем, далеко на заднем плане, есть иной мир; соотношения этих миров — нашего и того — очень схожи с тем, что иногда можно увидеть в театре, где позади первой сцены расположена вторая. Сквозь занавес газовой вуали тот мир представляется нам как бы дымчатым, более невесомым, эфирным, имеющим иные, чем наш, качества. Множество из тех, кого мы видим во плоти и крови в реальном мире, ему не принадлежит. Они понемногу уходят отсюда, исчезают, здоровыми или больными. Я слышал, сам не будучи с ним знаком, об одном человеке — он был болен. Он имел мало общего с реальностью, вообще был не отсюда. Он словно скользил сквозь эту реальность и, даже если предавался ее нуждам, был где-то очень далеко. Его влекло отсюда не добро и еще менее зло — по крайней мере, я не решусь сегодня сказать, что это было. Страдал он чем-то вроде *exacerbatio cerebri*¹, отчего реальность не притягивала его, но скорее отталкивала. Он не сдавался реальности, он не был пред ней слаб, напротив, был чересчур силен, но силой этой была его болезнь.

Серен Кьеркегор

¹ Мозговой раздражительности (*лат.*).

Танго для Кали

Ночь прошла, а день приблизился...

*Послание святого апостола Павла
к Римлянам, 13:12*

Нита Кольменар, (), рю Монж, 75 005, Париж (354)

(Это первые, напечатанные на машинке и, без сомнения, проверенные Нитой Кольменар, рабочие заметки по проекту «Танго для Кали». Рабочие заметки, составленные, по сути, из диалогов и страстных противоборств, рожденных криками и терзаниями живой плоти в ходе съемок одного фильма.

Следует учесть, что весь этот текст напечатан на бланках субверсивно созданного Францем Беллони боевого культурного подразделения под названием *группы передовых драматических исследований* [достаточно было бы, надо признать, *особых драматических исследований*, о чем еще пойдет речь].

Если истинные имена протагонистов движут ими в критической ситуации, то именно на этом может быть основана любая постановочно-драматическая интерпретация, оказывающаяся предельным, вплоть до непристойного самоубийственного исповедания, эксгибиционистским обнажением их экзистенциальных путей. Франц Беллони своим режиссерским успехом обязан как раз этому

желанию обнажить самую суть вещей, и ничему иному. Но также его гениальность проявилась в выборе экзистенциальных ситуаций, внутри которых он способен раздувать ужасающее драматургическое пламя и управлять им — до испепеления всего и вся. Из небытия — иное, *venceremos*¹.

Последнее уточнение: что касается меня, то я твердо убежден: загадочный спутник Ариан Давид, появившийся вместе с нею поздним утром верхом на пустынных аллеях Марли-ле-Руа, — не кто иной, как генерал барон Стефан де Ледоковски, он же маркиз де Сальер.

Нита Кольменар в своем экспериментальном повествовании указывает на это, пусть и очень осторожно. Сохраняя благородную сдержанность, она *остаётся на расстоянии*, и не случайно. Ибо в тот момент высочайший покровитель сверхспециальных служб республики Стефан де Ледоковски еще *не перешел черту* и не стал, вслед за неуловимой и пылающей, как ад, беглой кармелиткой, юной Ариан Давид, одним из тайных помощников Франца Беллони и самым загадочным участником проекта «Танго для Кали». В этом случае все возможно? *По ходу вещей*, как сказала мне однажды столь же очаровательная, сколь и опасная Ариан Давид.)

Ж. П.

¹ Мы победим (*исп.*).

ГРУППА ПЕРЕДОВЫХ
ДРАМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рабочие заметки

(С огромным трудом найдя приют в одном из давно и медленно разрушающихся доходных домов для простонародья, мрачных, тянущихся вдоль Сены до Жуанвиля, словно кошмарная Непобедимая Армада корпусов с высокими, будто пораженными проказой стенами, для себя и постоянно окружавшей его, подчиненной ему до крайнего сомнабулизма, до обугленных век и переполненных дерьмом вен, сумасшедше яростной съёмочной группы, как он сам говорил, своих «ручных гиен», Франц Беллони, с его живым взглядом и тонкогубым, яростным, будто бы наполненным сверкающими лезвиями, звериным ртом, один из самых великих режиссеров современности, ближайший друг и доверенное лицо самого Лукино Висконти, более чем уважаемый, но также еще и привлеченный на пути благословенного интеллектуального продвижения тех, кто, как и все мы, покрываясь трупной синевой протухшей славы, способен тем не менее внезапно, самым ужасающим образом, восстать и начать все сначала, готовится сейчас к своему последнему великому броску, к съёмкам фильма, призванного стать, как он утверждает, «совсем не таким, как все, совсем иным»; в подготовку

к съемкам он вкладывает все свои исключительные усилия, в чем ему душой и телом помогает нанятая на сдельную работу, такая же загадочная и дикая, но прекрасная и преданная ему — назовем ее настоящим именем — Марина, Марина д'О; прежде она всегда выступала под сценическим псевдонимом.)

(Те, кто способен заглядывать — физическим и умственным взором — за кулисы повседневной жизни Парижа, туда, где, по словам Бальзака, видна изнанка современной истории, *великий* первообраз истории *малой*, не могут не знать, что тревожная любовная связь Франца Беллони, возникшая на его фатальном пути, на *пути его фатальности*, расцвела над плохо спрятанным трупом юной Мари-Виктуар де Л., первой жены Беллони, убитой, как утверждают, Мариной — точнее, убийство было ею подстроено — на заре оргиастической — правильнее будет сказать, жреческо-жертвенной — ночи среди песков и прибрежных, черно-красных скал сумеречной, глубинной, океанической и *предсуществующей* Бретани; все это произошло как раз в том самом необычном — и не только для Парижа — июне 1968 года, когда была выплеснута лишь *пена вещей*; добавим, что прекрасная герцогиня Анн-Мари де Л. как раз вступала в те дни в частное владение Усадьбой Милосердия, в Версале, права на которую ей приходилось делить со сводной сестрой Мари-Виктуар де Л., младше Анн-Мари на два года.)

(Известно также, что в тот самый день, день рокового, бретонского, на заре, перелома в жизни Беллони, железный занавес разделился сам в себе и начал, сперва плотный, а затем все более обманчиво невесомый, припод-

ниматься над миром. В эту предначертанную июньскую ночь 1968 года перемена мировой жизни совпала с переменной имени, взятого его возлюбленной; на самом деле это было ее подлинное имя, в отличие от прежнего, служившего сценическим псевдонимом, одно из самых великих королевских имен Франции, в каком-то смысле покаянное — Марина д'О¹.)

(Камера отъезжает, сняв крупным планом со спины, как в тревожном свете летнего утра в Марли-ле-Руа Франц Беллони и Марина д'О, обнявшись, смотрят на графитового цвета воду и ведут свой трагический диалог. Над ними, в свежем утреннем воздухе, парят вóроны.)

М а р и н а (*медленно освобождаясь из лихорадочных объятий обхватившего ее за плечи Франца*):
...Все это больше не имеет никакого смысла. Вот уже три года мы топчемся в этой яме с дерьмом, которой стала наша совместная жизнь. Я вас больше не понимаю, я вообще ничего не понимаю: куда мы идем, куда вы хотите привести меня, что хотите сделать с нами всеми, со мной, с собой самим? Какова ваша цель? Наше с вами двойное самоубийство с какой-то темной теургической подоплекой, грязное дело, при котором взаимные положения светил ополчаются на нас с высоты, из невидимого небесного жилища Львицы, Сехмет? Но способна ли я вместе с вами перейти последний запрет Черных Врат, все и навсегда вместе с собой потеряв? Чего я должна, осуществляя наш общий замысел, ожидать

¹ Marina d'Eu. По законам алхимического «языка птиц» — Marina d'Eau, то есть Морская из Вод.

и требовать от самой себя? Сейчас, в июне, в Бретани, когда игра уже сыграна? Я-то в любом случае уже подошла к пределу, за которым... В конце концов, дело не в том, что я не смогу больше держать удар, вы хорошо знаете, что я буду стоять до конца, даже по ту сторону конца, конца всего. Но иногда так складывается... я даже не знаю, как вам это сказать, но после всего, после того как все вышло так, как вышло, говорить ли, молчать ли, совсем молчать... меня преследует ощущение, даже внутренняя уверенность в какой-то удушающей бесполезности всего того, что мы будем делать или, наоборот, не будем, всего, на самом деле...

(Они подходят к засыпанному песком пересечению дорог, и Франц, словно охваченный отчаянием, внезапным движением, озарившим все вокруг странной вспышкой, отшатнувшись от Марины, останавливает ее и поворачивает к себе лицом; справа, словно внезапное пламя во тьме, появляются на полном скаку двое конных и, проскочив перекресток, где копыта вязнут в песке, исчезают за поворотом аллеи, уводящей в высокий мачтовый лес. Франц и Марина застывают, затаив дыхание, словно окаменев, но всадники, не дав им прийти в себя, появляются вновь. Спешившись, к Францу и Марине подходит молодая светловолосая женщина; она останавливается возле Франца, который держит Марину за руку так, словно желает защитить ее от вторжения тьмы. Спутник светловолосой женщины держится на расстоянии. Даже не различая черт лица, можно увидеть, что у него черная как смоль, коротко подстриженная борода.)

А р и а н Д а в и д (*так зовут эту молодую светловолосую женщину, смеющуюся — это хорошо видно — на последнем дыхании*): ...Да, и правда, удивительно видеть вас. Ну что же, добрый день... Но, Франц, какого дьявола вы делаете здесь, в воскресенье, в восемь утра, в Мари-ле-Руа, на аллеях для верховых прогулок, почти под копытами моей лошади?.. Полагаю, мадам (*легкий поклон Марине*), полагаю, даже если вы меня не знаете, я знаю вас... Вы Марина д'О, не так ли? А я — Ариан Давид. Прошлым летом в Риме Франц много говорил о вас, о некоторых ваших проектах... В любом случае простите меня, простите, прошу вас, за такое несколько драматическое появление. Не хочу даже думать о том, что могло бы сейчас произойти, но все позади, по счастью. Очень, очень большому счастью. Надо ли говорить, вы под защитой. Но не будем больше об этом... невероятно, так или иначе, эта встреча невероятна... я уверена, вы и не думали, что гуляете по дорожке для верховой езды... Франц, послушайте, мне обязательно надо сегодня с вами поговорить. У меня для вас невероятные новости, особенно по поводу Жана, который только что вернулся в Париж. Говорят, был общий сбор всех *наших*, который уже давно готовился, медиумически готовился, и вновь явились великие знамения... А теперь мне надо ехать. (*Она быстро прерывает свою речь, причем глаза ее сдержанно, но настойчиво ищут встречи с глазами Марины.*)

Махнув всем рукой, она с загадочной, озарившей все лицо, улыбкой, разворачивает лошадь, затем, вспрыгнув

ей на спину, пускается вскачь в сопровождении своего спутника. Вдали, в глубине леса, раздаются два выстрела. Лицо Марины покрывается слезами.

Поднимается ветер, вода меняет цвет. В ней отражается небо, синева начинает серебриться и сверкать в свете дня, изгоняющего всякую тень.

Ф р а н ц Б е л л о н и: ...Странная, более чем странная встреча... словно во сне, при тяжелом пробуждении, когда уже наступает день, а сон все длится... Здесь Ариан Давид, наша юная кармелитка, нарушившая обеты (тяжелый грех, очень тяжелый). А в прошлом году павшая, словно перезревший плод, в руки Деларжей. Но, странная вещь, моя дорогая, так получается, что я вот уже не один день о ней думаю, не могу не думать; и вот она сама, сопровождаемая ледяным дыханием смерти, бросается мне навстречу; словно свидетельство... да нет, само свидетельство, абсолютное свидетельство... В конце концов, я ведь готовил ей самую невыносимую, на грани галлюцинации, роль во всем фильме, — роль принцессы де Ламбаль. И здесь ничего не поделаешь: чем больше я думаю, тем яснее вижу: только она, Ариан Давид. Да, Ариан Давид. Все связано, до головокружения. Не помню, говорил я вам или нет. Если нет, скажу немедленно. В прошлом году, прошлым летом, мы оказались вместе в Риме, сразу же после вашего непонятого отъезда, и именно юная Ариан Давид свела меня с группой *виа Аурелиа*. Вновь являются великие знамения... и на этот раз... как мне понимать теперь Ариан Давид, как

ей верить? Но при все том нам надо следовать ходу вещей, слепо следовать.

М а р и н а (в сильном беспокойстве): Кто усомнится, что мадемуазель Давид очень красива? Вы же видите, и я это признаю. Она ослепительна, и стала такой сразу же, как попала в руки Деларжей... Единственное, чего я не хочу, — менять из-за этого сценарий. Все в свое время, разве не так? На самом деле я хотела поговорить об этом с вами вот уже много дней, даже месяцев, но сегодня мы пришли к тому, что все надо решительно довести до конца, любой ценой, чего бы это ни стоило. Я хочу этого, понимаете, *я этого хочу*. Впрочем, ваша Ариан Давид прибыла в Рим вовсе не после моего отъезда, как вы говорите, не знаю, правда, с какой целью, но накануне его, день в день. Удивительно, что вы этого не помните. Мы даже вместе обедали, вместе с Черриони, во Фьюмичино. Там была и Ариан Давид, все увивались вокруг нее... Нет, вы что, и правда этого не помните? Прекрасные лангусты гриль, которые жарила Леда на костре, разведенном из виноградной лозы, на берегу моря? Море еще было серым. И пляж, покрытый молочным, непроглядным туманом, в котором угадывался лишь блеск пены...

Ф р а н ц: Конечно, вы правы. Да, я был там. А еще Черриони, Ариан Давид, пришедшая отобедать с нами во Фьюмичино, на берегу моря. Еще и еще раз, все связано. Марина, дорогая, я отвечу на все ваши бездонные, постыдно-смертные вопро-

шания, я готов — верю в это — рассеять все ваши недоумения, все страхи... на самом деле, мы стоим у *черты перехода*. Вы меня еще понимаете? С чего я должен начать? Мы подошли к концу пути, к концу туннеля. Я только умоляю в последний раз, выслушайте меня, выслушайте, *как прежде*. Понимаете, Марина? Возможно, нет ни одного действительно верующего человека в Европе, который бы сегодня уже не понимал, сколь необычайно важная вещь была сказана в «Санкт-Петербургских вечерах» Жозефом де Местром, предупредившим нас о том, что *нужно быть готовыми к величайшему событию внутри божественного порядка, событию, к которому мы начинаем ускоренно двигаться. Достоверные предсказания, добавлял Жозеф де Местр, объявляют о том, что время пришло.*

А еще помните ли вы слова Мелани, ясновидящей из Ла-Салетт: *Времена уготованы, бездна отверста*. Мелани, чье тело почернело, как уголь, но при этом тайно светится, покоится в имперском соборе Альтамюра, в Пуилье, построенном, как это точно известно, самим Фридрихом II Гогенштауфеном... Разве Апокалипсис не начался уже до нас? Наше поколение не поколение ли Апокалипсиса, не мы ли в этом мире и в некоторых иных — известно нам это или нет — суть Особый Корпус Ближнего Боевого Обеспечения Того — или, что еще более возможно, Той — кто должен — или должна — вновь явиться из самых дальних глубин апокалиптических событий? Не мы ли четвертованные самими в себе свидетели Конца Мира? Все,

как известно, решает последняя битва. А еще известно, что любовь вновь созиждет все.

(Жертвоприношение, символическое самопожертвование в самоубийственном ритуале погребения кинжала. Франц Беллони, не прекращая говорить, опускается на колени и вынимает из-под своей цвета хаки, военного покроя, рубашки кинжал *de ragacommando* в черных кожаных ножнах; затем Франц бросает ножны назад, через плечо, и они исчезают в темной воде. Девственное, обнаженное лезвие, предназначенное исключительно для того, чтобы нести смерть, единственную, героическую, великую. Если смерть есть свет, то именно свет смерти тайно вменяет этому лезвию ослепительной чистоты сияние. Осторожно взрезав дерн, Франц быстро выкапывает на краю аллеи глубокую яму, в которую рука уходит по плечо. На дно ямы он кладет кинжал и два граната — белый и алый; он взял их с собой, чтобы принести в жертву. Затем он засыпает яму землей и тщательно ее утрамбовывает. Сверху сыплет гальку. Никаких следов. Только сияние незримого присутствия. Если кто-то пожелает найти кинжал, пусть ищет, если способен, если имеет на то силы. Место это отныне оберегаемо, недосыгаемо. Священно.

Во время погребения кинжала Франц, обращаясь к Марине, произносит клятву их «общего предназначения» и обет верности «энигматическому солнцу». Прежде чем Франц вновь не засыплет все галькой, Марина становится на колени и, не произнося ни слова, бросает несколько комков земли в почти уже заполненную яму. Затем она встает и, двигаясь вдоль берега, отходит на двенадцать шагов. Франц следует за Мариной и догоняет

ее, словно охваченный внутренним, почти невыразимым озарением, при этом он продолжает говорить.)

(Сцену эту следует снимать несколько раз и каждый раз глубоко перерабатывать, прежде всего на уровне семантической координации жестов, на языке которых Франц Беллони и Марина д'О одновременно говорят и молчат. Ибо связь между сказанным и ритуально указанным почти никогда не бывает прямой, но выявляется лишь на последнем, абстрактном, символическом уровне, вне каких-либо рамок, выявляется едва различимо, если не вообще неразлично для неподготовленного внимания. Обряд погребения кинжала — глубинным образом похоронный, тайный, самоубийственный. Вместе с кинжалом всецело погребается сознание и душа его владельца: до исполнения своего обета, своей клятвы он мертв при жизни и жив по смерти. Речь идет об установленном на заре неолита космологическом ритуале, который трансцендентно, нечеловечески, более того, сверхчеловечески скрепляет обет, клятву высочайшей героической и теологальной вовлеченности в реальность некоей мировой перемены и еще в большей степени включенных в нее экзистенциального порядка знаков, знамений, вводимых в игру прямым и неотменимым действием участников приношения, каковые, свершая его над собой, достигают тайной, но решающей реверберации всей тональности всего космоса в его теогонической идентичности на данный момент. Это сказано *окончательно*.)

Надо отметить, что Франц Беллони, совершая ритуал погребения кинжала, ни на мгновение не прекращает обращенной к спутнице речи. Речь эта звучит как ли-

тургическое последование, исполненное огня, огня жизни, заключенного в огне слов. А говорит он, следуя за совершенным, переполняющим его разорванное и опустошенное в ходе ритуала сознание ведением верховного смысла обряда, *nigro notando lapillo, albo notando*¹:

В вечности нам предстоит утратить все, именно нам. Но мы же и призваны всё облечь в неуничтожимое, в неутрачиваемое. Дорогая, Марина, обожаемая, клянусь вам, что ничто не уходит в никуда, *я так хочу*. Это моя клятва. И это обет, который я произношу у ваших ног, подобно юным камикадзе сорок пятого, что перевязывали лоб повязкой непорочности: нам, дорогая, нашей сторевшей жизни светит эмблематическое солнце нашего общего предназначения, солнце могущества, солнце славы! Нам, возлюбленная моя, и только нам! Кто донесет его свет до конца? Мы, только мы. Никогда не было сказано, что будет иначе. Мы зачаты и замыслены для того, чтобы встретиться в тот час, когда мы встретились, и единственное не понятое нами с той осени шестьдесят восьмого — это живая тайна нашей любовной встречи, которая должна была утвердить Свершение Времен... Но прошли годы, и все вновь покрылось тьмой, все вновь, словно в ночи, стало неясным, неопределенным. Не хочу и не могу отрицать этого сегодня, *сейчас*. Затмение мира и пустота небытия внутри нас привели к тому, что мы вновь отдалились друг от друга и вот стоим на разных концах тропы. Вы видите, я не говорю *разделились*, я говорю *отдалились*.

¹ Отмечая черным камешком, отмечая белым (*лат.*). Известная поговорка, относящаяся обычно к плохим и хорошим дням.

Стоим на разных концах одной и той же тропы, пустой тропы... тонущей в гипнагогических, темных оползнях не знаю сам какой бесконечной, сотканной из беды и стыда зари...

М а р и н а: ...Но вы ведь знаете то же самое, что и я, и мы столько раз говорили об этом, последнее время до тошноты... И вот сейчас это погребение кинжала делает все еще более невыносимым, еще более драматическим... ибо все теперь, с этого момента, отныне необратимо, абсолютно необратимо, словно некая новая религия внутри нас... религия без иного исхода, кроме первых приближений к *нашей тайне*, а ведь они все угасли, затем... угасли, угасли, угасли, словно светильник в темной пещере... Ни Аполлон, ни Орфей не...

Ф р а н ц: ...Ибо час настал, безусловно. Все то, что мы не способны, не можем уже сделать сами, нам решительно указывают и у последней черты нашего бессилия и нашего забвения направляют нас сами знамения времен; настал давно грезившийся час высшего свершения, *час, который призван решить все*, час решения тайным образом апокалиптического... Если этот час наступил, а он наступил, то тайна моего упорства перед лицом утраты всякой надежды, желания и веры есть тайна неизбежности... Нынешняя Манвантара, уже почти перевернувшийся исторический цикл, должна завершиться не тысячелетним периодом, о котором говорил святой Иоанн в Апокалипсисе, а новым космическим циклом новой Манвантары, и она продлится приблизительно семьдесят тысяч лет. По ту сторо-

ну быстро восходящего пред нами апокалиптического завершения нынешней Манвантары — Золотой Век Манвантары следующей. Согласно Апокалипсису святого Иоанна, Принцип Зла должен быть связан на тысячу лет, а затем, по свершении миллениума, Принцип Зла будет освобожден вновь — на неопределенный период, охватывающий исторические времена ожидания Последнего Суда, Mahapralaya, Великого Космического Растворения, то есть рас-творения неба и земли...

М а р и н а: О! Опять то же самое! Этот текст, который вы заставляли меня проговаривать и повторять! Настолько, что я уже знаю его наизусть. Я не удивлю вас, если скажу, что сама удивляюсь, ловя себя на том, что декламирую его во сне, самом глубоком сне? Целыми большими кусками. Словно принесенными подземной водой, черной, исполненной задушенных рыданий, возгласов и криков. Вот уже сколько времени я чувствую, как живая и действующая мистерия этой книги живет во мне, пронизанная своим внутренним дыханием, которое есть удвоенное дыхание моей собственной жизни! И это вы *привели меня в такое состояние*. Стоит мне закрыть глаза — я там, и мои губы сами следуют течению ужасающих слов: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же

сего ему должно быть освобожденным на малое время». Я сказала *на малое время*? Да, на малое время. На малое время.

(Далее Марина громко, на манер великой литургической декламации греческой античности, произносит отрывки из двадцатой главы Откровения святого Иоанна Богослова. Декламация сопровождается изобразительным рядом — рубленным, пароксистическим монтажом головокружительных звездных вторжений, нарезанных из фильма Даниэля Поммероя «Скоро», где на темно-синие планы планеты Юпитер наплывает медленная, гипнагогическая панорама по картине Яна ван Эйка «Поклонение мистическому Агнцу». Кстати, Даниэль Поммерой снимал свой фильм в августе 1969 года, в Сахаре, на тридцатипятимиллиметровую пленку камерой «Митчелл», подсоединенной к телескопу «Квестар».)

Неподвижно стоя на берегу, в десяти шагах от Франца Беллони, и прикрыв лицо руками, Марина начинает, то повышая голос до крика, то понижая его до шепота, медиумически подавленно, глубоко и беспрепятственно проникая в собственные внутренние туннели, произносить:

— «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет; Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. Бла-

жен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим,

новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их; И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло.

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое»¹.

Франц: Итак, все сказано: *се, творю все новое*. Новую Вселенную. Вот оно, и ничего более, а именно это столь трагически предстает перед нами.

(В эту минуту Франц вынимает из карманов рубашки два напечатанных на машинке листка, которые читает, ходя вокруг Марины. Время от времени он останавливается, дважды или трижды перечитывая одно и то же, словно охвачен едва сдерживаемым восторгом.)

«Согласно наиболее твердым и ясным истолкованиям последователей Генона, например Гастона Жоржеля, которого я вам цитировал, «тысяча лет началась при Константине, остановившем гонения своим Миланским эдиктом в триста тринадцатом году. Это означало, что Сатана должен быть выпущен из оков ровно через тысячу лет, в начале четырнадцатого века. Именно тогда произошло мрачное событие: король Франции восстал против духовной власти той эпохи — папства,

¹ Откр. 20–21:1–5.

Империи, Ордена Храма. Известно, что Рене Генон видел в разрушении Ордена Храма начало всего современного извращения, должного очень скоро завершиться „Великой Пародией“ „Духовности Наоборот“ или, иными словами, Царством Антихриста. Поскольку за этим немедленно следует Второе Пришествие Христа, а затем начало новой Манвантары, то ясно, что Тысячелетнее Царство не впереди нас, но далеко позади...»

Продолжаю цитировать: «К тому же оказывается, что Цикл Современности идеально вписывается в последовательность традиционных космических циклов; на самом деле он отождествляется с третьей и последней фазой триады Нынешнего Космического Года протяженностью в две тысячи сто шестьдесят астрономических лет, он же Цикл Кесаря, который должен скоро завершиться». Вот какой вывод делает Гастон Жоржель: «...христианский Миллениум (с триста десятого по тысяча триста двадцатый год) полностью совпадает с эпохой Тысячелетнего Царства, о которой говорит в Апокалипсисе святой Иоанн; следовательно, Цикл Современности соответствует эпохе, когда Сатана „будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы“, что как раз сейчас и происходит. Но понять это можно, только если предельно точно следовать доктрине циклов...»

Черная тень Кали нависла над народами, пространствами и мирами. Расшатанные небеса вот-вот рухнут в догматическую бездну поглощения времен. Какое значение, Марина, дорогая, бедная

моя, имеет эта темная скорбь нашей любви, это бессилие бытия и это ежечасное беспощадное четвертование нашего с вами личного пути к концу? Ибо конец, в этот последний час, и есть мы двое, дорогая, вы и я, именно мы и никто другой. Именно мы, мы в самих себе, после наступления вечности. Мы есмь конец Мира, и мой последний бросок станет тем, в чем я даже вам не могу сейчас открыто признаться. Это будет подготовкой к становлению, к постановке — почему бы нет? — стратегических целей и путей самого тайно субливерсивного внедрения, самого тайно субливерсивного утверждения Перевооружения Времени... И если я захотел, чтобы мы этим утром оказались здесь, в магически удваивающихся аллеях Марли-ле-Руа, то это потому, что, как я считаю, настал час так или иначе ввести вас в курс того, чем я занимаюсь уже несколько месяцев. Я иду по лезвию бритвы. Мне приходится маневрировать над безднами, приоткрывающими Самый Конец Всего. Под совершенно, возможно, беспомощным, беззащитным прикрытием видимостей, под оперативным прикрытием самих же символов постыдного банкротства мира и истории я стою как одинокий волк, волкодлак великих сумерек конца, сумерек становления необратимости. В молчании, против ожидания наслаждаясь самым преступным замыслом всех времен, я обнаруживаю себя стоящим на шатких — без сомнения, слишком шатких — лестничных ступенях, сама шаткость каковых чревата и подвохом, и уверенностью, и головокружением; так вот, на самых шатких ступенях моего броска, с которого

в предутренный час прямо начнется диалектическое переворачивание конца всего — в экстатической мистерии *безмолвия на небе, как бы на полчаса*: когда оно наступит, сами небесные глубины своим дыханием отворят глубины Апокалипсиса, а безмолвие обернется явлением Орла с Распростертыми Крылами.

Я сказал о конце всего: вот, мы стоим перед ним, но это никому не известно. Наша единственная задача — способствовать его диалектическому переворачиванию.

М а р и н а: Никому не известно? Вправду ли? Вы в этом уверены? Разве все эти знамения запретного и ужасающего знания, опознанные нами *знамения отдания* не были с той же очевидностью явлены и другим?

Ф р а н ц: Надо ли уточнять? Вы, я же знаю, отдаете себе в этом отчет — я всегда опасаясь будить Могущество Иного: *преонтологический враг* в любом случае знает это, по меньшей мере, не хуже нас. И даже, я убежден, гораздо лучше. Я говорю — наш враг, враг нас двоих, нас, когда мы вместе. И не только он сам, лично, но и его постыдные и грязнейшие сеиды, в которых он воплощается. Но они уже ничего не могут с нами сделать. При условии, вполне очевидном, что каждый наш шаг будет подчинен явному или тайному исполнению нашей космологической миссии и всех велений во имя ее исполнения, каковы бы они ни были. А они бывают суровы, часто безжалостны.

А теперь вернемся к кино. Которое, на первый взгляд, не является столь уж важным делом — я готов это признать. Как вы уже знаете, я готовлюсь к съемкам нового фильма. Но совсем не такого, как все фильмы, *совершенно иного*, умоляю, поверьте мне! Да, совершенно иного. Это чисто и безупречно оперативная лента, запуск абсолютного стратегического концепта. Основанного на древних утраченных тайнах великой теургической войны, теургической войны миров. Той, которую святой Игнатий Лойола называл войной Двух Знамен. Это тотальная, окончательная теургическая война.

М а р и н а: О нет, Франц! Нет! Я не могу следовать за вами. Во всей вашей речи сквозит парадокс, невыносимое противоречие. Вы начинаете открыто притязать на то, что мы, вы и я, станем господами Свершения Времен, сокрытыми, и даже более чем сокрытыми, ответственными за *конец всего*. Притязать на то, что на нас возложено подземное, апокалиптическое строительство этого конца, что мы находимся на передовой линии битвы, составляющей наше глубинное предназначение. И вдруг вы в качестве прямого действия, *безупречно оперативного*, как вы сами говорите, предполагаете запуск фильма. Почему фильма, какого фильма? Ваш демарш, Франц, простите за откровенность, мне кажется странным и смехотворным, даже кощунственным. Или я, такая же слепая, как и все вокруг, ничего не понимаю? Франц, я чувствую, как земля дрожит у меня под ногами. Быть может, это хуже всего? Да, Франц, я прихожу к такому

выводу. Возможно ли это? Но, быть может, все-таки есть что-то неверное, что-то подозрительное в ваших последних рассуждениях и даже в самой сущности, в самом качестве вашего пламенного и прекрасного мистического вдохновения сегодняшнего утра? *Помутнение, насланное извне*, то самое наваждение, которое, по вашим же словам, Франц, наводит главный враг нашего стана, непримиримый враг тех, кого Апокалипсис святого Иоанна именует Станом Святых? Не настигло ли даже вас тайным образом, прежде чем мы приступили к действию, поражение ума? Вот что беспокоит, страшит, ужасает.

Ф р а н ц: Как же вы неправы, Марина, дорогая моя! Как же вы неправы! Страшит, говорите? И даже ужасает? Опять то же самое, любовь моя, то же самое. Сколько раз звучало нынешним утром между нами это слово — страх? Удивительно, но обесценивающее все экзистенциальное воздействие, привносимое этим не привносящим его словом, более не волнует меня — или почти не волнует. Никакого страха и никакого сомнения. Не бойтесь более ничего и ни в чем не сомневайтесь: это будет нашим первым вознаграждением — уже есть. Но прежде всего не ищите никаких свидетельств. Все свидетельства всегда против нас, равно как и мы всегда против всех свидетельств. И сам этот лживый конец мира тоже на самом деле не свидетельство, а лжесвидетельство, чем более оно свидетельство, тем более лжесвидетельство, тем более преступно и обращено к преступным целям, замыслено ради них — осквер-

нять, разрушать, ослеплять, душить, опускать и ничтожить. Но проехали. Нас хватают за горло уже более важные вещи. Все в свой черед, и каждому делу свой час.

Вы спрашиваете, как можно ограничить себя съемками фильма и как вообще может фильм положить начало последней космологической схватке, о которой мы говорили целое утро? По моим предположениям, это не вменяемый сознанием парадокс. Но, клянусь вам, Марина, вы все поймете, вам все будет сказано, объяснено. Это никакая не провокация и ни в коем случае не тайное повреждение моего рассудка. С другой стороны, что для моего мышления рассудок, а что прямое, сущностно внерассудочное, озаренное вдохновение? Vajra, молния, пронзающая алмазную чистоту сознания, объемля его, обнажая и изнутри озаряя и сотворяя озаряюще-озаренным и озаренно-озаряющим; молниевидная нагота, сама как солнце.

Что касается фильма — повторяю, не такого, как все остальные фильмы, — то парадокс его в развязке, если не прямо в субверсивном свершении *конца всего*. Я рассчитываю на некую *сверхракаду*, галлюцинирующую трагическую простоту.

Простоту молнии. На самом деле я наношу неожиданный угловой удар, который сам называю орфическим.

Это единственный путь пересечения, который мы имеем право стратегически избрать перед лицом

необычайного различия в способах действия между нами и теми из *наших*, кто, находясь в глубинном погружении, пребывает в состоянии *несводимости вообще ни к чему*, — именно перед ними мы ответственны за нашу субверсию и практикуемое нами уничтожение всего. Называемое мной *диалектическим переворачиванием конца всего*.

М а р и н а : ...Видите ли, Франц, я принуждаю себя поверить вам. Возможно, это единственное, что мне остается. Я прошла свой путь, весь до конца. И я там, где я есть, возможно сама в это не веря. Но я очень устала, Франц, смертельно устала. Я должна остановиться прямо здесь и уснуть. В росной траве, на теплой земле. Под легкой тенью олеандра. Проспать все утро в Марли-ле-Руа, в кустарниках, в недрах зашифрованного шепота нижних слоев памяти, забытых воспоминаний, *мертвых воспоминаний*, нищих древних воспоминаний о себе самой в Марли-ле-Руа, самых темных, самых невосполнимых воспоминаний о единоименно поядающей и упокоивающей сени смертной. Порою тихо и тайно проникающей пространство сна. Разве, Франц, мы когда-нибудь думали о том, что столь таинственно дарованный вами полуденный сон дает такую свободу, невинно и вопреки всякой опасности обнажает атласные озера сновидений и смерти? Я буду спать в Марли-ле-Руа, при полном свете дня, и в Марли-ле-Руа проснусь, возможно при таком же или еще более ослепительном свете.

Ф р а н ц: Спите, любимая моя, спите, да, спите, а я буду стеречь ваш сон. Возможно, это лучшее, что я могу сделать в этом мире. Я нахожу в этом свое первое и последнее оправдание и живую сущность всякой пребывающей во мне надежды, непрерывно и головокружительно влекущей меня вне меня самого, в дальние дали давным-давно утраченного, давным-давно забытого. Вот вы уже входите в тень, любимая, и солнечная черта будет оберегать вас от пространств горячей травы.

М а р и н а: ...Я скольжу, но не по пескам. Зеленоватый, очень слабый, свет, каким становится мощное и ясное сияние солнца в запретной глубине прохладных низин... Но чем более я теряю слова, тем более обретаю дали, бесконечно уходящие, счастливые и величественные — царские... любовь сильнее смерти; явились великие воды, и с ними ничего не сделать... великие воды, великие воды, Великие Воды, галактические браки Великих Вод и небес, уже отпадающих от собственного царствия... вижу, вижу, вижу их смятение и их солнечные головокружения, белые огненные колеса в яростном кипении пены... в свежести этой пены, в ее ледяном и запретном для слов уме, и мое сердце, сердце моей ранней юности навсегда... и этот бесконечно девственный сон царственных потоков, прекрасных грив коней колесницы Аполлона...

боль, все преодолевающая

боль...

Ф р а н ц: ...Она спит, и там, где она сейчас, я не могу безнаказанно коснуться ее, ни тем более соединиться с ней... Марина? Вы спите, вы вправду спите? Марина, дорогая, вы больше не слышите меня? Да, она низвергнута под роскошное и развернутое небо ее собственной самой древней души. Так далеко и так близко, прямо здесь. В Марли-ле-Руа. Я вместе с ней появился в Марли-ле-Руа именно в тот день, когда было надо. Но времена уже скоро переменятся. Возможно, уже через два или три часа, как только перевалит за полдень. Я буду ждать. Ее глубокий сон наполняет мое бдение медовой рекой.

(Вопреки сияющей ясности дня и безмятежности высокого, словно из хрустала, очень высокого, совершенно безоблачного неба вдали, на востоке, слышны раскаты грома, длящиеся и усиливающиеся в своем медленном внутреннем вращении — очень многозначительно. На самом деле вот-вот начнется изменение времен.)

(Нита Кольменар, под диктовку Франца Беллони)

(Стремясь как можно точнее следовать рабочим указаниям, а еще более — личным признаниям Франца Беллони и его сценариста, молодого, но гениального Романа Студенко, сколь свободного, столь и мужественного советского перебежчика последней волны, принадлежащего, как он меня сам конфиденциально предупредил, к национально-социалистическому, а точнее, к имперскому и планетарно-сверхпанславистскому национал-коммунистическому движению, тайные пока еще доктрины которого составляют истинный боевой проект внутреннего советского сопротивления, Нита Кольменар с достаточной ясностью и даже не без некоторой, возможно намеренной, безответственности обнажает здесь сокрытый механизм великого трансторического и космологического заговора, прикрытием — а возможно, и больше чем прикрытием — которого должна была стать совершенно особая постановка совершенно особого фильма «Танго для Кали». Можно предположить, что если речь идет больше чем о прикрытии, то мистагогически-конспиративная деятельность Франца Беллони обрела в процессе постановки «Танго для Кали»

должную структуру литургического отрицания, а с другой стороны — истинное бытийное предназначение, непосредственное и пароксистическое свершение его самого, Франца Беллони, *via sacramentalis*¹.

Скажу без колебаний: проект Франца Беллони, его великий, *внутренний проект*, несомненно, является самым передовым и самым решительным, авантюрным, героическим и патетическим из всех визионерских и в то же время *сверхусиленных* попыток, идентифицируемых как призвание разрушать и вновь созидать видимую и невидимую историю уже сегодня происходящего конца мира, конца миров.

1. Сам я полностью, сколь безоговорочно, столь и искренне, присоединяюсь к *бесконечно мучительному*, по выражению Ниты Кольменар, пришедшему к ней с самого начала этой работы и неизбежно призванному охватить всех вокруг, *почитанию памяти М. Б., истинной и главной звезды труппы TSE*.

2. Следует также, я полагаю, принять как неизбежность факт самоубийства Романа Студенко в самом конце или накануне конца его работы над «Танго для Кали», оно, по-видимому, было в сокрытом и сверхсакральном смысле неотвратимо. *Последние слова* все еще не произнесены.

Душа слишком юная и слишком чистая, переполненная энтузиазмом и верная себе, не способна безнака-

¹ На сакраментальном пути (*лат.*).

занно, не разбившись, ни противостоять, ни участвовать в ужасающей мобилизации сил, могуществ, в сверхчеловеческой и космологической мобилизации и удвоении в ее процессе имен, противостоящих друг другу в теургической постановке Франца Беллони, этого неподвижно пребывающего в центре уже запущенного апокалиптического циклона верховного и озаренного мастера, неприступного для взбудораженных сейсмических разрывов тотального пароксистического отрицания конца Мировой Истории [каковую он стремится, по меньшей мере, повернуть вспять, и *насколько же вспять*]. Разрывы, следовательно, безвозвратны; иные уже произошли, иные не замедлят произойти в отмеренный час; в точности совпадающие со Страшным Судом, когда мы только в самом конце всего узнаём о нем не как о предусмотренном в самом начале, но как о преодолении вечной печали Его перед лицом Его же вечной тьмы, должной быть навечно Им же от Себя отделенной, причем речь идет о самой черной тени Его небытия, аннулируемой и призванной на пиршество своего поражения и Его сверхвышнего и полного *высветления*, забвения Его ночей, забвения всего; уничтожение тени Его собственного небытия и поражения есть не только стремительное установление не имеющей обратной силы справедливости, но еще и прежде всего бездонная и пламенеющая тайна Его любовного каприза, безумной и внезапной Его сладости, не имеющей никакого объяснения, кроме прекрасной *новой песни* в Его искрящейся стеклянной Грудь, в его Грудь из пылающих красных и черных Углей.)

(Остальное — все остальное — записано восхищенной Нитой Кольменар и сохранено уже для другого, будущего авантюрного усилия, сколь героически проникновенного, столь и решительного в делании того, что *нужно делать*.)

Признаем, следовательно, что агентурные данные о проекте «Танго для Кали» позволяют понять безумную решительность истинно *тотального* действия, чья *тотальность* в ее сущности и с ее одновременно космологическим и непосредственно божественным, нечеловеческим, сверхчеловеческим, противочеловеческим предназначением приоткрывает свое лицо.)

(*Нечеловеческим, сверхчеловеческим, противочеловеческим* — таковым будет отныне основное догматическое утверждение всякого устремления к онтологическому пересечению границы между бытием и небытием, к каковому мы уже приближаемся и даже устремляемся в действии через проект «Танго для Кали».)

Ж. П.

ГРУППА ПЕРЕДОВЫХ
ДРАМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

*Рабочие заметки,
сделанные на основе душераздирающих
воспоминаний М. Б.,
топ-звезды труппы TSE*

Основной вопрос заключался в том, чем мог бы стать для Франца Беллони и некоторых приближенных и привязанных к нему сотрудников, ему подчиненных и им управляемых, как об этом шепчутся, в сколь ненасытной, столь и беспощадной, сомнительного происхождения, гипнотической тени его грозных сил пробуждения и утверждения, решающий бросок; следует признать, что, если приоткрыть тайну этого преднамеренно упрятанного в область глубоко подземных работ броска, показать его видимую, выставляемую напоказ сторону, заключающуюся в скорой, уже идущей, постановке фильма, «совсем не такого, как другие», о чем уже неоднократно говорилось, все равно погруженной в глубину останется иная сторона, связанная с *последующими событиями*, умно скрываемыми, затуманенными облаком черной сепии, не дающим приблизиться к *событиям*, предугадать которые можно лишь глубинно конспиративным, скажем так, укорененным в бездне путем, мгновенно перемещающим по ту сторону всего семантически обнаруживаемого, всего постигаемого рассудочно и поддающегося разъяснению, и в то же

время путем научно достоверным и призванным в предусмотренный день привести к тому, что сам Франц Беллони в разговоре с Мариной д'О назвал «диалектическим переворачиванием конца всего». Следовательно, этот великолепный маневр, если рассматривать его во всей полноте, субверсивно допускает два уровня своего пребывания и допущения, и совершаемый Францем Беллони бросок изначально удваивается в себе самом и пребывает в таком удвоении на всей своей протяженности.

Подготовленный в такой перспективе особого действия, проект «Танго для Кали» должен прежде всего выглядеть нейтрально, как не вызывающее никаких подозрений конвенционально приемлемое предприятие по быстрому запуску обычного кинематографического производства, пробивающего себе дорогу сквозь грязные требования и отвратительную умственную недостаточность врожденных кретинов и самых темных мошенников, выгодно устроившихся и суеорящихся, суеорящихся, суеорящихся, как они сами это называют, «по производственной части». Как всегда, в любом деле, подличать означает преуспеть. Но разве последний пароксизм субверсивного действия не включает в себя отказ от субверсивного действия? Но ведь еще нужно суметь это сделать, еще нужно, чтобы хватило времени.

Итак, «Танго для Кали». В самом заголовке, как и в титрах фильма, — черная, хорошо отработанная изысканность, с виду запятнанная низким оккультизмом, немного нарочито ошеломляющая. Возможно, больше, бесконечно больше, чем просто немного ошеломляющая,

особенно когда все идет столь плохо и столь быстро; эта изысканность сразу же, без особых усилий, вызывает в памяти Фрица Ланга с его старой «Индийской гробницей» и оказывается чем-то вышедшим из моды, даже, по правде говоря, попахивающим блефом, чем-то далеким от сегодняшних новинок, одобренных и утвержденных, даже вознесенных *иными*, то есть всеми теми, кто, бесспорно, идет в ногу со временем, кто «в курсе». Но «в курсе» ли я сама? Слово это внезапно наполняет мой рот смертельным дерьмом, и я начинаю задыхаться. Что может быть более очевидно: «быть в курсе» — это что-то животное и блевотное, сверхблевотное; «быть в курсе» — это пожинать урожай мрачной пены, пены сточных вод, переполненных смесью катастрофической грязи. Между тем, если мухлевать с названием фильма, что из этого выйдет?

Не ловушка ли это можно задать вопрос, для смертельно пьяных от забродивших ягод черной смородины, их дикого вина черных фазанов, уже готовых повиснуть на кусте один за другим с безобразно свернутыми шеями?

В любом случае именно такие титры, перегруженные тьмой, избрал, полностью отдавая себе отчет во всем, Франц Беллони для фильма, посвященного исключительно запутанным оккультным и субверсивным манипуляциям, призванным, согласно продуманным долгосрочным расчетам «тех, кто в масках», в определенный час, *в лето, когда солнце иссякло*, открыть путь кровавому и, без сомнения, решающему уничтожению французской монархии, династии Капетингов, возвести

Марию-Антуанетту и Людовика XVI на эшафот и тем самым покончить с родником обожженной, если не прямо божественной, крови predetermined свыше расы с ее пронесенным сквозь века обетованием. Целью всей этой мерзости было силой заставить мир отречься от горней идеи солнечного, сверхгероического, сияющего чистотой мира превыше мира, от многовекового сновидения чести, славы и духовной, живой и пламенной любви, бесчестно принесенной в жертву в момент ее самого таинственного внутреннего становления при полном свете дня.

Заметим, что в «Танго для Кали» Франц Беллони предполагает крайне объективно и свободно от всех недоговорок, духовно открыто и глубоко символически изобразить ужасающее противостояние между тем, кто называл себя графом Калиостро и был безгранично, до конца предан активной тьме антитрадиционной и антимонархической субверсии, и графом де Сен-Жерменом, посвятившим себя высочайшему, таинственнейшему ангелическому служению видимому и невидимому владычеству Королевского Дома Франции на пути сквозь события, ведущие в точку его Безвозвратного Конца как точку центра мира, Вместилища Святого Духа, в Беспощадной Спирали бесконечного и безымянного, но не исполненного Ясного Лица восхождения.

На самом деле действо под названием «Танго для Кали» призвано всего лишь отобразить — в пределах, предварительно допущенных в качестве компромисса основными противоборствующими в истории сторо-

нами, — совокупность соответствующих первому общепринятому историографическому уровню очертаний, которые могут быть извлечены и без опасений показаны, представляются более или менее приемлемыми, дозволенными в условиях постоянной борьбы великих невидимых могуществ, скрывающихся вне оперативной области зрелища, вне круга драматической составляющей фильма, но тем не менее контролирующих эту область и обрамляющих ее беспощадной короной действующей тьмы. «Поверх всех уровней знания, — писал наш учитель Тома Воган, — существует некая ужасающая, невыразимая тьма. Маги называют ее *tenebrae activae*».

Особый же оттенок и сокрытое значение всему предприятию, тайно указывающему на предшествовавший ему роковой выбор, придает следующее: Франц Беллони предполагает сам сыграть в фильме роль Людовика XVI, а роль Марии-Антуанетты доверить Марине д'О.

Для исполнения ролей Ферзена, принцессы де Ламбаль, Калиостро и графа де Сен-Жермена Франц Беллони хотел бы привлечь или профессиональных киноактеров, причем, возможно, престарелых, даже уже стоящих на грани упадка, еле прикрываемого еще сохраняющимся талантом, упадка сил и тайной слабости *наполовину сгнившего, по самым интимным причинам, естества*, или же, как он сам говорил, возможно совершенно неизвестных, «стальной анонимности» лиц, не поддающихся какой-либо идентификации и выхваченных из трагически безразличной толпы, со всей присущей ей

гнушной, бесчестной, буроугольной неподвижностью. Именно так он стремится проникнуть по ту сторону оболочек вещей; ибо все изначально находится в смертельной ловушке, и ничто не может всплыть на поверхность, кроме как под прикрытием терзающих изнанку мучительных болей; но и все прикрытия, все маски столь же изначально отравлены, всепожирающи, одновременно прозрачны и слепы, сотканы из легких теней, каковые сами суть лишь тени безмолвных горних теней иной тени единой, неизменной и далеко не оконченной авантюры; так все начинается, и так пребудет до конца; ибо если вообще есть конец, то перед его лицом вся эта темная и прекрасная история застывает как бы в отчаянии, на последнем дыхании, агонизируя, погруженная в забвение самой себя и мира как такового, *уже иная*.

Полковник граф Александр де Ферзен долгие годы был и до сих пор, без всякой надежды на возвращение вспять и освобождение от этого уже тяжелого для него бремени, остается любовником Марины д'О, и говорят, что именно сам Франц Беллони незаметно следит за тайным ходом этой опасной, но, по меньшей мере, необходимой связи и направляет его. Ибо полковник Александр де Ферзен является также представителем высшего и совершенно закрытого Нордического Франкмасонства, Великим Генеральным Уполномоченным Бореальной Ложы Stella Polaris во Франции и в Западной Европе в целом. Что же до роли принцессы де Ламбаль, то Франц Беллони, несомненно, великодушно предоставил ее — подчиняясь давним и, что невозможно отрицать, пророческим и темным предчувствиям — юной и ослепительной нормандке, бывшей кармелитке,

поправшей монашеские обеты, по имени Ариан Давид, которая, к несчастью, к тому моменту, когда все должно было начаться, самым жалким образом подседела на героин, была задержана наркополицией, проходила лечение в Метайери, близ Женевы, а затем чередовала заведомо неудачные попытки самоубийства с протрезвлениями и возвращениями к жизни, впрочем все более безответственными и небрежными. Не столь уж оригинальными на самом деле. Но *суть дела, его материю* Франц Беллони, глядя на все с недостижимых высот, понимал совсем *иначе*, то есть как *годную для использования*.

Тем не менее истинная ставка запущенной тревожно-опасным Францем Беллони мистагогической провокации, спекулятивно подпираемой постановкой фильма с названием-ловушкой «Танго для Кали», была сделана, как уже говорилось, на второй уровень предприятия, уровень сверхтайной манипуляции, реверберации и вовлеченности в определенный *сокрытый ритуал*, самый черный из всех имевших место в истории, на точное *повторение* — в медиумическом присутствии всех высочайших участников — хода так называемой Французской революции, до сих пор диалектически актуальной, для того чтобы, *возобновив прошедшее*, придать ему противоположный, контрреволюционный смысл онтологически перевернутого и сущностно преображенного бытия в его основании, ибо только основания, только принципы определяют реальность, а всякий принцип сам по себе также есть умопостигаемое проявление иного принципа.

Безусловно, в фильме, многозначительно названном «Танго для Кали», Калиостро одерживает победу над графом де Сен-Жерменом, де Ферзен оказывается вновь низвергнут в ужасающий черный коридор его загадочно всплывшей беспомощности как офицера и его душевной немощи, а Людовик XVI и Мария-Антуанетта в тишине принимают бремя двойной искупительной жертвы, двойного холокоста, головокружительно вознесшего их, как известно, на немыслимую священную высоту, где в сияющей сверхослепительной славе пребывает Вселюбящая и Возлюбленная Святая Троица.

Тем самым общее представление отдельных фактов минувшего, как бы еще раз свершающихся чрез их именование в фильме, будет означать, что все реальные участники великой трагедии призваны медиумически отождествиться с актерами, так чтобы через некоторое время после окончания съемок с актерами случилось то, что легло в основу драматургии картины, включающей в себя, с одной стороны, ужасающее, трагическое противостояние Калиостро и графа де Сен-Жермена, а с другой — брачное, пламенное, изнурительное противостояние Марии-Антуанетты и де Ферзена.

Все должно происходить в некую великую ночь, где-то в сокрытом от взоров и всякого любопытства подземелье. Без сомнения, в подземелье какой-нибудь старинной заброшенной домовая церковь, издавна предназначенной для продолжающихся по сию пору тайнодействий, простирающих свой покров над тенистыми окрестностями. Все должно происходить *как во сне*.

При этом помимо ритуального повторения уже свершившегося Франц Беллони предполагает осуществить некое искупительное действие, как он сам говорит, *примирения, любви, великого прощения и прощания* в качестве второй, теневой, параллельной и исключительно криминальной *постановки*, контр-постановки, продолжающейся вплоть до финального свершения ее наиболее неудобосказуемых контрреволюционных *начертаний*.

Персонажи, обозначающие и обозначаемые в «Танго для Кали» и превратившиеся, а точнее говоря, *вновь* ставшие своими прообразами, медиумически перевоплощенные Францем Беллони, все вместе должны вспыхнуть, словно свечи, на одном дыхании, и это принесет во тьму сегодняшнего дня необходимое для Великого Восстановления нарушение равновесия.

Переворачивание ситуации должно заключаться в том, что люди в масках графа де Сен-Жермена должны захватить этого самого графа Калиостро и медленно душить его черной тряпкой, пропитанной серой и смешанным с желчью и пеплом белым уксусом, после чего граф де Сен-Жермен в конце концов сможет, не снимая с себя высоких посвящений, своими руками додушить Калиостро, приподняв его голову и дождавшись момента, когда тот издохнет.

Это и совпадет с моментом высочайшего переворачивания, «диалектического переворачивания всего», о котором говорил Франц Беллони, идя вдоль аллея Марли-ле-Руа в то утро великого белого солнца и грозы на востоке.

Для каких таинственных иных времен предусмотрено противостоящее Пресмыкающемуся Небытию демократической мерзости Королевство по Божественному Праву, для каких времен возжигает в Марии-Антуанетте граф де Ферзен тантрические огни возобновления Манвантары, предсказанного Последней Сивиллой, одинокой, длинноволосой и рыжей д'Альб ла Лонг?

Тотальное диалектическое переворачивание смысла истории, великая последняя *metanoia* западной, закатной истории мира, постигаемая и достигаемая Францем Беллони в ходе его теургической постановки — или перестановки — как *перемена и возобновление* конечной истории Франции включает в себя две последовательные, в одинаковой степени фундаментальные, стадии действия.

Прежде всего, необходимо, чтобы стихии, опознанные Францем Беллони как воплотившиеся в действующих лицах истории Конца Монархии по Божественному Праву во Франции, оказались медиумически идентичными участвующим в фильме моделям вплоть до внутренней трансмутации их собственного бытия и их глубинной жизни, вплоть до медиумического нововоплощения в них великих ушедших, о котором им не следует говорить, но которое тем не менее произойдет. Используемая Францем Беллони активная доктрина теургических манипуляций имеет свои совершенно определенные источники, которые при нынешних обстоятельствах нельзя разглашать.

На второй стадии того же процесса, или, можно сказать, той же *процедуры*, трансмутация *представляющих*

в *представленных* будет призвана способствовать диалектической перемене самого *представления*: если представляющие тех, кого они, как предполагается, представляют, становятся самими представляемыми, то даваемое ими представление завершится тем, что ему предписано представить и что окажется достаточным для драматического возобладания Божественной Монархии над Революцией, и — уже по ту сторону поставленной под вопрос драматургии — достигнет высочайшего уровня сама история на марше к ее конечному завершению, изменению всего ее смысла, как раз и предусмотренному в замысле проекта «Танго для Кали», почему одноименный фильм и нельзя никоим образом равнять со «всеми остальными»; это, скорее, фильм обо всем, *фильм всего*.

Речь идет о переменах модусов бытия протагонистов истории, их видимых и невидимых двойников, создающих и пересоздающих историю в ее становлении, в прямой в нее вовлеченности и в свете фундаментальных обетований.

Сама по себе история всего лишь проявляет и представляет инстанции великого промыслительного начертания, которое невозможно постигнуть, к которому нельзя приблизиться иначе как чрез изменение состояния Истязаемого Сердца, Живого и Бьющегося Сердца, чья Святая Рана свидетельствует непрерывно истечением потоков крови о дрящейся боли, призванной подземным образом, чрез ужасающую экзистенциальную драматургию, устанавливать и питать, в их тайном становлении, обетования Божественного Милосердия на

марше, уготованного для нас в преддверии коридоров самоуничтожения и самой молчаливой, самой безысходно черной смерти.

Елена Петровна утверждала, что тайные двери затворились в 1897 году и более не откроются никогда. Возможно, в то время так и представлялось. Но это не навсегда, говорим мы сегодня. Дверь эта никогда не затворялась до конца, разве что на время, из предосторожности, в периоды великих сейсмических сотрясений духовного мира — превентивно. Известны последние слова графа де Сен-Жермена к графине д'Адемар во время их тайной беседы в Париже, в церкви Францисканок: «...сейчас я не могу ничего сделать. Мои руки связаны тем, кто сильнее меня. Бывают времена, когда отступление возможно, и такие, когда наложен запрет и его следует исполнять...»

Мария-Антуанетта должна была погибнуть именно потому, что соединила в себе, в своем имени и судьбе, двойную верховную идентичность Империи и Царства, Императорского Дома Австрии и Королевского — Франции. Голова Марии-Антуанетты была усечена вовсе не оттого, что Королевский Дом Франции был разрушен ударами Революции; напротив, уничтожение Дома Франции было лишь шагом к ритуальному усекновению главы Марии-Антуанетты.

Ибо диалектика Царства и Империи только лишь воспроизводит на царском и королевском языке истории диалектику внутреннего и внешнего бытия, где Царство есть внутреннее, а Империя — внешнее. Диалектика

Царства и Империи совпадает с соотношением Девы и Водолея, созерцания и действия, что было предметом пробужденного внимания Бернара Клервосского.

Если Мария-Антуанетта несет в себе и проявляет внутреннюю незыблемость Царства, живое, девственное и глубинное непорочное зачатие Запечатанного Источника, внутреннее бытие Царства и его Божественного Чрева, то принцесса де Ламбаль — вслед за Марией-Антуанеттой и в своем звездном обращении вокруг Нее — Имперское удвоение Царства Королевы. В своем глубинном символическом бытии принцесса де Ламбаль вовлечена в истолкование и обращение внутреннего бытия Царства вовне и жертвенно олицетворяет Империю как непорочное созерцание Непорочного Сердца Марии, осуществляющей — в крови и чрез кровь — тайное служение самому Сердцу Иисусову, верховно вершащему прямое, защитное, живое и животворное действие Imperium.

Пора идти, Королева ждет меня, я должна жить и умереть за нее, — написала 15 октября 1791 года в Экс-ла-Шапеле Мария-Тереза де Савуа-Кариньян, принцесса де Ламбаль.

Тем, кто стремился расправиться с Марией-Антуанеттой, следовало вначале уничтожить принцессу де Ламбаль, внешнюю оболочку Царства, его живые и трепетно пульсирующие стены, а это означало — вспороть грудь принцессы де Ламбаль так, чтобы из нее истекла кровь, а обескровленное сердце принцессы Крови обнажило бы при свете дня мистагогические глубины

Царства и его конец. Посягательству на Деву должно предшествовать обретение — в извращенном смысле — головокружительных внешних орбит Водолея. Прежде вскрытия плоти Марии-Антуанетты следовало вначале изорвать в клочья плоть принцессы де Ламбаль: чтобы овладеть кровью Королевы, следовало начать с крови принцессы Крови; пролитая кровь есть кровь выпитая, а выпитая кровь есть кровь пролитая.

Остается сказать, что в час выздоровления и конечного освобождения возобновлению непорочного зачатия Царства должно предшествовать прежде всего онтологическое восстановление Империи, а возвращению Марии-Антуанетты — возвращение принцессы де Ламбаль; таковы, следовательно, сокрытые доктринальные основы контрреволюционного действия, предпринятые Францем Беллони под прикрытием операции «Танго для Кали».

Прежде вскрытия плоти Марии-Антуанетты следовало вначале изорвать в клочья плоть принцессы де Ламбаль, прежде вскрытия родника крови Королевы следовало начать с распечатывания родника крови принцессы Крови.

(Из письма Ниты Кольменар к профессору Вальтеру Канторовичу, найденному и изложенному нам Сильваном Репробатом: Прежде вскрытия плоти Марии-Антуанетты следовало вначале изорвать в клочья плоть принцессы де Ламбаль, чтобы овладеть Кровью Королевы, надо было начать с крови принцессы Крови; это был раскол, десакрализационный выкидыш грязных

отбросов, открывающий путь всему последовавшему. Так было Сожрано Сердце, сердце принцессы Крови как удвоение Сердца Королевы, ее Вечного Сердца.)

Мария-Тереза де Савуа-Кариньян, принцесса де Ламбаль: *Пора идти, Королева ждет меня, я должна жить и умереть за нее.*

(Рабочие заметки М. Б., таким образом, завершаются предупреждением об огромной, глубочайшей мистагогической важности, равно как и об исторических и политических действиях, предусмотренных в дальнейшем в связи с «закрытой операцией», начатой Францем Беллони съемками фильма «Танго для Кали», действий, от которых, впрочем, — не следовало ли ожидать этого с первого дня? — Франц Беллони, как она это тотчас поняла, будет все равно вынужден отказаться перед лицом законных и незаконных мер, предпринятых против него высшими чинами полиции республиканского режима в Париже, принявшими, причем быстро, более чем быстро, решение — как потом об этом говорили, под угрозой глухого, ледяного и абсолютно анонимного приказа, исходящего с самого верха параллельных режиму иерархий, — помешать Францу Беллони в осуществлении его уже тайно запущенных проектов и «решительно положить конец всей его заявленной, а также иной политической и духовной деятельности».)

(Так, остается заметить, что без тайной защиты, какой Франц Беллони ни в коем случае не должен был пренебрегать, с момента обретения последней истины, собственного противомогущества ни один подобный

заговор, и уж тем более заговор в отношении базового проекта, скрытого под туманным облаком «Танго для Кали», фильма, уже запущенного в производство, при переходе к действию не может быть доведен до твердого, всецелого и неуязвимого завершения.

Правнук почившего в 1942 году генерала Общества Иисуса Вальтера фон Ледоковски, барон генерал Стефан де Ледоковски, маркиз де Сальер, ныне бригадный генерал Военно-воздушных сил Франции, безутешный, как всем известно, вдовец, лишившийся во время слепой борьбы за Французский Алжир молодой супруги, которая приходилась довольно дальней родственницей де Голлю, и одновременно богатейший наследник разбросанного по разным странам европейского семейства, кроме того, был хорошо известен в самых закрытых кругах оккультной и теургической, крайне строгого подчинения Великой Ложи «Врата Мемфиса», со штабквартирой на улице Филь дю Кальвер¹, под могущественным покровительством которой он и сделал самую сокрытую, но и самую значительную часть своей великолепной политической карьеры и был назначен руководителем верховного ядра некоторых политико-стратегических служб республики, причем не для того, чтобы «однажды еще раз возобладать над ее теневыми врагами», и не для того, чтобы вновь содействовать заговорам гипнагогических и иных тайных обществ, всегда верных неуспокоенной тени Калиостро и его Неизвестных Мастеров, но лишь для того, чтобы молчаливо и неподвижно, следуя высочайшему мастерству мани-

¹ Буквально — Дочери Мертвой Головы.

пуляций тайными действиями в соответствии со звездной клятвой ложи «Врата Мемфиса», изнутри боевого расположения на месте, наблюдать за всеми попытками этих служб отдалить и отвести в сторону, хотя бы затормозить и замедлить исполнение долгосрочных поступательных концептов на марше к цели, определяемой нами как *духовная смерть того, что нерушимо*, без сомнения все еще не достигнутой.)

(Одно из апокалиптических знамений времени заключается в следующем. При *непосредственном приближении рокового часа* на вершинах обоих противостоящих онтологических станов возможно то, о чем невозможно даже помыслить, но что можно лишь представить во сне, а именно: мужчины и женщины, близкие к святости, и даже сами святые внезапно, сомнамбулически, без какой-либо видимой или сокрытой причины, оказываются, мучимые извращениями и самыми невыносимыми мерзостями Могущества Тьмы, на безусловной его службе, в то время как среди высочайших, без имен и лиц, служителей, мужского и женского пола, Принципа Зла, в самых интимных его областях внезапно появляются мгновенно отрекающиеся от своей преступной ему преданности и в стремлении к искуплению, с любовной и пламенной ясностью последней, действительно последней, безнадежности обращаясь под покровение видимых и невидимых воинов Святой Горы, именуемых некоторыми также и Белой Армией, переходят в нее и сражаются в ее рядах.)

(Из сверхконфиденциального письма Ниты Кольменар к профессору Канторовичу: *Что касается генерала*

де Ледоковски, то он никогда не делал исключений лично для Франца и, никогда не идя на сближение, общался с ним исключительно через им самим избранных посредников.)

(Из письма Ниты Кольменар к профессору Канторовичу: *И самое удивительное и пока непонятное, Франца нужно было разыскать не в Версале и тем более не в Тюильри, до сих пор пустынном и затворенном для иных могущественных влияний, но именно в Марли-ле-Руа, следуя указаниям часто очень смутным, которые, как Вы хорошо знаете, нам удалось, подвергая себя немалым опасностям, получить после исчезновения Сильвана Репробата и драматического растворения его группы.*)

(Но вышло так, что в обмен на свое вмешательство или, лучше сказать, необратимое и тотальное присоединение к Францу Беллони генерал де Ледоковски потребовал, чтобы ему предоставили в пользование, с очень долгосрочными и провиденциальными целями, Ариан Давид, беглую молодую кармелитку, которая в «Танго для Кали» должна была представлять принцессу де Ламбаль и которой в любом случае предстояло завершить свой путь превращением — в медиумически созданном пространстве — в принцессу де Ламбаль, стать ей и ей остаться.)

(я все-таки написала об этом)

(Согласно ритуалу, Ариан Давид, у которой кожа на лодыжках была содрана до крови, а запястья троекратно перевязаны галечным плющом, была обнаженной при-

ведена к генералу де Ледоковски и передана ему в *великое послушание* самой матерью-настоятельницей маленькой кармелитской обители в Нормандии, откуда Ариан сбежала за два года до этого. После съемок «Танго для Кали» ее держали взаперти в Марли-ле-Руа, а затем некоторое время — немногим менее месяца — на скромной, хорошо охраняемой, окруженной великолепным парком вилле вблизи Рамбуйе, откуда потом, когда пришло время, осторожно минуя Париж, перевезли в Нормандию и поместили там за оградой все того же монастыря кармелиток, куда за ней снова прибыл генерал де Ледоковски, который стал ее истинной судьбой и даже больше, бесконечно больше, ее *божественным предназначением*. К тридцати годам молодая, прекрасная, ослепительная генеральша де Ледоковски, маркиза де Сальер, превратилась в сияющее солнце среди тьмы наших темных времен и, оставшись такой, перешла в наше полное духовное и космологическое повиновение.) («Выгодная женитьба».)

(Первую жену генерала де Ледоковски, маркиза де Сальера, звали Констанс. В *интимном дневнике*, который она вела время от времени все предшествующие ее кончине ужасающие шесть месяцев и оригинал которого ныне хранится все в том же старинном нормандском монастыре, где пребывала некогда Ариан Давид, можно найти множество записей пророческих сновидений, относящихся, прежде всего, к бездонным глубинам некоторых событий драматического конца второго тысячелетия. Все они при этом далеки от политики. Многие лица названы там по именам, однако безусловно установлено, что Констанс не только не знала их и никогда с ними не

говорила, но и никоим образом не могла вообще знать об их существовании: слишком долгое время, долгие годы разделяли их жизнь и жизнь Констанс, многим из них предстояло жить на полвека позднее. В то время, когда Констанс, меланхолическая ясновидящая середины столетия, рассказывала о них в *интимном дневнике*, как она называла свои тетради, в этом мире не было не только многих из них, но даже их родителей.

Каким-то чудом сохранилась замечательная фотография мертвой Констанс, полуобнаженной, в деревянной пляжной кабине, в Довиле; без сомнения, фото сделано ранним утром. Сверкающая белизна ног слегка оттенена налипшим песком, но смерть уже окружила глаза своими темными стигматами, цвета моря — медленного и глубокого, беспокойного в своих глубинах.)

(Эпизод за эпизодом, фильм Франца Беллони мобилизует, заставляя вглядываться друг в друга, словно в игнатианском созерцании Двух Знамен, видимые и невидимые структуры как республиканской администрации, так и тех, кто до конца ждет своего кровавого часа, *святого часа пролитой крови*.)

Ритуальное удушение Калиостро — а точнее, его ужасающего медиумического воплощения — вновь провозглашает в реальности — чрез бесстыдную мерзость пролитой и стекающей по ступенькам уже давно заброшенной, используемой особым образом часовни при ставшем руинами замке **, искупительной крови, ибо все связано, не может не быть связано — стирающуюся из памяти славу святой Маргариты-Марии Ала-

кок и зоревое пришествие иной истории, французской и монархической, иной, божественной истории этого мира, скользящей к пылающему очагу, Vexilla Regis Prodeunt¹.)

*(Редакция Ниты Кольменар
под руководством Франца Беллони
и его сценариста Романа Студенко)*

(Запись от 22 июля 1956 года из интимного дневника Констанс: Она словно омрачена Тантрическое Зеркало Дурги и Маленькое Сердце с красной жидкостью, безразличием, темной сердечной сухотой, стыдом именно так, безразличием, темной сердечной сухотой, стыдом омрачена сама ее жизнь. Но, как сказано в Бхагават-Гите, то, что ты в омрачении не хочешь делать, ты так или иначе сделаешь вопреки себе.)

¹ Королевские знамена подняты (лат.). Название знаменитого католического гимна.

(Третий отрывок из сверхконфиденциального досье, именуемого «Танго для Кали», — письмо Марины д'О из Рима к Францу Беллони от 10 октября 1968 года. Зачем я привожу его, зачем и почему именно здесь? Предпочитаю не отвечать, а скорее *scendere a valle, di notte, per sentieri gelati e rischiosi*¹.

Предупреждаю читателя: прочитав чужое письмо, я поступил непорядочно, и от мерзости моего поступка у меня разрывается сердце. Невыразимые, глубоко бессознательные, рассеянные, прежде всего вопреки мне самому, истоки моей печали и какая-то легкая, едва ощутимая грусть — все это столь же могущественно и пронзительно, сколь и воля самому свободно сделать выбор между жизнью и смертью, когда все разыгрывается или уже разыграно внутри меня и вокруг.

Как ты мне позволил уехать? Разве ты не тот, кто все знает и всегда будет знать? — Марина д'О к Францу Беллони из Рима, 10 октября 1968 года.

¹ Сойти в долину ночью тропой скользкой и опасной (*ит.*).

Знал ли он о ней *все*? Обрел ли в конце концов *полное знание*? Я так не думаю. То, что она *и хотела, и не хотела* говорить любимому человеку, в конце концов и приведшему ее своей иступленной, беспамятной и безвозвратной любовью к смерти, как, впрочем, и она его, мне слишком хорошо известно, поскольку 28 октября в Риме, в отеле у четырех фонтанов, «Куаттро фонтан», в номере 153, специально для того предназначенном, если угодно, она была со мной.

Но разве мы все после этого еще не мертвы? Разве наша прекрасная древняя вера, как и вся наша жизнь, не порушены безвозвратно? Разве что-то еще осталось в нас, не превратилось в совсем иное, чуждое нашей тайной, светоносной и могущественной идентичности, неисследимо жившей в нас все эти годы ясности?

Почему, почему все так? Что-то внутри меня говорит мне: нельзя, чтобы *человек могущества* встретил в самом себе *человека ведения*. Но это каждый раз все равно случается, когда приходит живая любовь, и что есть могущество, а значит, и ведение без любви?

От чтения этого письма во мне не осталось ничего, кроме разве что лица, залитого слезами, которые, впрочем, от невыносимо горького вкуса моих древних поражений становятся — зачем лгать? — уже не моими, расширяющей свой оком тайной забвения, спасительного и в основе своей пребывающего по ту сторону самого себя, по ту сторону всего: когда-нибудь мы окажемся у завершения пересохшего океана этой жизни, застыв-

шего отсутствием жизни, последние слова о которой нам никогда не откроются, окажемся одним скачком — ибо, как и всякое продолжение *иного*, глубокое забвение всегда есть бросок — и, так или иначе, *узнаем, в чем дело*. Но то, что мы все *еще* узнаем, а я уже знаю, на самом деле и есть оружие в тотальной онтологической войне, каковое можно использовать только совершенно сознательно. *Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так, что сделался большой голод по всей земле; И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую; Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемии Сириянина* [Лук. 4:25–27].

Оказавшись в Риме, Марина первым делом, повинувшись изящному капризу, отнесла свою кошку в специальное заведение, где ее побрили, а после мы накачались шампанским, что повторялось потом каждую ночь, когда мы валились прямо на пол, точнее, на традиционный для отеля «Куаттро фонтан», белый с зеленой каймой, палас.

А каждый следующий день, к трем часам пополудни, нас приглашал выпить кофе на площади Виктора Эммануила Юлиус Эвола. Крепчайший во всем Риме напиток, восстанавливающий силы на весь оставшийся день. [Эвола прекрасно знал, зачем его заказывает: он хотел, чтобы мы после бурной ночи могли заняться работой, и для меня не составляло секрета, что Марина готова в интересах дела исполнять некоторые, именуе-

мые им «тантрическими», просьбы, и, возможно, она не только была готова их исполнить, но и исполняла.]

Выпив с нами кофе, так называемая Марина д'О затем исчезала и часто к пяти пополудни отправлялась в зеленые окрестности Рима, где предоставляла себя в распоряжение внутреннего круга Церкви Заговорщиков, в то время как я примерно с той же частотой посещал полные сладковатого запаха и одновременно зловонные коридоры Генерального штаба [откуда, впрочем, нередко перебирался со многими из моих золотопогонных собеседников под сень листвы, в беседку, где мы проводили время за сливовицей].

Что касается упоминаемой в письме загадочной истории о самоизувечивании некоего Ж. П. в Испании, то я ничего не понимаю, действительно ничего. Не скрывает ли рассказанная Мариной д'О история некий *высший код*, внутри которого спрятан еще один, заключающий в себе — почему бы и нет? — третий? В любом случае, сам термин *самоизувечивание* должен подразумевать в конечном счете совсем не то, что принято под ним понимать в самом традиционном, я бы сказал, *поносно-тошнотворном*, смысле.

Следовательно, и все письмо сверхзашифрованное и практически не поддается *декодировке* — вопреки его слишком очевидной, даже грубо откровенной прозрачности. Впрочем, говоря о невозможности его декодировки, расшифровки, я имел в виду, что речь идет не о традиционном шифре, используемом, как правило, в секретной переписке, где обычная терминология, сле-

дую в конечном счете конвенциональной структуре, подвергается мультипликации или же более или менее структурированному искажению ее смысла, а совершенно новым по смыслу. Шифре абсолютно авангардном, как я его называю, семиологическом, ибо кодируется сам язык, причем на уровне смысла — общего, универсального смысла, когда это уже и не язык вовсе или же особый язык, предназначенный не для продолжения, а для прекращения сообщения и для иного, переиначенного переприспособления. Так, в качестве основы семиологического шифра, занимающего промежуточное положение между языком как сообщением и языком как передачей, утверждается разрыв: сообщение и передача диалектически разделены и противостоят друг другу, поскольку передача устанавливается и действует исключительно на основе абсолютного разрушения сообщения. В результате появляется новый язык, подчиненный новой основной оперативной цели — не прямого и свободного распространения послания, но его преднамеренного переворачивания, заложенного как раз в прозрачности его искажения и необратимого подчинения движущим силам одного-единственного, тайного и как бы вовсе не внезапно, *не неожиданно* образующегося транслирующего канала, для коего приемлема лишь *фигура отсутствия*: при этом можно засвидетельствовать как раз совершенно точную передачу необходимого сообщения или послания. Но именно в этой прозрачности исчезает и аннулируется то, *что не есть послание*, и вербально передаваемое через саму *передачу* несказанное становится как бы принесенным в жертву и тотально самоизувеченным, годным к использованию истинным посланием.

У меня есть чувство, что попавшее ко мне письмо Марины д'О к Францу Беллони из Рима от 10 октября 1968 года суть указание на ее же собственную изнанку. Какая, впрочем, теперь разница? Письмо давно почернело, сгорело, превратилось в пепел, то есть *обращено во прах* — уже давно, до того, как оно было написано, — и письмо это, не существуя вовсе, только кажется существующим.

Но вот что важно сейчас. Отсодомированная, даже очень нежно, Марина всякий раз становилась потом на колени, пребывая в почти обморочном состоянии, как говорится «умирая со стыда». Что может более властно призывать к воздержанию, быть святым для молодой и очень свободной женщины, в чем-то даже — по краям ее сущности — путаны, чем этот стыд, в его самой простой сути, в его прекрасной не-вменяемости, в тайне и головокружении — сущностно и неопределимо девственных — всего того, что в этих случаях исчезает, поглощаемое исключительно любовью? Но разве любовь не есть в этом случае что-то иное, кроме желания, Вечного Желания? Более того, при том что — это не секрет — Марина, любя меня, *любила не меня*, в самой *передаче* желания уже не оставалось места ни для любовного *сообщения*, ни даже для его теней, и всякое возможное безразличие во время акта бывало с самого начала разбито, обращено во прах и отброшено. А когда надо было начинать снова, наша ненависть и воля погружали нас в невидимое, в пребывающую и действующую в нас самих и повсюду вокруг тьму. Такую, какими были ночи тогда, в октябре, в отеле «Куаттро фонтан». Но эта чернота, как мы

шутили, приходила не тогда, когда мы кончали, а за мгновение до этого. Свободные любовники в свободной гостинице — и так или иначе намеренное приближение к старинному девизу совершенно уже иного порядка.

Маркиза Адельфа в черном
черные свершала приношенья
для Того, Кто уста сомкнул
в Венеции, где Толпы Гул.

По всей видимости, высшие добродетели как таковые и их вкус можно реально ощутить лишь гнилым нёбом конвульсионеров маркизы Адельфы, а если точно, то во Дворцах Конвульсионеров¹ — некоторые из них, прежде всего в окрестностях Рима, мы посетили, дав при этом кое-какие двусмысленные, нескромные и огнеопасные обеты. И, как полагается, *разбили их острогой* — ужасная невежливость!

Оказалось, однако, что Марина ничего не знает о подземных взаимоотношениях и взаимодействиях Матери Иоанны Агонии Христовой и Кардинала Мух, а я не знал о том, что она была заранее предупреждена о *запланированном провале* моей работы с Генеральным штабом над *проектом «Галактика»*. Нам бы следовало меньше заниматься любовью по ночам, распахнув окна, выходящие на тихую и темную улицу Четырех Фонтанов, и больше конспирироваться среди дня, задернув бело-зеленые шторы, пропускавшие лишь

¹ Автор обыгрывает здесь слово palais, которое может означать и «нёбо», и «дворец». Конвульсионерами называют доходящих до судорог в молитвах католиков (особенно янсенистов).

рассеянный, глубокий, молочно-кувшиновый, как у лесного озера, свет.

Но время вспять не повернется, равно как не вернуться все, кто спит сладким сном на венецианском кладбище для иностранцев, расположенном на отдаленном маленьком острове за чертой города, медленно погружаемся, словно в чашу, в непрерывное, пышное, экстатическое и сумеречное забытьё.

Когда я стоял возле больницы, шел снег, и под снежными хлопьями вода огромной лагуны справа от меня казалась кожей морской змеи, покрытой вперемежку рядами черной и зеленой чешуи. Снежная белизна не могла охватить эту абсолютную ночь, ибо та была последней.)

16

я подстерег смущение, о переворачивание
раздробленного Плеча
над покинутой мною областью сострадания,
в кустах ежевики

Ж. П.

Дополнительное замечание

(Пора идти, Королева ждет меня, я должна жить и умереть за нее, — записала 15 октября 1791 года в Экс-ла-Шапеле Мария-Тереза де Савуа-Кариньян, принцесса де Ламбаль.

Хотя основное действие фильма «Танго для Кали» сводится к представлению вовеки неискупимых кровавых событий заранее предусмотренного уничтожения последних царствующих Капетингов, тот факт, что ужасный водоворот этих событий до сих пор тайным образом сопровождает противостояние вовлеченных в игру антагонистических могуществ, свидетельствует о следующем: фильм оказывается посвященным не только Концу Монархии по Божественному Праву во Франции — через саму демонстрацию, и по ту ее сторону, фактов, исповедей, аллегорий и притчей, сколь бы мучительными ни были эти последние, касающихся немислимых страданий Людовика XVI, Марии-Антуанетты и их наследников крови, — «Танго для Кали» также имеет самое прямое, активное и даже конспиративное отношение к нынешнему положению дел в большой политике Франции, Европы, выходя на последний уровень Мировой Истории в стадии ее конца, ибо весь фильм и замыслен как акт вовлечения в ее неотвратимое апокалиптическое свершение. Таким образом, все в нем строго аутентично — как само Цареубийство, так и его литургическое удвоение: Цареубийство, а затем его отрицание вызывают в истории непрерывающиеся реверберации, проявлением которых становится субверсивно нелегальная, мирового значения, деятельность двух противостоящих

станов. *Противостоящих станов*, каковые, вопреки их иногда противоположным по сути обличиям, остаются теми же самыми, причем *абсолютно теми же самыми, что и тогда*.

Следовательно, именно неизменность сверхусиленной конфронтационной структуры на протяжении веков и составляет истинное содержание «Танго для Кали», которое должно однажды безжалостно раскрыть сокрытое в рамках прямого и непосредственного действия, стоящего за сущностно и тотально субверсивной постановкой этого фильма, уже определенного как *непохожий на другие*, фильм сам по себе [даже то, что это вообще фильм, трудно доказать].

Режи Девре: *Только призванные призывают; кто сам не слышит, не будет услышан никем. И еще: Самоотверженность ячейки, находящейся в опасности, возвышает ее способность к жертве и способность к смерти [одного не может быть без другого].*

Вопрос в том, пишет Режи Девре, почему наше самое архаическое прошлое все мощнее вторгается в нашу современность?)

Ж. П.

Отель «Куаттро фонтан»	Рим
Улица Четырех Фонтанов, 149а	Тел. 474936–479571
Телеграфный индекс Fontanotel	479559–481483

Рим, 10 октября 1968 года

Любимый!

Никогда небо над Римом не было столь чистым и высоким в его вечной, чуть отдающей медью, сладости; прекрасное, сияющее осеннее солнце экстагически, мучительно бело; я тебя люблю, Франц, обнимаю и благословляю и посылаю тебе лучшие ароматы Пьетро ди Сан-Сильвестро, от которого только что вернулась, поужинав с нашими дорогами ирландцами.

Вчера вечером, по прибытии сюда, я была крайне раздражена и обескуражена, поскольку к нашему возвращению из Ниццы номер в «Англетере», где, как ты знаешь, я люблю останавливаться, когда бываю в Риме без тебя, оказался занят. Однако мне представилась неожиданная возможность остановиться в неплохой гостинице на другом конце города, у четырех фонтанов — если ты помнишь, в первую нашу поездку в Рим мы жили именно там, — и я заняла прекрасный номер, 153-й, очень элегантный, *очень римский*, бело-зеленый, к тому же, как теперь говорят, «со всеми удобствами». Questa operazione pero comportava un grave rischio¹. Впрочем, будет видно.

¹ Эта операция, однако, несла в себе серьезный риск (*ит.*).

Одно меня, правда, удивило: как я узнала, Жан д'Альтавилла забронировал этот номер на двенадцать дней и покинул Рим ровно за день до моего приезда, вчера пополудни. Не знак ли это судьбы? Суди сам.

Сплетения обстоятельств на самом деле становятся все более странными, даже тревожными. Представь себе, роюсь в гостиничном бюваре в поисках почтовой бумаги для письма к тебе, я неожиданно обнаружила среди других листов забытый черновик с записями — даю обе руки на отсечение — Жана д'Альтавиллы, нашего старого соратника и друга.

Помеченный вчерашним числом, но не подписанный, этот черновик, как мне представляется, есть своего рода *конспект секретнейшей генеральной исповеди* или чего-то в этом роде, и, на мой взгляд, он имеет крайнюю важность (в немедленной или ближайшей перспективе).

Для пользы дела вот копия — надеюсь привезти тебе оригинал. Особо хочу обратить внимание на деятельность Жана д'Альтавиллы, бесконечно секретную и в то же время крайне криминальную.

Вот полная копия этого текста, озаглавленного *Пять кинжалов, вонзенных мной в Страждущее и Обожаемое Сердце Скорбящей Владычицы Альмуденской*

1. Сомосагуас, 13 декабря 1961 года, в день Святой Лючии. Жан П. вбил себе в голову самым возвышенным и прекрасным, непреклонным, мистико-экзгибиционистским образом признаться Лючии Бозе в том, что

применяет активные практики и потому подвержен состояниям очень тяжелого и абсолютно *решающего* самоизувечивания. После приема для очень узкого круга у Каудильо, во дворце Прадо, охваченная ужасом Лючия Бозе открыла все Карменсите Франко, взяв с нее обещание хранить тайну. Эта последняя предложила исповедать все тут же, на месте, и ради этого предоставила свою комнату для ночлега брату Хусто Пересу де Урбелю, митрофорному аббату монастыря де-ла-Валье-де-лос-Каидос, присутствовавшему на том же приеме. Брат Хусто Перес де Урбель сразу же направил сверхконфиденциальную информационную ноту Фернандо Эрреро Техедору, вице-министру Национального движения и первому прокурору Секретного антимасонского трибунала (официальное название Постоянного представительства конгрегации по делам вероучения, иначе говоря, Святейшей инквизиции, в Мадриде).

Двумя днями позже в монастыре де-ла-Валье-де-лос-Каидос имели место долгие специальные допросы Жана П., после чего брат Хусто Перес де Урбель в строгой тайне передал последнего под охраной нескольких следователям в масках, среди которых были две женщины.

Все это оказывается тем более волнующим, что в том же самом монастыре де-ла-Валье-де-лос-Каидос тем же самым митрофорным аббатом братом Хусто Пересом де Урбелем Жан П. был торжественно посвящен, а затем перепосвящен в Капитаны Крестового Похода, высшую степень королевских различий параллельных иерархий, управляемых *Неименованной Властью*, очень тайно действующей в недрах франкистского режима.

В этом и состоит причина, по которой, как теперь уже можно открыть, исключительно благодаря лич-

ному, решительному и тонкому, вмешательству самого Каудильо Жан П. сумел, так или иначе, к счастью или несчастью, избежать ожидавшего его, сколь темного, столь и самоубийственного, любовного допроса. Ибо увечья остались, и раны, и стыд, пламенный, но бесполезный. Эти женщины слишком ослепительны, слишком сладки, слишком жаждут стать — в конце концов они и стали — роковыми.

2. Подтверждаю: я в курсе того, что юная Диана де Шандон де Бриан, которую повесили в Нью-Йорке, в гостиничном номере, еще в 1954 году или двумя годами ранее тайно просила о Посещении, никоим образом не желательном.

3. Меня преследует почти невыносимое воспоминание об Н., старшей дочери четы сторожей часовни Владычицы Нашей Млекопитательницы, в Мадриде, расположенной на широкой трассе, где начинается Касадель-Кампо. Низкая, подстриженная, опаленная красным солнцем мадридской осени трава; бурая, цвета жареной печени, галька. Вспоминаю длинный кровавый след, тянущийся к яме. Я не был с этим согласен, я был против. Но решение было принято узким кругом, и я вынужден был подчиниться. Следовательно, я также это сделал. *Tened piedad*¹.

4. Мадрид, апрель 1962-го. Ночь кровавых разборок за *Viombo Chino*², на Гран виа. Ночь огня, почти по Паскалю, которую мы в конце концов оросили самой обильной и самой красной, самой свежей кровью Жемчужины Манагуа. Ее сдавленные крики, ее по-

¹ Прошу о милости (*исп.*). Форма испрашивания прощения при католической исповеди.

² Китайская вуаль (*исп.*).

следний крик. В самый момент перехода — великолепное затвердение ее сосков в темном, фиолетовом, ореоле. Я знаю, слишком хорошо знаю, что коснулся неба, а небо коснулось меня. *В самый момент*, я хочу сказать. Помилуй, помилуй!

5. Слишком юная и слишком прекрасная еврейка с плача Мануэль Бесерра, больная; слишком быстро пришедшее утро, грязь чернее чернил. Вспоминаю ужасающее самодовольство от осознания *достигнутого состояния*, подобного которому ранее никогда не испытывал. Бросили на землю в чахнущем под ветром туево-пихтовом перелеске, за аэропортом Барахас. Вода, не переставшая заполнять яму, сочилась из-под земли. Всю неделю, всю ночь шел дождь. На заре он прекратился. Вокруг нас, на деревьях, немислимый собор птиц, какие только есть, кричавших и певших. Внезапно они все как одна взмыли ввысь. Остались лишь вопли ледяного ветра, пересекавшие обнаженные плато. Tened piedad.

Я сказал то, после чего все остальное, полагаю, не имеет никакого значения, абсолютно никакого. Остается только молить о прощении — обретении его неведомыми путями или в обмен не важно на что. Молить не Бога, но Церковь. Ибо я не смогу вторично жениться, ни в Мадриде, ни где-либо еще в Испании, не причастившись Святых Тайн, а как это возможно без Генеральной Исповеди? Мой нынешний брак прямо и драматически связан с Интересами Государства. Следовательно, я должен просить о помощи Дворец Святого Креста, просить о посредничестве самого министра, ветерана Голубой дивизии. Virgen de Almudena, piedad¹.

*(Конец черновика, приписываемого
Жану д'Альтавилле)*

¹ Девственница Альмуденская, помилуй (*исп.*).

Это всё, но для меня именно это очень важно. Я знаю, будут новые приношения, возможно решающие. Мы об этом поговорим, хорошо? Бумага эта меня очень сильно напугала, Франц, я бы так хотела, чтобы ты был рядом. Я боюсь, понимаешь?

Но перейдем к сути дела, к моей двойной римской миссии. Ход вещей здесь исключительно позитивен, я в этом почти уверена.

Во-первых, на виа Аурелиа после четырехчасовых обсуждений и уверток все закончилось тем, что мы пришли к согласию, добились полного принятия того, о чем просили. Перечисление будет сделано завтра, как ты и рассчитывал — в Бале. Это, без сомнения, твердое обязательство.

Во-вторых, получен благоприятный ответ на наш запрос по поводу досье, касающегося одного из высоких прелатов курии, которого мы называем Кардиналом Слепней. Мне были даны твердые заверения: никогда Кардинал Слепней не взойдет на Престол святого Петра. Если же все-таки они не поймут, какое величайшее зло из этого проистечет, если все-таки рискнут его возвести, придется прибегнуть к тайным, но безотказным средствам, испытанным на протяжении веков. Есть и особая информация. Ситуацию в целом нельзя назвать безопасной. Тайный советник Кардинала Слепней, Кардинал Мух, оказался на самом деле основным ставленником Соединенных Штатов: таким образом, основной ставленник банка Святого Духа есть также человек Соединенных Штатов, а человек Соединенных Штатов есть также человек Банка Святого Духа. А над

всем этим все более угрожающе простирается субверсивная тень банка «Амброзиано», оккультные командатории которого нам еще не известны. К счастью, как мне сказали, Верховный Понтифик *все знает*.

И, наконец, на заре, после долгой и разнузданной оргии, происходившей на одной из патрицианских вилл в окрестностях Рима, Кардинал Слепней, не колеблясь, как мне рассказали на виа Аурелиа, написал своей рукой вот этот прекрасный, более чем разоблачительный *октосиллабический* катрен из Черной Книги маркизы Адельфы, одной из величайших, если не просто величайшей, некромантки Вечного города.

Маркиза Адельфа в черном
совершала приношенья
для Того, Кто уста сомкнул
в Венеции, где Толпы Гул.

Разве это не страшно? Разве ты не понимаешь? К тому же мать Иоанна Агонии Христа дала мне знать, ничего, правда, не показав, что написала тебе письмо, в котором, от имени верховной короны тех, кто на виа Аурелиа, равно как и от своего собственного, просит, настаивает и умоляет, чтобы мы как можно скорее поженились.

В письме подразумевается, что, если мы срочно этого не сделаем, они прекратят всякие отношения с нами. *Всякие отношения* — значит, и те, которые мы считаем самыми важными для нашей общей борьбы за Regnum Sanctum.

«Видите ли, есть вещи, — призналась мне мать Иоанна Агонии Христа, — которые Церковь пока еще не может принять».

Что делать? Я не знаю. Я очень хочу спать и ни о чем не думать.

С другой стороны, я заметила, что в письме каким-то очень тревожным и в то же время очень многозначительным образом все — или почти все — вращается вокруг каких-то препятствий к браку. Но я не могу уже больше писать по-французски, сон уносит меня, как вихрь подхватывает охапку соломы. Этот вихрь еще не очень силен, но вот-вот усилится. В душе у меня образ несчастного падре Пио, книгу которого сегодня утром дал мне Джулиано Карадонна. Отыскиваю некоторые места, и они повергают меня в слезы: *Ничто не может рассеять глубокой тьмы, в которой я нахожусь. Кажется, вот-вот меня поглотят воды скорби. Я истощен, лишен сил, физических и моральных, я молюсь, но в ответ ни одного луча света с высоты; я беспрерывно взываю о помощи к Всевышнему, и гортань моя иссохла. Боже мой, кто освободит меня из этой страшной темницы, из этого двойного Ада?* Это слова самого бедного падре Пио.

Что мне остается делать? Ты же знаешь все, подскажи.

В любом случае я приеду в Баль раньше тебя. Жду тебя 24 октября в полдень в «Золотом ключе» к обеду.

Франц, я не могу больше жить без тебя ни минуты. Я крепко тебя обнимаю, любимый, до скорой встречи!

Твоя Марина д'О

О метаисторическом концепте обращения во прах

Вопрос в том, почему наше самое архаическое прошлое все мощнее вторгается в нашу современность?

Режи Дебре

Я восстанавливаю то, что принадлежит не мне, — написала дожившая до нашего времени свидетельница Фатимского чуда Лючия душ Сантуш, в постриге сестра Мария-Лючия Непорочного Сердца, затворница монастыря кармелиток в Коимбре, еще в 1941 году епископу Лейрийскому. Однако если я рискну повторить эти слова за ней, то постыдно и преступно солгу. Ибо я решил все разбить; я прекращаю даже публикацию досье «Танго для Кали». То, что принадлежит не мне, я более восстанавливать не буду. Я сохраню это для себя, сохраню это для нас.

Из всего похищенного мной при очевидно провиденциальных, уже описанных в этом повествовании обстоятельствах я привел только три документа. Публиковать все остальное как оно есть представляется мне совершенно невозможным. Причем еще очень долго — при нынешнем положении вещей.

В действительности большинство лиц, участвовавших в этом деле, уже умерло, причем каждый раз происхо-

дило это при обстоятельствах более чем темных и драматических. Однако все это время, все последующие годы очень многое фундаментально решающее на уровне великой тайной истории, на уровне транстории двигалось в точности по линиям магнетических сил, предусмотренных и субверсивно запущенных в действие Францем Беллони, который вскоре, спустя два года, исчез бесследно.

Итак, я *останавливаюсь*.

(С другой стороны, я должен открыть, что в ночь возвращения Анн-Мари де Л. в Усадьбу Милосердия, в Версале, Лючия также исчезла. Исчезла, как будто никогда не существовала, как будто небеса и земля, ожидающие ее, внезапно разверзлись, чтобы ее поглотить, решающим образом вывести из этого мира и, прежде всего, из досягаемой для меня области, сделать ее для меня неприкосновенной.

Все мои дневные и ночные исследования последнего пароксизма безумного желания, нечеловеческой, сверхчеловеческой и противочеловеческой воли, жившей во мне и лихорадочно пожиравшей меня изнутри, ничем не увенчались или, как говорят, увенчались трижды ничем. Что бы ни случилось со мной, мне стыдно говорить об этом, стыдно даже снова об этом думать.

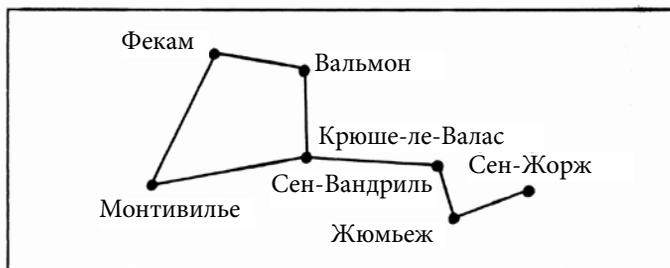
Если что-то изменится прежде, чем эта книга уйдет в печать, я, возможно, добавлю эпилог. Разве любой эпилог не ключ к Тайной Двери?

Для меня абсолютно невыносимо сознавать, что повествование об этом прекрасном философском приключении стало констатацией полного поражения, ибо если нет полного ничто, то тем более не бывает и полного поражения.

Хотя я получил указание на некий след, очень зыбкое и слабое, словно последнее дыхание умирающего, единственное данное мне в то время: в поезде, следующем из Рамбуэ в Париж, я однажды обнаружил на скамейке прямо перед собой кем-то забытое или *умышленно оставленное* карманное издание «Графини Калиостро» Мориса Леблана.

Там, в верхней части триста шестидесятой страницы, где изображено то, чему Морис Леблан дал довольно странное название — *каббалический чертеж Большой Медведицы*, было зелеными чернилами написано: *Лючия, плоская крыша Башни Ветров над Ямой Шести Гниющих Трупов, которые плачут и кровоточат.*

Надпись эта была для меня абсолютно темна, однако с самого начала я чувствовал, что в вагоне витает всепроникающий запах гари, это было просто какое-то царство горелого.



Знакомый со специальным языком известного рода огненной философии, могу сказать, что на самом деле идеально определил трансцендентный уровень, на котором смысл этого послания может даровать новую жизнь, свободу и спасение. Речь идет о смысле, не имеющем при этом какого-либо отношения к моим нынешним поискам Лючии, чье исчезновение связано с самым низким подлеском субверсивного, разделенного, отчужденного существования, но вовсе не с горными лугами бытия.

В то же время мне приходит на память нечто далекое, неуловимое, но все более настойчиво заявляющее о себе и имеющее отношение как раз к этому запаху горелого, паленого, равно как и к какой-то забытой, сделанной также зелеными чернилами старинной надписи. Но что это за надпись, в какие былые времена она начертана? Воспоминание это, как мне кажется, принадлежит не мне. Кому-то окопавшемуся *в глубине меня*. Поблекший образ заросшего оранжевым лишайником крыльца, виднеющегося в пространстве полуоткрытой в знойное лето двери; где-то рядом — медленная сверкающая река; и что-то приближается *оттуда*, с другого берега, сквозь заброшенный, очень старый парк; вот оно молчаливо приближается, чтобы *вовремя поспеть* и войти, подобно великой бездне ночи, подобно стоку мокрого гравия, в недра груди. Воспоминание о роковом мгновении, когда в кромешной тьме угасающий голос читает письмо, написанное зелеными чернилами.

В послании, столь таинственно обнаруженном мной в вагоне поезда Рамбуйе — Париж, к несчастью, речь

идет всего лишь о толкуемой in principio эмблематической префигурации, не имеющей никакого отношения к прямому поиску кого-либо конкретного, принявшего решение раствориться в неведении, сокрытом внутри космогонического начертания, непосредственное познание которого для меня означает ускользание, помрачение, кальцинацию бытия. Каковые всегда происходят, когда кто-то скрывается или кого-то силой скрывают где бы то ни было — в этом мире или в ином. В месте, откуда мне, возможно, и пришло начертанное зелеными чернилами подтверждение и указание на ее высылку, пребывание, удвоение в области, связанной с Большой Медведицей, где-то *там*.

Чьей же тогда упорной соучастницей является Анн-Мари? Почему она отказывается хоть как-то поддерживать меня в безутешных поисках пропавшей Лючии? Всякий раз, когда я заговариваю об этом, она, вопреки всякой очевидности, постыдно настаивает на том, что Лючия уехала к себе, в Португалию, по причинам известным ей одной

)

(Но ведь после всего я получил письмо. От нее, знаю. Разве оно не спасло меня? Вместе с письмом Лючии я обрел саму жизнь)

(день Владычицы Нашей Милости, Париж, 16-й округ, улица Благовещения, 8; *да изменится сердце его в его груди*, пишет она, *да станет его сердце из мертвого камня сердцем из живой плоти, сердцем из плоти горящей и сияющей*)

(Конец великого страдания, когда он действительно наступает, заключается в том, что он чрез длительность приведения самого себя к отречению, *во прах*, порождает и сублимирует еще более великое страдание. Если все это так или иначе должно кончиться, спросим мы, то почему следует пройти сквозь весь этот ужас, черную тоску, стыд? Тем более что всех этих ночей, однажды оставшихся позади, как будто и не было никогда, а вещи, являвшиеся извне, издалека, часто постыдные, как будто и не являлись. Ибо таково последнее знание о великом страдании, основанное на сознании абсолютной бесполезности этого страдания, которое в точно известный миг, когда оно устанавливает свою власть, становится — чрез своего рода искупительное удвоение, внезапная вспышка которого яростно обнажает его на краю его собственной темной бездны, возвышает его до черноты его самого, этого удвоения, его собственной, чернее черной черни, черноты, а затем покидает и аннулирует, — пламенным порогом истинного страдания, *страдания после конца страдания*, с его ледяной, стеклянной короной и роскошным погребальным гербом. Оглядываясь назад, вижу там, словно сон во сне, свору теней, их бал, растворяющийся в растворяемой полутьме зари. Так нужно ли было, чтобы ко мне пришло это глубокое забвение, которое всего лишь иная смерть уже живущей во мне смерти?)

65

Словно похищенное у прошлого, это утро в точности такое же, как очень давно на вокзале в Турну-Северине: первый, единственный, контроль, а затем более ни одно-

го — кого спросить, как узнать, не знак ли это их молчаливого согласия на наше тайное бегство ранним утром к широким пустырям по ту сторону железной дороги, в наполненные ужасом и черным ветром выжженные поля и пустоши вдоль Дуная, дающие шанс — возможно, сомнительный, слабый, мучительный, подозрительный и грязный, даже низкий — на спасение после отказа в последней мольбе о последнем спасительном *снисхождении*, после безвозвратного *затворения* дверей спасения как такового. Но вот само спасение, возможно ли оно вообще?

66

С другой стороны, мы, по крайней мере некоторые из нас, — потомки беженцев из сгоревшей Трои и не можем не знать, что конец всего уже решающим образом предreshен, причем назначен на самые ближайшие сроки. Так, впредь годы, лишённые всякого уловимого и определенного содержания, всё более фантастические и как бы привидевшиеся во сне, будут бежать все быстрее — один за другим, один короче другого.

На самом деле мы не проиграли нашу игру — это она, оставленная нами, нас проиграла, нас в нашей борьбе, а вместе с нами — и весь наш мир. Но будем спокойны: пока вертится мельница, дует ветер. Потомуждеждемся, еще способные хотя бы на это, конечного мгновения конца всего.

Тогда, и только тогда, нам будет позволено с ясной и светоносной уверенностью понять, кто на самом деле одержал верх и *кто есть кто*.

Так, вокруг меня неотвратимо сжимается космическая ловушка моей судьбы. Ибо, если существует конечное освобождение нашего мира и истории, предусмотренное как часть грядущего всеобщего космического освобождения — нового, тотального, решающего, — то историческое, свехисторическое *свершение* этого Великого Освобождения будет явлено как возложенное поручение и исполненное задание запуском новой Живой Мистерии. Я говорю о космическом Великом Освобождении, которое уже на марше и призвано, что со всей несомненностью вытекает из него же самого, безгранично противостоять тому, что ведическая традиция *наших* именует Великим Растворением, Mahapralaya. Обращению во прах. Следовательно, я говорю именно о космическом Великом Освобождении на марше как запуске новой Живой Мистерии. Новой Живой Мистерии, которая не может состояться и тем более действовать и сознать себя иначе как чрез обретение определенной и точной экзистенциальной идентичности, не может состояться без самоопределения в частном опыте, в личном бездонном приключении, вменном каждому из участников тайной любовной встречи, опознаваемой в качестве несущей в себе и призванной через перемены «в час, предусмотренный после свершения всей вечности» открыть настоящее лицо этого мира и тайного устройства правящих им небес. Если Великое Освобождение достигает космического противостояния Великому Растворению, то только по мере того, как

в час конца всего и уже почти *в час вне часов* Великое Освобождение оказывается вовлеченным в свершение Живой Мистерии собственной непосредственной исторической проекции, ее прямого, кровавого и трепещущего экзистенциального воплощения — проекции и воплощения, со всей очевидностью имеющих отношение к космическому свершению predetermined, любовной, брачной и трагической встречи, точно так же как и тайная, непосредственно глубинная, сквозь годы, сквозь ночи одной жизни личная история, история личного становления «здесь и сейчас», живая плоть и живой прах единственной страсти, единственного желания и в равной степени единственного безумия.

Между тем, помимо того, что я еще могу и решаюсь сказать, есть вещи, бесконечно большие теологически приемлемого и даже с трудом теологически приемлемого. Поэтому в этот опасный час, когда губительные рифы встают на путях пробужденного сознания и наших древних сновидений, следует иметь внутри себя великий страх и уметь, говоря об этих вещах, должным образом их скрывать.

Фундаментальным вопросом мне представляется следующий: почему Лючия исчезла, почему Лючия *сбежала*? И, прежде всего, почему, сбежав, полностью и философски растворившись в собственном безумном меркуриальном вечном отсутствии, а также и отсутствии этого мира — и меня в нем, — куда она все равно должна, обнаружив все это, возвратиться сквозь мировые потемки, она не появляется вновь? Почему, как предусмотрено, не возвращается по прошествии «мертвого сезона»?

Разве не было незыблемо установлено, что любовное сокрытие той, кого наша огненная *Philosophia Ardens*¹ называет Посланицей Солнечных Гор, — я имею в виду нашу Деву Солнца, нашу Служанку Солнца, даже, можно сказать, нашу Португальскую Служанку, — есть не что иное, как брачное предсокрытие ее будущего вечно всесолнечного нового явления и, я бы сказал, предсокрытие открытия ее полного любовного, страстного и эротического, даже проституированного и порнографического, объятия, ибо, как мы на самом деле знаем, существует и божественная порнография, и божественная проституция, причем и та и другая связана с Единым Заданием Единой?

Иначе говоря, почему в этой тенистой и освежающей последней случайности прекращает свое действие правило философской игры, предлагающее в качестве завершения императивное длительное и по-звериному насильственное повторное овладение процессом растворения ради аннулирования его же самого самым фактом противорастворения изнутри, посредством *огня поядяющего*, вмененного горним тинктурам столь же бездонной мистерии сгущения, сущностно известной нам как некое вполне определенное *перемещение в окончательное тело* живых, кровоточащих и пульсирующих юных и прекрасных тел, восстанавливаемых во славе уже тогда, когда они еще абсорбируют легкую, на самом деле черную, тинктуру?

И если эта мистерия более невозможна, то какой последний философский смысл заключен в самом пре-

¹ Пламенная мудрость (*лат.*).

кращении философского делания? Не он ли и есть истинная *mysterium tremendum ultimum*¹, о которой двусмысленно и смутно говорили великие мудрецы времен сумерек Александрии?

Я хочу сказать: разве истинное вступление на державные заповедные земли *живого завершения* делания, чаемое чрез увеличение его как делания огненного, не заключается отныне в самом неожиданном, непонятном и ошарашивающем в последнее мгновение преодоления делания как такового, даже чрез его brutальное прерывание и фактическое аннулирование?

Требуется ли делание остановки делания? Не следует ли «умереть миру» воистину — не для мира умереть, но «умереть миру» самому, то есть себе самому и покинуть? Не следует ли во имя конца в конце всего всему спасительному и освобождающему сочетаться браком со всем *не* спасительным и *не* освобождающим, с непонятным и темным течением жизни такой, какая она есть, какой будет, какой была бы и у меня, кабы не знал я тайны *крика с высот* и наносимой им неутолимой раны смерти прежде смерти, жизни после жизни?

Врата Фив не откроются ли в Мемфисе, а врата Мемфиса не откроются ли в Фивах? Я вошел в Фивы — войду ли в Мемфис?

¹ Последняя, приводящая в трепет тайна (*лат.*).

Разве не кошмар все эти искаженные и пылающие тени, проплывающие передо мной, словно при замедленном прокручивании фильма? «Шпионского гнезда в Салониках» или «Индийской гробницы», ее пышной первой версии с Ла Яной? Нет, не кошмар, но все во всем, черно-белый водоворот в *обрамлении* — вот о чем весь этот дневник, хроника жизни, забытой и незабытой. Хочу уточнить: концепт *обрамления* следует рассматривать в смысле, навязанном нам изданным в 1973 году и увенчанным премией Джона У. Кэмпбелла и премией «Аполлон» романом англичанина Иэна Уотсона «Запечатление».

Добавлю: именно под названием «Обрамление» вышел отличный французский перевод этого романа, которым мы обязаны Дидье Померлю (издательство «Кальман-Леви» выпустило его в 1974-м, а «Пресс-Покет» — в 1985-м).

Заемствую строки из перевода Дидье Померля. Они, я думаю, дают первое, более или менее приемлемое, приближение к смыслу концепта *обрамления*, а это все, чего я сейчас хочу.

Долгими часами Пьер устремлял потерянный взор в грязно-зеленый хаос леса, на мгновения, вспыхивавшие птицами, бабочками и цветами. Для постороннего взгляда это был действительно хаос. Но не для его духа — оттуда хаос исчез. Он выходил на другой уровень восприятия мира. Или, скорее, настойчиво цеплялся за воспоминания о таком восхождении. Воспо-

минания о запахе *мака-и* все еще пронизывали его ноздри, словно покусываемые мухами — как бы опиумными. День казался бесконечно долгим, не поддающимся измерению, словно поднимающийся из долины минувшей ночи отвердевший след тусклых и одиноких высот, причем ощутимая граница двух областей была покрыта туманом. Ему захотелось прояснить положение и сказать себе, что он благополучно и в нужный момент вышел из состояния, вызванного его опытом. Но граница исчезла из его памяти. Ночь не давала зафиксировать сказанные ей вослед дневные слова, ибо все пережитое было и шире, и опустошительнее. Восстановить какую-либо связь с этим было невозможно. Как если бы двухмерное существо попыталось выйти в третье измерение. Но тогда как бы могло оно, плоское, преодолеть свою плоскость и сказать, что по ту ее сторону есть что-то иное? Это иное было бы везде, нигде. <...> Именно в минувшую ночь он без усилия понял ранее не понятную ему поэму Русселя. Она открылась ему как обрамленная структура, структура в обрамлении. Она неуклонно пребывала единым целым, но в ней кружились эпизоды, которые открывались в другие эпизоды, а эти другие — в третьи, причем все в целом оставалось на месте. Образы поэмы, — он их уже видел — обрамленные, вставленные в оправу, перетекли друг в друга, объединенные вращавшимся возле оси, наиболее духовно обрамленной, зодиакальным кругом. Но здесь и поджидала ужасающая опасность. Как только он об этом вспоминал, его прошибал пот. Он сумел укротить поэму, а следовательно, и весь свой опыт только потому, что уже изначально познал разделенность. В точности как *ксемахоа* с детства знали разделенные элементы их зашифрованных мифов. Когда *ксемахоа* нарасспев читали свою многократно повторяющуюся футу-сюиту, он чувствовал, как дух его дает трещину, а затем

разлетается на части — во всех смыслах. Страх птиц перед утратой ориентации, страх самого себя и своей дороги в неразличимых пространствах джунглей. Кто умел загонять птиц, так это Кайяпи. Кайяпи чувствовал, что к нему пришли, брал за руку, вел к магнитофону, и так начиналась поэма. Кайяпи знал, какими тропами вести полки слов. Ведь именно он, все это зная, и привел Пьера в тенистый лес...

Необходимое уточнение. Поэма Раймона Русселя, о которой идет речь, — «Новые впечатления об Африке». («Пьер пришел с „Новыми впечатлениями об Африке“ в руках поговорить о жалобах любовника на свою госпожу, которая, досадуя на взаимные ссоры, никак не могла уже удерживать его в своей власти.»)

Морис Бланшо: *Мы пишем то, что мы есть; мы есть то, что мы пишем.* С тех времен, когда при удивительном участии Доминика де Ру я руководил выпуском «Черной серии» издательства «Л'Эрн», я слишком хорошо знал, по каким авангардным — субверсивно-лингвистическим — причинам издал Леонардо Скьячча «Акты, относящиеся к смерти Раймона Русселя». Скажу снова. Передовая революционная борьба, если угодно, планетарная лингвистическая война, объявленная Иэном Уотсоном в «Запечатлении», не успев начаться, подземным образом вызвала на оккультном фронте противодействие своим имперским стратегиям мифологических обрамлений нас самих в рамках Мировой Истории и в ее недрах со стороны Предшествующих Бездн и их галлюцинирующих запекшихся оболочек.

Но пусть вечное замедлится в пространстве одной жизни. Лет пятнадцать назад на страницах этого же непрерываемого дневника я исповедовался себе, призывая себя к «прямому поиску кого-либо принявшего решение раствориться в неведении, соткрытом внутри космологического начертания, непосредственное познание которого для меня означает ускользание, помрачение, кальцинацию бытия». Речь шла о временах и состояниях, «когда кто-то скрывается или кого-то силой скрывают где бы то ни было — в этом мире или в ином». Вспоминаю, *что* за этим следовало: «В месте, откуда мне, возможно, и пришло начертанное зелеными чернилами подтверждение и указание на ее высылку, пребывание, удвоение — в области, связанной с Большой Медведицей, где-то *там*».

Изменилось ли что-нибудь спустя семь лет? Разумеется, разумеется. И, так или иначе, очевидным образом. Впрочем, на уровне голых фактов не так уж и сильно. Через семь лет после побега в Версаль, обернувшегося побегом из Версаля, — я говорю о моем собственном побеге в Версаль, а затем побеге из Версаля той, кого называю Португальской Служанкой, — через семь лет после философского растворения Португальской Служанки на небесных высотах звездного скольжения моих темных меланхолий открылись уже иные следы.

Ибо «место высылки, галактического удвоения», которое мне куртуазно указали и как бы вменили для поисков, ныне относится уже не к Большой Медведице,

но к созвездию Ориона и любовные, даже прелюбодейные, махинации — я имею в виду ее утонченное, исступленное сближение и тайную со мной *встречу*, последовавшее за ней брачное *преследование* и, наконец, ею самую избранное отступление, *отступничество* и трагическое прерывание желания, не затихшего, не приостановленного, но быстро и с какой же беспечностью задушенного, да-да, по ее собственной воле — «тайной агентки» на службе Ориона, а еще точнее, Бетельгейзе. Тайной агентки Бетельгейзе, пришедшей и воплотившейся среди нас во все еще нам принадлежащие времена звездного и сверхчеловеческого, «божественного гения» все еще Царской Звезды, каковой пребудет вовеки моя красноватая Бетельгейзе.

Из Большой Медведицы Португальская Служанка перешла в созвездие Ориона, со Звезды Севера на Бетельгейзе. А оттуда? Не объявить ли мне об этом прямо сейчас? Где она, где сокрыта сейчас, в это мгновение? Но именно этого-то я уже и не знаю и именно потому агонизирую в моем *отсутствии смерти*, каковое также есть смерть по ту сторону смерти.

Но я также добавлю, что ныне, в феврале 1987-го, некоторые из моих изысканий уже следуют по новому следу, коим отныне следует следовать. Следу неясному и, быть может, втайне опасному, рискованному и губительному, внезапно явленному мне в тот день, когда я вроде бы невзначай наткнулся на полный трансметрических приключений роман Райдера Хаггарда «Дева Солнца». Как я пришел к этому, на витке какой спирали таинственно

реактивированных, как бы специально мне предназначенных гипнагогических влияний, я, надеюсь, еще расскажу на страницах моего дневника.

Возможно, надо с самого начала подчеркнуть, что в октябре 1983 года «Новое издательство „Освальд“» (NéO) выпустило французский перевод «Девы Солнца» Генри Райдера Хаггарда в обложке, сочетавшей зеленый цвет скарабея с черным, тускло-золотым и красным и обязанной своим очарованием медиумическому гению Жана-Мишеля Николе. Должен ли я уточнять, что черный, использованный Жаном-Мишелем Николе для усиления тайно сверхусиленного воздействия обложки, — самый живой и глубокий черный, *черный цвет бездны*? Но может ли что-либо не столь бездонно черное, чернее черной черни, носить в себе философский порыв к обретению знамений собственного имперского и солнечного переворачивания, головокружительное устремление к крушению в горних глубинах *работы в зеленом*? В финале «Девы Солнца» царица Квилла, Дочь Луны, восклицает: «Ныне проклятому прошлому, с его ужасами и битвами, положен конец, и перед нами, озаренная лучами Луны, простирается сверкающая дорога грядущего, ведущая нас к тайне, где начинаются и кончаются все дороги. Отныне наше разделение венчается совершенным союзом, который мы, возможно, уже некогда знали и который еще познаем в будущих временах и неведомых пространствах. В это мгновение, когда морское божество, пришествие которого пробудило к любви мое спящее сердце и чей клинок спас меня от стыда и смерти, ведет меня к жизни и свету, и я, Дочь Луны, бросаю вызов державшему меня в плену Солнцу и всем его служителям,

ныне перед всем моим народом беру вас в супруги через этот поцелуй». А дальше говорится: «Квилла, склонившись, поцеловала меня, чем и запечатлела свои слова».

(Но нельзя никоим образом ни на мгновение забывать, что протянувшийся чрез все эти годы визионерской ярости и тайного безумия, сумасшедшего желания и неутолимой печали след есть не что иное, как *огненный след* исчезнувшей солнечным предзимним днем из Версаля Португальской Служанки.

Однако, как писал Иэн Уотсон, *запечатанное будет распечатано*. Сейчас я пока еще не знаю, как будет «распечатан» этот дневник и будет ли вообще распечатан; я знаю, что от начала и в целом это замкнутое в самом себе повествование, «запечатанное» в крайне специальном смысле *доктрины обрамления*, доктрины тотальной и последней планетарной лингвистической войны, показанной в романе Иэна Уотсона «Запечатление», где, помимо всего прочего, этот лауреат премии Джона У. Кэмпбелла и премии «Аполлон» на уровне предчувствия открывает, что тотальная лингвистическая война, определяемая чрез *доктрину обрамления*, включает в себя, по ту сторону ее приложений метаисторического порядка и межконтинентально-планетарного уровня, также видение фундаментально сверхпространственное, «непосредственно галактическое» и даже «сверхгалактическое».

В моем пробужденном изнутри сновидении, где бы ни пришлось скитаться тайно мне и моим отверженным «народам Книги», я есть и буду брачным обра-

зом подчинен дыханию, несомому во мне и несущему меня, вздымая по спирали, туда, куда предусмотрено тайным образом.

При этом я прекрасно знаю, *что* делаю. Я даже знаю, как далеко могу зайти однажды, преследуя мою беглую служанку из Версаля, как далеко унесет меня божественное желание улыбающейся и меланхолической гостыи, усыпанной звездами ее сверкающей ледяной Госпожи и Царицы, Царицы магнетических горных ветров, носителей имперских туманностей милостивых солнц, увенчанной высшей короной царственной милости, еще грядущей, еще неименуемой, вечно недостижимой.

Для брачных обретений, чаемых нами — ибо чаемое *нами* мне известно всегда, — головокружительно чистые и девственные небеса, если смотреть на них из созвездия Ориона, кажутся мне бесконечно важнее, ближе, слаще и царственней, чем никогда бы не ставший таковым сон, приснившийся мне и беспрестанно, бесконечно возвращающийся у врат старинной королевской усадьбы в Версале, врат пробужденного сна во сне, врат, что сами собой открылись, как я уже рассказывал, солнечным предзимним днем без всякой надежды и милости в самую великую ночь ради того, чтобы самая великая ночь, которая внутри)

Менее чем за месяц до своей ужасающей смерти, которую мы все полагаем совершенно для нас неприемлемой и которую повлекло за собой злополучное, свя-

занное с темного происхождения звездным несоответствием «преходящее недоразумение», Доминик де Ру находился в Бразилии, где намеревался установить, *поставить*, как он выражался, экономическую и финансовую структуру своего «великоангольского проекта», «великого южного межконтинентального выправления», охватывающего Южную Африку и Бразилию. Пролагая эту «военную тропу» в собственной судьбе, Доминик де Ру намеревался этим деянием завершить свою жизнь, став для Южной Африки и противоположного ей побережья Атлантики новым полковником Лоуренсом, посланцем нынешней европейской агонии, который таким образом сделает явью, в самом крайнем выражении, родовые грезы о новом обретении чести, историческом исцелении и стирании стигматов стыда и бессилия предков, бессилия, все более и более разрушавшего и сжигавшего его жизнь вплоть до осквернения внутренних глубин его самого.

На следующий день после возвращения из Бразилии Доминик де Ру приехал ко мне в Отёй, чтобы рассказать о состоянии дел. Вышло так, что, навещая по своим делам, как он мне рассказал, наших общих друзей, немцев, бежавших в 1945 году из Берлина в Рио-де-Жанейро, он увидел, обрел заново нашу дорогую Лию де Орус Борошаньи-Цекельи, «растворившуюся в природе» после своего странного женевского брака с доктором Шандором Валем, о котором когда-то сам Доминик де Ру и сообщил мне с мрачным ликованием. Ведь тогда разомкнулась цепь, на которую мы возлагали все наши надежды и которой нам как раз и недоставало

для первой огненной пробы. Цепь, совершенно особая, но, так или иначе, цепь разрушенная. Теперь, возможно, все вернулось, сразу же, но, увы, слишком поздно.

Но не должен ли знающий все эти «цепи Ахаза», проходя сквозь ослепительное голубое пламя работы с отвратительными круговращениями души, помнить о бесчестном конце Ахаза? Летописи¹: «Потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского и у князей, и отдал царю Ассирийскому; но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал незаконно поступать пред Господом, он — царь Ахаз. И приносил он жертвы богам Дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: боги царей Сирийских помогают им; принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были на падение ему и всему Израилю».

До самого конца — все еще увидят *какого* — Лия Орус де Борошаньи-Цекельи останется для нас победным и недостижимым воплощением нашей утраченной юности, которую мы, сами того не желая, абортировали. Но разве приносимое в жертву поколение не есть прежде всего поколение, вырванное из собственной юности, искалеченное хищением жизни из жадности жадно ухватить свою долю, урвать силой или плутовством себе не принадлежащее, те самые «сокровища из дома Господня и дома царского и у князей», о которых говорят Летописи? Ибо всякая преждевременность бесполезна и непристойна, и во всяком преждевременном акте я опознаю как бы постыдную делегацию права на риту-

¹ В русском переводе Вторая Книга Паралипоменон.

альное преступление, лживо используемую дегенеративными наследниками обломков древнейших культов. Над нашей отделенной от нас самих юностью — ужас «древней родины».

Между тем новые сведения о Лии де Орус Борошаньи-Цекельи, привезенные из Бразилии Домиником де Ру, оказались достаточно *тревожны*. Я уже, как бы предвзято все остальное, рассказывал, до какой степени мы с Домиником де Ру были увлечены, я бы сказал, захвачены в 1970 году в Женеве нашей прекрасной Лией. На самом деле Лия, которая, без сомнения, уступила ночным и преступным настояниям своего второго мужа, д-ра Шандора Валя, и заручилась, играя на недостойных душевных или плотских струнах, поддержкой потерявшего голову и тем, по сути, нас предавшего Сильвана Репробата (недаром он говорил, она может совратить и святого), сумела перевернуть ситуацию с папкой «астрологических предсказаний» Сильвана Репробата, *со всю уверенность* врученных нам, и в своих интересах, с большой выгодой для себя организовать его переговоры с Международным статистическим центром (CIS/ZH) в Цюрихе, тайным представителем которого как раз и был д-р Шандор Валь, «специально уполномоченный вести переговоры по данному вопросу». Что он, сукин сын, и сделал. Но зато и огреб по полной.

На деньги, заработанные таким отступничеством, Лия, вступив в долю с дочерью одного из высших должностных лиц Государственного банка Германии (Deutsche National Reichsbank), возвела в Цюрихе роскошную клинику «для совершенно особых случаев». За этим после-

довало — «по очень темным причинам» — самоубийство д-ра Шандора Валя и очень поспешный, но и очень разумный, со всех точек зрения, отъезд нашей дорогой Лии в далекую Бразилию. Перебравшись сначала в Сан-Паулу, а затем поселившись в Рио-де-Жанейро, Лия очень быстро — уже в Сан-Паулу — выскочила замуж, если я не ошибаюсь — уже в третий раз, за молодого немца-врача, чей отец, врач из Дахау, владел под чужим именем специальной клиникой класса люкс, благодаря чему Лия и вошла в тамошнюю германскую, более чем германскую, среду и, пользуясь советами, если не капиталами, нового тестя, вскоре возглавила целую сеть специальных, но на бразильский манер, клиник, которой как мы узнали, и была обязана своим завидным, хотя и не безоблачным, процветанием, и при этом очень разумно — скорее, даже гениально — придумала, как ей в своем новом деле заручиться постоянной и, как мне кажется, даже горячей поддержкой Бразильской Церкви Макумбы. Дщерь Саббатаева, постоянная посетительница бассейна в женевском «Интерконтинентале», участница «цепей Ахаза» и собраний у хорошо известного в некоторых мистически настроенных кругах парижского филантропа Жака Фоккара стала теперь макумбейрой.

Вот так в тот день я обрел весьма сомнительную привилегию узнать от Доминика де Ру о неофициальном — в той или иной форме — мировом признании не только самого культа, но уже и как таковой Бразильской Церкви Макумбы. Церкви, точнее, так называемой Церкви, призванной в ближайшем будущем продвигать все более страшную реальность на марше. Надвигающееся на

нас грядущее несет с собой ужас глубокой ночи, все то, что происходит под полом, который ходит ходуном под нашими ногами, становится все более шатким, готов вот-вот рухнуть, *miserere nobis Domine, miserere*¹.

Но не только это сообщил мне Доминик де Ру: «Больше всего меня пугает, признаюсь, сама Лия. Видишь ли, некоторые из нас никогда не отрицали за ней, такой прекрасной и даже творящей зло своей красотой, природной магнетической способности колдовства и наведения порчи, некоего излучения, которым она могла управлять так же легко, как некоторые из нас — своим дыханием, коварного эротизма, так или иначе покорившего всех нас (а некоторых, как ты помнишь, весьма плачевно и даже трагически). Но там, в Рио, она дошла до такого эротического пароксизма — когда *это* подступало к ней, можно было, скажу тебе, лишь мечтать об укрытии, — что мне он казался не просто тревожным, но так или иначе подозрительным. И даже, если хочешь знать, в каком-то смысле *отталкивающим*. У меня в этот раз не было времени разузнать, что на самом деле сблизило ее с новыми покровителями из более или менее тeneвых социальных и „религиозных“ партизан Макумбы, но результат, поверь мне, пугает: дальше уже ехать некуда, но ведь для нашей дорогой Лии вообще нет пределов. Мне вспоминается все, что она говорила нам в Женеве во времена, когда ее, по собственному признанию, занимало только предчувствие перехода из человеческого статуса в статус *богини*. Все произошло именно так, как она говорила. Да, мой до-

¹ Помилуй нас, Господи, помилуй (*лат.*).

рогой Жан, она богиня, хотя, быть может, еще и не до конца. Лия, какой я увидел ее в Рио, клянусь тебе, очень недалеко от статуса богини. Но это ее сверхчеловеческое божественное естество все еще заражено лживым и жалким сомнением, самоослеплением и безответственностью, почему вся присущая ей мистериальность, все могущество могут обернуться не сверх-, а недочеловеческим, с самого начала возгордившимся и унылым, мертворожденным во славу трупного гниения и черной пены, обезумевшим от исключительно ночной доминации естеством, потому-то она только стонет „мир, мир, мир“ и „свет, свет, свет“. Непристойна, крайне непристойна эта *gumba negra*¹. Значит, друг мой Жан, Лия, наша Лия перешла во тьму? Лия *перешла во тьму*? Нет. Я в это все равно не верю. В это невозможно поверить, я отказываюсь поддаваться на шантаж очевидности. Между прочим, я тоже знаю, что все, все мы обречены пройти сквозь *черное*. Рано или поздно. В одиночестве, в абсолютном одиночестве проходим самую глубокую и самую черную тьму. Но она, *она*? Нет. У нее не так, никакой тьмы. Я всегда вспоминаю, как ты в Женеве называл ее *Солярной Еврейкой*. Я всегда верил в тайное солярное предназначение некоего обладающего особой избыточной благодатью еврейства, некоей как бы сберегаемой и сберегающей особой еврейской крови, сберегаемой от их общей замутненности совершенным ими богоубийством и сберегающей свое подземное избрание до тех пор, пока не пробил час „великого восстановления“. И если действительно, словно „венец милости“, сберегаемо на этот час малое число

¹ Негритянская румба (*исп.*).

избранных, „очень малое число“, остаток, удобоименуемый Солярными Евреями, я всегда буду верить, что наша Лия де Орус Борошаньи-Цекельи, принадлежит к этому „очень малому числу“, сама и является его Правительницей, Сокрытой Госпожой, „Супругой и Возлюбленной“. Всего один день неизлечимого недостойства, проклятия и мистического преступления не может стать окончательным погружением во тьму издевки и переверачивания палевых зорь. Есть некий оберег, есть как бы возводимые из иного мира крепостные валы и даже, „что бы ни случилось“, надежда на спасение „очень малого числа“ вот этих самых солнечных, оберегаемых. Более того, меня неотвязно преследует мысль о том — ты хорошо это знаешь, — *Кто* именно сказал, что *спасение от Иудеев*. Но от *каких* Иудеев это столь чаемое спасение и как можно при этом забыть об *остальном*, как ты говоришь, „обо всем остальном“? Все это так невыносимо и горько. И вот я задаю себе и тебе последний вопрос: почему так было надо, чтобы она вновь появилась в моей жизни, и именно сейчас? Она, она, совершенно точно она, *она!* Даже признаюсь тебе — хотя еще этим утром, придя к тебе, не хотел этого делать — признаюсь, что в Рио, всего лишь несколько дней назад, Лия внезапно меня растревожила, если не сказать *взволновала*, чего не было с тех первых дней нашего безумного с ней приключения, в Женеве, в котором, думаю, ты один заподозрил древние корни смерти... но умолкнем, умолкнем, я клялся, клялся никогда более об этом не думать, никогда более об этом не говорить... да, признаюсь тебе, она меня опять *взволновала*, *взволновала*, *взволновала*, *взволновала*, как прежде, *взволновала до смерти...*»

Незабываемо. В тот же день мы с Домиником де Ру долго гуляли в Булонском лесу вокруг озера, странным образом покрытого судорожно вздымающимся плащом сам не знаю откуда взявшегося сонма бесноватых чаек. Это было 21 марта 1977 года.

70

А ночью 7 июля 1985 года Лия де Орус Борошаньи-Цекельи была изнасилована, по правде говоря отвратительно, по слухам — ошибочным, опасным и грязным, очень грязным, — изнасилована «случайными знакомыми», которые затем перерезали ей горло. Произошло это на юге Англии, возле города Торки (как тут не вспомнить о «тайне бегства Агаты Кристи»?).

Эти «случайные знакомые», если верить скудным, более-менее завуалированным сообщениям местной печати, не имевшей, впрочем, никакого желания их широко распространять в этом привлекающем множество туристов и социально нестабильном регионе, были «криминальными элементами» из среды «цветных», причем, как я читал, они, скорее всего, регулярно практиковали «групповое употребление наркотиков».

Все это абсолютная неправда.

Поскольку Лия де Орус Борошаньи-Цекельи путешествовала инкогнито, правда о ее смерти прошла относительно незамеченной, свидетельства — лжесвидетельства — появились как раз вовремя, чтобы сокрыть истину.

Между прочим, теперь стало известно, что британские спецслужбы, которым можно только посочувствовать, несколько месяцев только и делали, что пытались установить личность убитой (по ритуальным увечьям, ужасным фиолетовым татуировкам, обнаруженным при осмотре тела). В конечном счете так ничего — действительно ничего — и не прояснилось. Не думаю, что это вообще было возможно, и, мне кажется, на самом деле им не очень-то этого и хотелось. Хотя, возможно, за явной некомпетентностью скрывается тайная — и постыдная! — компетентность. Да разве рискнут они узнать об этих вещах более моего, причем тогда, когда и я сам уже не хочу более ничего знать — всё, хватит!

Выкупленное в конце концов сестрой Ядвигой, романисткой, бедное тело замученной Лии де Орус Борошаньи-Цекельи — говоря *выкупленное*, я даже не пытаюсь приоткрыть, каким невероятным образом свершился этот запоздалый выкуп, — покоится ныне у стены маленького сельского кладбища в лесных окрестностях Женевы, где по обычаю хоронят преимущественно католиков. Я сказал *покоится*? Но слово *покоится*, с духовной точки зрения, одно из самых непростойных, и сейчас, в это мгновение, когда я пишу его, я сам всего лишь обездоленная жертва неведомо какой ушибленности ума. Тревожной, на самом деле.

Я наведушь туда, в ближайшем июле. Знаю, где это кладбище. Но что искала она той ночью в окрестностях Торки, и то только по видимости, выдавая себя за другую?

Путешествовала она, как я это, скажем так, узнал впоследствии, с фальшивым испанским паспортом на имя Виолеты Антигуа¹.

(Но разве не всегда она в большей или меньшей степени выдавала себя за другую? Внезапно вспоминаю, как однажды дождливым днем раздосадованный Доминик де Ру признался, что Лию де Орус Борошаньи-Цекельи стали называть этим именем без ее согласия. Он говорил это с преувеличенной яростью, в которой явно находил удовольствие. «Она с трудом его носит, — кричал он, — с трудом справляется с этим именем, которое и я сам, когда представляю ее на каком-нибудь приеме в „Ричмонде“, не могу членораздельно произнести! Похоже на псовую охоту в болотах Шаранты, когда свора уже на том берегу, а егеря по плечи в грязи!» Но только вот о чем Доминик де Ру тогда, безусловно, не знал: пять составляющих ее, урожденной саббатианки, *последнего имени* — Лия де Орус Борошаньи-Цекельи — полностью вбирали в себя и охватывали, *обрамляли* именно в ее образе всю Еврейскую Каббалу — целиком. Всемогущей можно назвать уже первую букву — «L», «живой источник» ее «живого имени». Когда я говорю об этом, какой печальный ветер поднимается над миром! «Лия! Лия! Лия!» — охваченные навязчивым стыдом едва сдерживаемого любовного бреда кричали на ней, под ней и тогда, когда это было как-то иначе. А в самом сакральном имени Lia срединная буква — «i» — означала

¹ Буквально — Фиолетовая Древняя.

прямое воззвание к сверхъестественному живому свету Абсолютного Начала, Его самого в Нем самом; тогда как стоящая слева от «і» буква «L» призывала видимый «свет миру», о котором столь таинственно говорит святой Иоанн Богослов в первой главе; справа же от «і» буква «а» утверждала сам факт любовного воплощения, нисхождения двух высших букв — «і» и «L» в «душу и тело», в живое дыхание и живую плоть. Таким образом «і» оказывалась брачным образом, *обрамленным* и сокрытым, как бы плащом видимого света, как бы раскаленной плотью и живым огнем, в сердцевине «L», всю ее, Лию, превращавшим в бытие любви, в страницу *излучаемого* самим бытием дня.

71

Лия де Орус Борошаньи-Цекельи, Доминик де Ру — великие предназначенные, таинственно лишенные предназначения, завоеватели с прикровенными лицами, остановленные песками смерти на пороге свершения своего самого тайного обета. Обета верности, обета обретения, обета имперского могущества, обета непокорности и единоименно не менее абсолютной покорности черной звезде их навсегда сомкнувшейся над собственной сущностью тайны, что, быть может, и есть она сама — тайна.

Эта тайна, которая, словно черная звезда запрета, наложенного на жизнь, на свершение, на видимую славу, безусловно и беспощадно оберегает саму себя на

неприкосновенном внутреннем небе, в любом случае и всегда будет оставаться одной и той же. Я не знаю. Я больше ничего не знаю. Я снова закрываю окна.

72

Насколько мне известно, нельзя ни в каком случае сомневаться в том, что все встречи, плодотворные, счастливые и несчастные случаи, все решающие и важнейшие события нашей жизни управляются только созвездиями, в свою очередь управляемыми тайной работой некоторых *стройных сфер*.

Вновь погружаясь, как сейчас, в Черную Реку воспоминаний о Лии де Орус Борошаньи-Цекельи, о Доминике де Ру, о наших былых женеvских приключениях, я должен бы одновременно извлечь из недр забытого очень призрачное и очень земное присутствие Вики Армледера, во многом уподобившего наши чудесные «ричмондские вечера», с их созвездиями влияний, тайных желаний, дыханий и подпольных содружеств, иным, но столь же загадочным и наполненным смыслами «Санкт-Петербургским вечером».

Последний раз я видел Вики Армледера уже не помню сколько лет назад — четыре или пять — «У Стеллы», на авеню Виктор Гюго. Я обнаружил в нем все ту же тщательно-небрежную утонченность, то же метафизическое отсутствие вокруг него ауры дерзкой и самоубийственной юности, все ту же скрытую меланхолическую и, возможно, очень темного происхождения неж-

335

ность. С ним была молодая светловолосая женщина, я сначала думал, жена, но узнал, что это жена другого человека, из Женевы. Не имеет, на самом деле, значения: рядом с Вики Армледером она была столь кашемирово элегантна, что меня это даже немного пугало и при этом, что скрывать, возбуждало.

«У Стеллы» мы договорились о следующей встрече, но она не состоялась. А вчера — ведь все связано и перевязано — я прочитал в арт-обзоре о том, что брат Вики, Джонни Армледер, приезжает в Париж со своей выставкой, которая будет экспонироваться в галерее авангарда на левом берегу Сены. Более того, я, кажется, повстречал и самого Вики Армледера — на днях, на улице и еще, быть может, в один из вечеров прошедшего месяца — он вроде бы сидел в черном «бентли», припаркованном возле «Прекрасной фероньерки», и кого-то, несомненно, ждал. Когда реальность становится пустыней, как не оказаться — не пребывать безысходно — на границах небытия? И как не вспомнить ставшие для меня пророческими слова Винтила Хория, который в «Гробнице на небесах» писал: Cada molino en las orillas del Po tiene siempre una barca amarrada bajo las ventanas¹.

Быть может, прямо сегодня, кто знает, или завтра, или через шесть лет я снова повстречаю Вики Армледера — *в точности, как и прежде*, — на путях моей жизни. Я знаю это, ибо знаю: для меня он вестник. Но только *вестник чего?*

¹ Под окнами каждой мельницы на берегах реки По на воде стоит лодка (*исп.*).

Драматический, глубинный вопрос, если угодно; страшно опасный; заразный и извращенный, извращающий.

Виновен ли я в том, что на этом останавливаюсь? Некоторым образом настаиваю на том, что иные сочтут безответственным? Разоблачаю себя? Мечу бисер перед свиньями? Или все это *провокация*?

Все вместе, на самом деле. Возвращаюсь к сказанному: когда близится нечто, то как понять, что некто есть *вестник*? Без сомнения, к счастью, этот вопрос касается только очень небольшого, как бы вообще несуществующего или почти несуществующего, числа людей, какие могли бы подозревать, что в данный момент их жизни способны оказаться в связи — прямой или не прямой — с тем, что Рене Генон называл «действующим» или «живым инициатическим центром».

Понятно, что, как мне представляется, регулярная связь с «действующим инициатическим центром», с «живым духовным центром», поддерживаемая постоянно, или, напротив, только с определенной, как бы сетевой, периодичностью, или даже исключительно при крайней необходимости, может осуществляться только через особые медиумические каналы внутреннего и конфиденциального, и даже сущностно «невыразимого», порядка. Или же, в некоторых случаях, через «особых посланников»: они, собственно, и называются вестниками, причем первое условие вестничества в том, что сам вестник не знает и абсолютно не отдает себе отчет в том, кто

он *такой*. Все вестники бессознательно передают и несут послания, им совершенно не известные, каковы бы эти послания ни были.

Неважно, кто может быть вестником, неважно, для кого. Высший уровень тайны в действии заключается в том, что тот, с кем осуществляется связь, не знает о ее существовании, о самом послании, о влиянии на него, об исполнении приказа начать или прекратить действие, дать или не дать ход слову признания или пароля, «слову затворения» или «слову отворения», равно как и — по очень важным причинам — о том, кто вступил с ним в связь и каким образом. Самим же связным, *вестником*, может быть кто угодно из находящихся рядом или вошедших в случайное соприкосновение — известный, неизвестный, недавний знакомый или близкий член семьи, прохожий на улице или некто во сне, женщина, с которой спишь уже двадцать лет, или юная чернокожая шлюха, вызванная в дождливый день в гостиничный номер, тот, кого ты в данный момент пытаешься собственными руками задушить, или друг, потерянный много лет назад, друг забытой юности.

Тот, с кем вступили в связь, может вовсе не знать связного, не знать о нем вообще ничего, не знать о содержании переданного послания, о самом даже факте связи с «живым духовным центром», воздействующим на него и тем или иным образом, с совершенно неведомыми целями и совершенно неведомыми путями определяющим его пути.

Иногда, правда, хотя это касается только некоторых, самого высокого уровня, агентов «живых духовных центров», удастся идентифицировать отдельных вестников и даже целые их созвездия в действии, очень тайном, в отношении данной личности: это невероятное исключение, временной разлом «великого запрета», то, что Джон Бачен в своем забытом сегодня романе называл *the gap in the curtain*¹. Джон Бачен писал: *He was battling against what he believed to be fore-ordained. How could a man succeed when he understood in his heart that the Eternal Powers had predestined failure? Yet most gallantly persevered, for it was a matter of life and death. I alone knew the tragedy of it*².

Что касается меня, то за эти последние годы я, полагаю, уловил такую плеяду из десяти вестников, уполномоченных коснуться и тайно, в бездонной глубине, предопределить ход моей жизни, причем ни один из них понятия не имел о возложенной на него миссии: исчерпывающий список, который я, сознавая скандальную сомнительность такого беспрецедентного раздергивания занавеса, приоткрытия *gap in the curtain*, щели, про света, готов привести без колебаний по необъяснимым причинам, следуя неизвестно какому порядку действия, под непонятно каким, быть может гораздо более темным, чем обычно, влиянием, но и, кто знает, во имя

¹ Щелью в занавесе (*англ.*).

² Он сражался с тем, что, как он верил, предопределено изначально. Как мог человек добиться успеха, понимая в глубине сердца, что Вечные Силы уготовили ему провал? Даже храбро упорствуя, ибо речь шла о жизни и смерти. Лишь я один понимал трагедию всего этого (*англ.*).

какого *возобновления*: Дорель Казабан, Клод Соте, Вики Армледер, герцог Адольфо Суарес, Жак Ле Валуа, Нита Кольменар, Франсуа Беллони, Барбара Зукова, Оскар Лафонтен и, без сомнения, также отец Пио де Пьетрельсина.

В той точке бытия, где я нахожусь, мне не уклониться от произнесения при свете дня имен моих вестников. Это я и сделал и надеюсь, мое самоубийственное разоблачение будет крайне высоко оценено скрытыми доверителями тех, чью двойную идентичность я лишил таким образом девственности или, иначе говоря, освободил от вмененного им таинственно темного бремени.

Но вещи таковы, каковы они есть, и разве я сам не полевой агент оккультной экзекуции и разве в этом случае благосклонно расположенные оставят меня вне сферы своего сокрытого влияния и не пошлют ко мне вскоре новых вестников, угадываемых гораздо легче своих предшественников?

С другой стороны, пройдя однажды под тайным влиянием внешнего «духовного центра» в действии необходимый контроль, некоторые из *наших* так и не освободились от собственного внутреннего «духовного центра», по крайней мере, не поставили его под контроль, но, как знать, не было ли такое переворачивание контрольных инстанций как раз и определено внутренним «духовным центром»? И если обретение контроля над инстанцией есть самоосвобождение, не

оказывается ли отказ от такого контроля освобождением более полным, более тайным образом предопределенным?

Не включает ли превращение в свой собственный контрольный центр бесконечно двусмысленную ситуацию экзистенциального сосуществования, когда абсолютная власть осуществляется в абсолютной покорности?

Но, возможно, вопрос даже не в этом. Важно — не знаю, достиг я этого или нет, — самому стать живым образом, способным раскрыть и в каком-то смысле даже и раскрывающим смысл путей, состояний, печалей, тайных служений, теневых оболочек и сокрытых пересечений, происков, отходов назад, уклончивых или решительных умолчаний, гипнагогических проникновений, незаметных, но именно потому очевидных как задания, узоров, долгих путешествий по подземным ходам сознания, забвения и идеальной покорности под контролем, который должны осуществлять наши вестники, когда они к нам приходят.

Прекращая далее платить по счетам, я совершаю свежий надрез, открывающий первичность сновидения, контролируемого еще более высоким сновидением, эту небольшую дипломатическую небрежность в честь — сокрытую честь — агентов самых великих далей, о которых надо говорить все, не говоря ничего, и не говорить ничего, говоря все.

Доминик де Ру в книге «Желтое здание»: «Героический цикл конца возвышает достоинство сновидения, ясную мощь глубин. Возвращение к ожиданию требует подземного пути к центральному огню, молчаливого движения к полярному центру, к острову вечных льдов. Битва Земли и Моря есть также Битва Вечного Огня и Вечного Льда, Гольфстрим в полярном стекле».

Послание Солнечных Гор

Ситуация идеальна — я из тех, кто не уступает ее деградации.

Пока все не свершилось, все иллюзорно: тот, кто, подобно мне, на протяжении пятидесяти лет переживал возле генерала де Голля его сумрачную боль по невообразимому, может понять эту надежду, которая не умрет никогда.

Оливье Гишар

На данный момент все кончено. Я верю, что будет вновь необходима вовлеченность. Абсолютная, духовного порядка вовлеченность. Мы входим в новый апостольский цикл.

Анри Монтегю

Необозримо, повсюду — нижние воды? Но на самом деле разве они до сих пор нижние, эти воды, само начало которых уже ведет из огня в огонь, разве они нижние — все эти естественные родники и искусственные водоемы, ледяные купели, белые и зеленые реки, бездонные озера, пруды, столь таинственно пресущественные до звездного и лунного меркуриального уровня, до состояния *нашей ртути*? Если они нижние, эти воды нашего темного всевластного забвения, то что за тайный зов к живому беспамятству, подобный иному зову с иных высот ведомой, древней охотницы, Окровавленной Дианы, столь субверсивно таится в этих водах?

Нижние воды? Само слово указывает на переправу. Решетчатый настил, бесконечно, через нижние воды сновидения тянущийся к острову, а от острова — к иному берегу.

Кто это сказал: в нынешнем, ночном, конце цикла пройти можно лишь по нижним водам сновидения?

Незавешенные окна выходили в перелесок, полностью измененный, преображенный заиндевелым, а если, как я это делаю, долго смотреть на небо, обнимаемое луной, то уже экстатическим светом. Пронзительным, снежно-фиолетовым, голубоватым светом *Astrum Argentinum*¹, но еще и каким-то незапамятным сиянием воспроизводящей свои просторы во мне Галактики, сиянием, чья власть хранит мир, смывая следы всеобщего упадка.

Прошедшие часы смирили меня. На землю опустился холод, и я не мог уснуть до зари.

А затем пришло сновидение, изменившее всю мою жизнь.

Мне снилось высокое, удивительной белизны здание, в котором я не мог не узнать монастырь кармелиток в португальской Коимбре. Я знал: все за его стенами неприкосновенно, духовно хранимо от любого бесцеремонного или преступного вмешательства, все тайным образом затворено от древнего зла. И я мог туда проникнуть только тайно, незаконно, используя для этого исключительно духовные средства — молитву, например, или убежденное, благодарное, сбросившее одежды собственного я Святое Желание, владевшее его насельницами.

А не воспользоваться ли еврейской каббалой? Во «Вратах Света» Хикатилли (*Gikatilla*) сказано так: *Среди божественных имен некоторые созданы для прошений, расположения и милосердия, иные для стенаний, несчастий*

¹ Серебряной звезды (*лат.*).

*и строгости, а иные — для спокойствия, жалости и бла-
гости. И как может не умеющий в молитве обращаться
к имени врат его обета жаловаться на то, что желание
его не удовлетворено? Поэтому необходимо человеку ис-
следовать пути закона и знать назначение Имен Свя-
тости так, чтобы быть способным, когда он просит
Святого об исполнении какого-либо желания, обращаться
к соответствующему этому желанию имени. [Цитирую
по книге Рене Ле Форестье «Оккультизм и шотландское
франкмасонство» (Академическая библиотека «Перрен»,
Париж, 1928).]*

Как написано, так я и сделал, и тотчас же очутился
в маленьком заснеженном дворике — я бы скорее ска-
зал, садике, — расположенном, как я понял, внутри
обители; я лежал, растянувшись на земле, точнее, на
как бы снежном, слегка припудренном зóлотом ков-
ре; совершенно истощенный и усталый до тошноты; я
с трудом дышал, словно скользя в бессознательное, ли-
шенное меня самого во мне, состояние; однако я был
внутри обители, то есть сумел преодолеть непреодоли-
мые духовные запреты и тем самым выиграл первый
тур. Затем я понял, что ковер, покрывающий землю во-
круг меня, — из ландышей, а сам я лежу возле мона-
стырской стены, живейшая белизна которой только
усиливалась от солнечных лучей; райское благоухание
таинственного ландышевого покрова словно опьяняло
воздух вином свежести, славы и трепещущего покоя,
вином прекрасной, даже не знаю какой, возвращенной,
ослепительной и сладостной, бесконечно сладостной
юности. И подумалось: неужели я действительно умею
молиться, умею уловить имя благодати и милости, отво-

рившее мне запечатанные врата самой тайной свято-сти? Похоже, да, ибо *я здесь*.

Действительно ли в арсенале божественно мне попу-щенного есть умение призывать «имя моего обета» и моя соединенная с ним молитва о проникновении внутрь стен Кармель-де-Коимбры перевернула и разру-шила все высшие духовные запреты? Конечно же, са-мим пребыванием здесь, среди могущественного, сколь неотступного, столь и сверхъестественного, буквально вводящего в рай аромата ландышей, я обязан был толь-ко моему дорогому отцу Пио, даже подпись коего часто источала или сладкий аромат диких фиалок, или стой-кий запах первых, только вот-вот явившихся из-под сне-га, ландышей. Значит, *опять он?*

Как благодарить его? Встаю и, шатаюсь от усталости, про-бую проскользнуть внутрь строений. Пройдя через по-груженные в молчание и тишину служебные помещения, я оказываюсь в широком коридоре с тщательно побелен-ными стенами. Появилась молодая кармелитка, которая, когда я направился в ее сторону, молча повернулась к стене, как бы запрещая себе не только смотреть мне в лицо, но и вступать хоть в какое-то общение, даже про-сто приближаться к *пришедшему из мира*. В то самое мгновение, когда она повернулась ко мне спиной, я сзади приблизился к ней, чтобы осторожно, но и очень тай-ным образом, пламенно, хотя и без какого-либо дозволе-ния с ее стороны, просто спросить: *Простите меня, про-шу вас, моя юная сестра, но не могли бы вы сказать мне, где могу я найти затворницу этого Кармеля, сестру Марию-Люцию Непорочного Сердца?* — и тут же услы-

шал, как она, не оборачиваясь, шепчет мне, не дождав-шись вопроса — ведь он был мысленным, я не успел даже рта открыть — и читая во мне как в книге, произ-носит: *О! Еще чего не хватало! Прежде всего, не прибли-жайтесь ко мне и не обращайтесь. Этого делать нельзя. Между прочим, вопрос, который вы хотите мне задать, я нахожу неуместным и даже нечестивым. Он оскорби-телен. А вы, к вашему стыду, даже не можете понять почему. Но я, так и быть, отвечу. Наша сестра Мария-Лючия Непорочного Сердца готовится к восхождению. Скоро она будет избрана настоятельницей этой обите-ли. Вот почему именно ее вам надо просить о помощи. Пути вашего освобождения зависят отныне от ее вме-шательства. Ищите его и сделайте так, чтобы она по-могла вам. В этом ваше спасение, мой бедный Жан. И тог-да я, охваченный каким-то безумием, воскликнул: Но вы, моя юная сестра, вы сами, кто вы? Воскликнул вопреки наложенному ею строгому запрету, не в силах сдержать себя. И мне показалось, что она не столь уж строга, и она тотчас ответила: Кто я? Вы не знаете? Вы, значит, этого не поняли? Так вот, даже если на самом деле моя имя со-всем иное, здесь, в обители, и вообще здесь везде оно — мать Мария Святой Троицы. Но не только. Возможно, я вернусь и буду еще кем-то. Но вы, Жан, как же вы не узна-ли меня? Но вы, Жан, как же вы могли меня забыть? Вы, вы, вы — забыли меня?!*

Сказав это, молодая кармелитка быстро раствори-лась в темноте. Я сделал неувольимый шаг ей вослед и

внезапно очутился перед дверью, открытой в ярко освещенный прямыми окнами коридор, который выходил в девственно заснеженный и залитый солнцем двор. Остановился, медленно, из самой глубины легких, из всего моего бытия, вздохнул. За дверью, на довольно высокой, довольно прочной деревянной лестнице, на ее последней ступеньке стояла сестра Мария-Лючия Непорочного Сердца, будущая настоятельница монастыря кармелиток в Коимбре.

В то же мгновение я увидел внизу, на первых ступеньках этой лестницы, одетого в белое и золотое Кароля Войтылу, пытавшегося подняться к улыбающейся и счастливой сестре Марии-Лючии Непорочного Сердца, но что-то очень мешало ему это сделать, тормозило его волю, его тайное любовное, брачное стремление своими губами, даже дыханием вобрать в себя всю исходившую только от нее и предназначенную только для него весть, и это «что-то» было водоворотом окружающих его, в высшей степени негативных, ночных сил последней адской, я не могу даже выразить какой, морально и теологически постыдной, духовно преступной бездны *в действии*.

И в то же время я с предельной ясностью ощущал исходивший от нее жар бесконечно милостивой тяги, мистического супружеского желания, безумной жертвенности и сверхгероической воли к оказанию помощи, блистающим солнцем, верховной короной пылающих лучей и святого параклетического огня окружавшей лицо и все тело сестры Марии-Лючии Непорочного Сердца, которые напряженно вибрировали в любовном

соучастию — и сочувствию — ему, Каролю Войтыле, сотканном из страшным образом ясного и пылающего внутреннего существа сестры Марии-Лючии Непорочного Сердца, именно к его, Кароля Войтылу, питавшей изнутри, от начала живой любви к Последнему Служению, любви былой, любви нынешней, любви грядущей, любви, столь преследуемой окружением негативных могуществ за работой в ее восхождении по спирали свершения, любви столь же удушаемой, сколь и само его Служение, но любви, призванной к самоутрате чрез сам запрет самого этого Последнего Служения и таким образом изничтоженной, перерезанной у основания, но все же сражающейся со всем трансцендентным героизмом Последнего Заката, Последнего Запада. Как было мне ее жаль, как нестерпимо жаль! А потом — уже за стенами — словно тихое и все затихающее и затухающее, теряющееся в тишине пение.

77

Остается сделать еще одно признание, самое ужасающее: я со смертельным отчаянием и ужасом в глубине души понимал: все это со мной только оттого и происходило, что препятствия Каролю Войтыле на пути к сестре Марии-Лючии Непорочного Сердца проистекали из тайной моей неспособности прийти на помощь их немощи, внезапно совершить, скажу так, все возможное и необходимое для того, чтобы он, Кароль Войтыла, и она, сестра Мария-Лючия Непорочного Сердца, могли, со своей стороны, сделать все для «свершения начертания нашего Императора в Ему угодные времена», и если они

351

этого так и не сделали, не сумели сделать, так это только из-за моей неспособности *обеспечить развязку*, исполнить свой тайный долг *восстановления*.

Но теперь, когда я все знал о них — и о ней, и о нем, и о них обоих, — знали ли они обо мне? Нет, они не знали. Так врата затворились. Такова она, наша сколь страшная, столь и восхитительная работа.

78

И тогда я понял, что в эти самые мгновения прямо перед моими глазами произойдет нечто немислимое и неизбежное, нечто уже однажды свершенное и в то же время призванное придать, а точнее, навязать — причем это уже вовсе не вопрос мгновения — свой последний облик той *несвершенной вечности*, которая настигает нас в нынешние времена преткновения и упадка, причем произойдет это именно из-за моей неспособности исполнить от начала вмененный мне *тайный долг*. Не могу яснее выразить это — как выразить невыразимое?

Охвативший меня от этого головокружительный пароксизм в конце концов привел к тому, что я внезапно, словно возвращенный в себя самого, проснулся.

И для того только, чтобы тотчас же вновь уснуть и — как я думаю до сих пор — увидеть тот же самый, только еще более тревожный, сон — в памяти от него не сохранилось ничего или почти ничего. Во сне — и это самое загадочное — меня настойчиво приглашали, убеждая не

опаздывать, «немедленно, тотчас же» прибыть в книжный магазин «Нового издательства „Освальд“» (NéO), на рю Кошен, в Париже. И еще: перед самым пробуждением я смутно видел, как в центре гигантского, словно принадлежащего древним мирам, циклопического, из огромных зеленых камней, портала, словно из бездонной преонтологической тьмы, внезапно поднялось что-то похожее на пламя, на вращающуюся вокруг своей оси солнечную вспышку, как бы возвещающую явление, обетование спасения, близкого освобождения, когда-то исчезнувшего, но имеющего вернуться, воспоминания в виде явленного при полном свете дня и наполненного всей царственной и светоносной сладостью мира образа молодой женщины с лицом, прикрытым легкой золотой вуалью — или ее же дыханием, ее же слезами. Или не прикрытым ничем.

В молниевидном финале моего сновидения я действительно оказался на рю Кошен, в «Новом издательстве „Освальд“» (NéO), где и получил некоторые разъяснения о моих обязанностях, вытекавших из расшифрованной фигурации сновидения предыдущего: «Кароль Войтыла наконец сможет соединиться мистическим браком с сестрой Марией-Лючией Непорочного Сердца на вершине белой деревянной лестницы монашеского Запрета и Отрешения», — а следовательно, и о том, что предстоит сделать уже лично мне в рамках тайного разделения того же самого труда по удержанию мира от внезапного обрушения в небытие, во имя спасения тех, кто должен быть спасен, — время почти все вышло, но это еще возможно — и, наконец, «во имя исполнения начертания нашего Императора в Ему угодные времена».

Почему бы мне в тот же день не отправиться в «Новое издательство „Освальд“» (NéO) на рю Кошен? Мог бы я себе простить, если бы этого не сделал?

На самом деле тем утром я был словно под гипнозом, и даже под *глубоким* гипнозом. В четыре пополудни в офисе «Нового издательства „Освальд“» (NéO) стало уже довольно темно. Небо сделалось низким, необычно, ненормально низким, порывы ледяного дождя, срывая листву с каштанов, полосовали бульвар Сен-Жермен. Ужаснейшим образом себя чувствуя и уже начиная глубоко стыдиться своего поведения, я передвигался между рядами книг вместе с Элен Освальд, улыбавшейся, восхитительно и дружески предупредительной, умно и тонко мне сочувствовавшей, но уже начинавшей, правда не совсем отчетливо, понимать, почему я пришел и в чем причина — впрочем, это она понимала хуже, хотя чувствовала — моего отчаяния, неуверенности, страха, отчего меня всего трясло; в конце концов, я же и сам так и не мог понять, отчего вдруг вообще оказался на рю Кошен, словно это был вовсе не я, а некая моя часть, повиновавшаяся непреодолимым гипнотическим излучениям утренного сновидения.

Однако по тому, как смотрела на меня Элен Освальд, казалось все более волновавшаяся и вроде бы начинавшая задаваться вопросом о причинах моего состояния, я понял: она приписывает его не плохому самочувствию, а тому, что я совершил что-то неосторожное, темное, в конце концов, просто ошибочное («да он, возможно, всего лишь пьян» и все в таком же духе).

К счастью, в этот самый момент все вдруг изменилось: появился очень красивый бородач и попросил каталог книг Говарда Филиппа Лавкрафта, а я, воспользовавшись случаем, уже собрался уйти, я бы сказал, смыться, пока Элен Освальд, не без облегчения выпутавшись из неловкой ситуации, займется поисками лавкрафтовского каталога. Однако, любезная, огорченная, быть может, обеспокоенная и, как всегда, внимательная Элен, оставив меня возле раздела «Оккультизм», наклонилась и начала, словно пловчиха на глубине, искать — вдохновенная каким внезапным порывом? — какую-то книгу; что бы ни было причиной: внезапное ли вдохновение, как я только что сказал, или знак высочайшего ведения, или даже прямое воздействие всего того, что нас обоих, видимо, долговременно поддерживало и нами управляло уже много дней, быть может, месяцев или даже лет, — Элен нашарила на полке искомое и хорошо понятным для меня жестом протянула мне, сказав: «Вот, посмотрите. Это книга Генри Райдера Хаггарда. Я думаю, вы ее не читали. Смотрите, дорогой друг, она называется „Дева Солнца“. Поверьте, книга великолепна. Великолепна, скажу я вам. Я сразу поняла, что вы о ней напишете в очерке для какого-нибудь альманаха, вроде „Мира иного“, причем напишете с восхищением, с особым, я бы сказала, вдохновенным восхищением. Обложка выполнена Жаном-Мишелем Николе. Вам стоит изучить ее повнимательнее, она крайне удачна. Загадочна, очаровательна. Опасна. Откровенна, возможно. И кое-что вы должны взять на заметку, мой друг, крепко взять на заметку. Кое-что в этой книге. Вот! Если я не

ошибаюсь, написанное на двести двадцатой странице, как раз, по-моему, для вашего размышления: „Впредь ни один человек не может бросить на нее, Невесту Солнца, своего взгляда, ибо если я ему это позволю, проклятие Солнца не замедлит обрушиться на меня и на мой народ. А всякий, кто наложит на нее руку, — тут Элен многозначительно посмотрела на меня, — вынудит убить его, ибо это мой долг, а иначе проклятие ляжет уже на меня. Все остальное в вашей воле, но оставьте Квиллу в покое. Все, что принадлежит Солнцу, оно оберегает от века и до века».

Я замолчал, начиная наконец смутно понимать некоторые вещи, а быть может, и вообще все, не знаю. Очень тихо Элен Освальд, чье отстраненное, изменившееся лицо вдруг осыял странный свет, добавила: «Вы очень хорошо поняли, о чем это сказано, разве не так? И я позволю себе это повторить: *Оставьте Квиллу в покое. Все, что принадлежит Солнцу, оно оберегает от века и до века.* Мне это ясно, слишком ясно. Но я не могу скрывать от вас — ведь ваша, а быть может, не утаю, и наша, единственная и последняя надежда отныне состоит в том, что в этом с таким трудом произнесенном предупреждении о неприкосновенности Квиллы (ведь Квилла не Квилла, а вы прекрасно знаете кто) — можно усмотреть противоречие и ответить: *Луна — ее мать, это она, наверное, произносит такие слова,* ведь Квилла — это Дочь Луны. И вы знаете, что в „Деве Солнца“ в конечном счете именно лунный заговор — имеющий целью вступление Квиллы в брак — торжествует. Попробуйте и вы, вы тоже, как это уже делали до вас, попробуйте отыскать древнюю, сколь огненную, столь

и ледяную тропу Луны. Но, боюсь, у вас это не получится: времена ныне абсолютно иные, и наша Луна совсем не та. До свидания, я должна вас покинуть. Вы доставите нам огромное удовольствие, нам обоим, Пьеру-Жану и мне, если еще раз нас посетите».

80

На улице я оглядел, понятное дело несколько рассеянно, бегло, только что полученную книгу, чуть не насильно врученную мне моей дорогой Элен Освальд, будучи, по правде говоря, под сильным впечатлением, удивленный ее настойчивыми, почти навязчивыми отсылками к книге. На обложке посреди гигантского портала из зеленого граненого камня, словно обрамленная им, всплывая из неких сверхвременных глубин, была изображена юная инка, священная танцовщица, вся обнаженная, но прикрытая прозрачным, воздушным, накинутым на плечи плащом, украшенным ритуальными драгоценностями из сплава самородного золота с медью. Повторю, обнаженная, полностью обнаженная — божественно.

Я ощутил солнечный удар, я чувствовал, как сердце на разрыв билось в окаменевшей груди, каждое его сокращение сопровождалось ужасающим подъемом крови; во мне и вокруг меня в дневном воздухе, в неожиданно огромном небе вздымалась огненная волна, затоплявшая весь мир вплоть до тусклого света угасавшего дня, огненная волна, объявлявшая Вселенную от небес до моего последнего дыхания — неотразимо.

Нагурщица, с которой Жан-Мишель Николе писал юную священную танцовщицу инков, была никем иной, как Лючией, беглянкой из Версаля, Португальской Служанкой моих звездных скольжений между Большой Медведицей и Орионом, Полярной звездой и Бетельгейзе.

Это означало, что я вышел на потерянный семнадцать лет назад след, петлявший теперь возле Жана-Мишеля Николе или кого-то из его окружения.

Узнают ли когда-нибудь, какая великая космическая перемена произошла, свершилась в тот облачный, темный предвечерний час в сентябре 1986-го на рю Кошен в Париже? Думаю, кто-то узнает — астрологи, например, — что 14 сентября 1986 года, в Париже, на рю Кошен, в пять часов пополудни, на широте острова Святого Людовика все свершилось, все было произнесено, все уже почти определилось в недрах вечности.

Не означало ли все это, что именно в тот самый день в небесных глубинах была рождена неизвестная звезда, тайное распространение ревербераций которой призвано было изменить лицо мира до самых высших звездных конфигураций, управляющих его судьбой, до преграды преград, до бездны бездн?

В любом случае самым главным для меня было выйти через Жана-Мишеля Николе на след Португальской Служанки или, по меньшей мере, проложить путь к нашей с ней грядущей встрече.

Начинается божественная охота. Длительная облава. Небеса не предали ни меня, ни всего того, в чем заклю-

чались мое живое спасение, моя работа и Высшее ко мне Милосердие.

Мне остается только описать в дневнике свой визит к Жану-Мишелю Николе. Но не только все изложенные события привели к нему. Я бы предположил, что звезды всегда подталкивали нас к этой встрече. Не без риска. С большим риском. В точном соответствии с паролем Академии морлоков, на рю Дюфо: «Возлюбленные братья, свершилось. Сейчас и навсегда».

81

Сегодня в полдень, собираясь к Жану-Мишелю Николе и перелистывая провиденциально подаренный мне Элен Освальд экземпляр «Девы Солнца», я обнаружил ссылку на первое французское издание этого романа, опубликованное в 1961 году под названием «Служанка Солнца», которое значилось на обложке прямо около центра циклаона, возносящего ввысь все ту же Португальскую Служанку из моего великого космического сновидения. Не благословенный ли это мне знак, не прикровенное ли благорасположение?

82

Летом 1967 года в заведении на рю Дидо, 14, известном и посещавшимся только *harry few*¹, «сливками сливок» общества, во время памятной вечеринки, устроенной

¹ Немногими счастливыми (англ.).

югославом Кристичем, адвокатом, за компанию с каким-то немцем и братьями Метье, некий «завсегдашней заведением» незаметно перерезал на кухне горло прекрасной Софи, хозяйке. Узнав об этом, «гости» немедленно, в шесть утра, бросились в безумную погоню за убийцей, поймали его в подземном туннеле на рю де Вуилье и немедленно покарали на кабийский манер. Это был, кстати, некий Тони, давний сутенер несчастной, студент-медик, немного повернутый, которого я довольно хорошо знал. Пока «друзья дома», охваченные жаждой мести, гонялись за убийцей, прекрасная Софи истекла кровью и окочурилась, как девственная мученица (кровь через первый этаж протекла из кухни даже на улицу, рассказывали мне потом).

Я вспомнил об этом беспокойном летнем утре 1967 года, когда выходил из туннеля на рю Дидо. Надо сказать, что квартал мало изменился. Точнее, изменился в сторону обнажения неприглядной изнанки. Рю Бауэр стала совершенным лавкрафтовским кошмаром: запах тухлятины овладел даже мостовой и стенами домов, почерневшими и заброшенными. В полдень по ней с заученной медлительностью дефилируют, исподтишка зазывая прохожих, злобные, голодные, вдрызг обдолбанные наркотой вьетнамские проститутки.

Дело в том, что Жан-Мишель Николе живет на рю Дидо, вместе со своей загадочной и темной подружкой Келек, в комнате, обставленной сообразно его ночным, лавкрафтианским, некромантическим занятиям, в свою очередь подчиненным душераздирающей ностальгии по «нижним областям по ту сторону гор», также, впрочем,

всецело подчиненной великой тайне магнетических потоков и путей трансорбитального перехода в булькающие области «тьмы внешней», где уже давно прописаны наши с ним близкие былые и сегодняшние друзья.

Уточню: нам, преступникам, связанным с так или иначе запретными ледниковыми онтологиями, тайное познание и активное призывание которых непрерывно оборачивается служением безумным начертаниям Великих Внешних Галактических Могуществ, нам, криминальным труженикам зыбких часов самого раннего утра, хорошо известно, что отсутствие подлинного знания о практической деятельности в близком соучастии, совместном безнаказанном мародерстве, сообщничестве с гипнагогическими подлесками злочестивых, провокационных, агентурно двойных и оскорбительных, до невыносимости уплотненных маскировок, оболочек, *обложек*, как раз таких, какие до бесконечности, вот уже, быть может, лет двадцать изобретает как для высочайших заинтересованных инстанций, так и — в последние времена — для «Нового издательства „Освальд“» (NéO), Жан-Мишель Николе, непоправимо мешает пониманию сегодняшнего положения во Франции, где действует некий подземный фронт ночных братств Возвращения Назад. Так, можно указать, что в определенном смысле это как раз и есть «Новое издательство „Освальд“» (NéO) и его союзники, сообщники и агенты, размещенные по тeneвым вересковым пустошам, где они вот уже долгие годы ночь за ночью подпольно выстраивают миф о некоем особом французском сознании, вовлеченном в преодоление человеческого, в восхождение к сверхчеловеческому и, прежде всего, к противочеловеческому,

к глубинному метафизическому, трансгалактическому — этот последний термин почти *наши* — преодолению, которое должно возобладать в менее всего всеми ожидаемый, великий, преодолевающий череду дней день. И если кому-то кажется, что он стоит и курит в одиночестве, то это уже не так. Ибо отныне всех нас навещают милейшие посетители — сумеречные, вечерние, ночные и особенно являющиеся ранним утром. Надо ли напоминать о верстовом камне из альбома 1981 года, выполненного Жаном-Мишелем Николе и его Келек для издательства «Вальтер», альбома со скромным названием «Эрзац»?

Между прочим, так или иначе подозревая об истинной цели моего к нему визита, Жан-Мишель Николе признался мне, что без всякого усилия, «как если бы это было вчера», вспоминает о том, что на образ священной танцовщицы инков для обложки «Девы Солнца» его вдохновила фотография в одном журнале, как он сказал, публичного направления (или, попросту говоря, порнографическом, хотя по нынешним временам это все уже никакая не порнография).

С бесконечно изысканной вежливостью Жан-Мишель Николе даже пообещал мне поискать в своей мастерской, будучи совершенно уверен, что найдет, журнал, подсказавший ему образ Девы Солнца.

Через два дня я получил от оказавшегося очень обязательным Жана-Мишеля Николе итальянский журнал «Плеймен» (августовский номер 1967 года), откуда он и почерпнул свое вдохновение: там была целая серия фо-

тографий, но какая была использована для обложки, оставалось совершенно неясным. Это были названные «особыми», «некромантическими» — впрочем, возможно, редакция допустила характерную оговорку, скорее всего, желая употребить эпитет «неоромантические», — фотографии некоей молодой особы, вызывающей и породистой, но при этом охваченной припадком нежности, посреди — это было понятно с первого взгляда — более жалких, нежели величественных руин заброшенной древней часовни. Мягкое, на самом деле, соскальзывание в сторону некрофилии, не столь уж чуждое мне, не отрицаю.

Дикую госпожу руин, затерянных среди безумно разросшихся полевых трав, изображала весьма профессионально молодая английская актриса Элизабет Лонг, весьма сомнительно руководимая неким Фабианом Севальсом. Этот в чем-то даже прерафаэлитский ансамбль именовался «Магия Символов». Отсылка, быть может невольная, к Мирче Элиаде? Хороша, очень хороша была эта пламенно-рыжая, длинноногая, с лицом натурщиц Бёрн-Джонса, Элизабет Лонг — отдаю себе в этом отчет, — но у нее не было ничего, ну ничего общего с беглянкой из Усадьбы Милосердия, с Лючией, Португальской Служанкой, мною в то версальское предзимье утраченной прежде, чем быть обретенной.

Иными словами, тупик, снова тупик — все это до тупости утомительно, ступорозно. С таким трудом обнаруженный новый след сразу же исчез, иссох, испарился безвозвратно и полностью. Но, быть может, все же не полностью? Остается, по крайней мере, выполненная

Жаном-Мишелем Николе обложка «Девы Солнца», на которой он, вдохновленный фотографией из старого номера «Плеймена», медиумически явил и, я бы сказал, *дал новую жизнь* — до чего же огненно и пронзительно! — живущему во мне воспоминанию о Португальской Служанке.

Надо ли мне начинать все сначала и возобновлять мой поиск, отталкиваясь исключительно от «Девы Солнца»? Надо ли возвращаться к толкованию послания, медиумически явленного мне чрез эту книгу, исходя из ее тайно представленного на мое усмотрение содержания, каковое есть некий огромный очерк для извлечения из него действительно окончательного концепта всех моих безнадежных поисков?

И вот ныне слышу вздымающееся из самого дыхания, из глубин самого же моего поиска веление *окончить его*. Остановить. Прекратить. Прервать.

Веление, всплывшее из глубин меня самого после неудачного посещения Жана-Мишеля Николе, на рю Дидо, когда я увидел, как след, начинавшийся на обложке «Девы Солнца», столь жалким образом затерялся в зыбучих песках английской порнографии.

Пойманный в ловушку, обещанный, я ношу в себе горечь — не могу даже выразить какую. Но бесполезно и думать об этом.

Я, медля, вхожу в загадочные золотистые врата «Девы Солнца». Не открылось ли мне, как этим утром, противопоставление пророческого финала одной из моих старых книг, «Imperium», и окончания «Девы Солнца», появившейся в то же самое, покаянное для меня и всей моей жизни, время у порога восьмидесятых? Ясно вижу и здесь, и там одну и ту же обрядовую тайну, тайну поцелуя: у меня — «поцелуя смерти», а в «Деве Солнца» — «поцелуя жизни», более того, «поцелуя жизни вечной». Что со всей очевидностью несет в себе прямо оперативный смысл. Смысл, выраженный поначалу темным, но по мере развития сюжета все более очевидным образом. В моем распоряжении весь возможный и невозможный спектр всех невозможных возможностей.

Возможностей завершить «Imperium», эту взывающую к «поцелую смерти» философскую песнь

(о праве жизни и смерти
как огромной, озаренной солнцем белизне
в данную, одновременно головокружительную и чистую, минуту, когда магнетические цвета нашего самого тайного предназначения воссоединяются в самом сердце Солнца, Вена и Царства

Париж, 30 мая 1980 года и в его тождественности так давно высохшим пчелам, малой печати от поцелуя в щеку мучительного ужасающего и столь сладостно всплывающего воспоминания о самых глубинных черных безднах смерти)

А «Дева Солнца», напротив, завершается «поцелуем жизни», и я понимаю, что Дева Солнца как таковая и есть царица Квилла, Дочь Луны.

Ныне нашему проклятому прошлому, с его ужасами и битвами, положен конец, и перед нами, озаренная лучами Луны, простирается сверкающая дорога грядущего, ведущая нас к тайне, где начинаются и кончаются все дороги. Отныне наше разделение венчается совершенным союзом, который мы, возможно, уже некогда знали и который еще познаем в будущих временах и неведомых пространствах. В это мгновение морское божество, пришествие которого пробудило к любви мое спящее сердце и чей клинок спас меня от стыда и смерти, ведет меня к жизни и свету, и я, Дочь Луны, бросая вызов державшему меня в плену Солнцу и всем его служителям, ныне перед всем моим народом беру вас в супруги через этот поцелуй.

А затем, добавляет Райдер Хаггард, «Квилла, склонившись, поцеловала меня, чем запечатлела свои слова».

(Все дело в том, что я, литургически произнося эти заключительные строки «Девы Солнца», обретаю новые и новые надежды, новое, заключенное в слова, дыхание. Но не в слове, спасающем и избавляющем, управляющем нами у Врат Тьмы и освобождающем нас, нет, в ином истинная свобода, все еще *вне*, я уже не знаю где.)

Вынужден свидетельствовать, что на данный момент все обстоит следующим образом: рискованный, патетический и при всем том чарующий эпизод с обложкой Жана-Мишеля Николе для «Девы Солнца», вновь разбредивший старую смертельную рану, есть, стыдно признаться, всего лишь второстепенный и смутный этап бесконечного и безнадежного мистического поиска.

Прохождение не вечернего дня сквозь ночь или мгновенный — во мгновение, равное безымянным тысячелетиям, — крах прохождения сквозь день суверенной в своем нощенном восхождении по спирали тьмы беспросветной ночи остается одним и тем же и пребудет таковым до самого конца, когда сама спираль восхождения будет мгновенно явлена в своей неименуемой идентичности костного мозга вечного света.

Иными словами, я отказываюсь выходить из игры, продолжаю и буду продолжать ее до конца по ту сторону всякого конца. Яростно отвергаю перемирие, отвергаю извращенное, прелюбодейное и беспробудное милосердие, столь грациозно предлагаемое нам на бедных и мирных деревенских кладбищах — *на некоторое время*, как на самом деле *они* думают про себя.

Я уже готов задаться вопросом: не ведет ли в конечном счете обнаруженный злосчастным эпизодом с Девой Солнца, а затем как бы аннулированный и превращен-

ный в фикцию след к некоему Новому Благовещению, к совокупности визионерских и профетических явлений, расследование которых обнаружит не какую-нибудь, как я уже начинал думать, метафизическую берлогу или, пускай будет так, засаду, подпольно действующую в Париже или где-нибудь еще, но прекрасное обетование и даже, если угодно, новую Благоую Весть об утверждении здесь и сейчас иной, живой и выжившей, возобновленной, теологальной надежды, относящейся если не к моим недавним встречам с ней, с Португальской Служанкой, которая после нашей, по меньшей мере, предварительной — я бы сказал, преждевременной — встречи вернулась к собственной звездной и галактической идентичности неведомой звезды в глубинах черных, скрывающих нас небес, то, быть может, уже к встречам *иным*, точнее, к встрече *иной*, единственной, причем все указывает на то, что она будет последней. Я говорю не о встрече с ней во плоти, но о встрече с ее звездой, с ее последним ожиданием и надеждой.

По меньшей мере, так: никогда растворение, обращение во прах, приведение к ничтожеству не было осуществлено столь brutally. Однако после лихорадочной и лживой экзальтации от ошибочного истолкования загадочного всплытия на пути моей жизни Девы Солнца, некоторыми, в частности тревизанской школой, также именуемой Служанкой Солнца, после девятидневных дней сам не знаю какой исключительной и внезапной, умственной и глубинно-сердечной во мне самом недостаточности, когда постыдная слабость заставила меня поверить в некое *простое решение*, в то время как наступал сезон — причем тем опаснее, чем более я укреплялся

в моих ошибках, — великих (под контролем тех, о ком нельзя не только знать, но и даже хотеть узнать) межконтинентальных землетрясений, планетарных цунами, разрывов магнитных полей, свидетельствующих о близком соскальзывании к новым космическим оледенениям, решительное и быстрое *возвращение к реальности* в любом случае все же не заставило меня непоправимо споткнуться. Все более или менее пришло в порядок. Мне показалось, что все даже повернулось — еще раз — к дыханию апологетической новизны пробуждения перед лицом единственной реальной догматической беспробудности, вновь перегруженной скольжением в зонах гипнагогической невесомости и отсутствием всякого сознания, что можно определять как межзвездное странствие медиумических конвоиров бездонных причин, по которым они, сами порой пребывая в неведении, являют геральдическую броню и всемогущество имен, вмененных Первопричинам Конвоя. Стражи.

86

В последние дни, почти те самые, когда под навязчивым влиянием «Девы Солнца» Генри Райдера Хаггарда, точнее, столь взволновавшего меня ее образа, явленного в медиумическом видении Жана-Мишеля Николе, я возобновил — вслепую, впрочем, — мои разыскания в связи с историей самой то ли версальской, то ли небесной — португальской, короче, — служанки Анн-Мари де Л., той самой Лючии, на след которой, как мне казалось, я внезапно вышел, некоторые американские агентства новостей странным образом — хотя, вновь напомню, *все свя-*

зано, как говорил в таких случаях Раймон Абеллио, — сообщили о том, что в джунглях Амазонки обнаружен Мертвый Город, предположительно, ибо «все огни погасли», «последняя столица» англо-инкского царства царицы Квиллы, Дочери Луны («Я — Дочь Луны, которую также зовут Луной», имеющая «во лбу знак Луны», как она сама говорила, и еще «наездницей лунных лучей» в черноте небес, но под океанской волной).

Привожу ниже текст сообщения американского телеграфного агентства, касающийся Мертвого Города, предположительно последней древней столицы царицы Квиллы, Дочери Луны, как он есть:

Недавно в Эквадоре, к северу от провинции Самора-Чимпичипе, недалеко от перуанской столицы, был обнаружен затерянный в непроходимых лесах Амазонки Мертвый Город — Мертвый Город Луны, как говорят местные индейцы. Этому таинственному Мертвому Городу Луны, предположительно инкского происхождения, от трех до четырех тысяч лет, что исключает его из ареала имперской цивилизации инков (происхождение которой восходит не ранее чем к XV веку).

Окруженный гигантскими деревьями, чьи стволы нередко достигают в диаметре более четырех метров, этот затерянный в глубине амазонских лесов город построен, по-видимому, в соответствии с изначальным геометрическим планом и простирается на широких пространствах неисследованной долины Найумбы и реки Нангаритца, которая слывет проклятой. На сегодняшний день считается, что Мертвый Город Луны был построен по меньшей мере за четыре тысячелетия до при-

бытия испанцев в Новый Свет. Об открытии его было сообщено в декабре 1986 года после завершения первого этапа исследований двумя экспедициями, организованными эквадорской газетой «Эль коммерсио»; их работа была показана в прямом репортаже TV-сетью «Телеамазонас». Исследования будут продолжены.

Мертвый Город Луны был весь окружен широкой стеной и, как и сама стена, построен с использованием технологий «пирка», из огромных камней, соединенных особым образом обработанным илом. Секрет такой кладки утрачен. Простоявшие века стены, несмотря на господствующую в этом регионе беспримерную жару и бесконечные обильные дожди, так и не были разрушены.

87

В письме, отправленном 24 октября 1921 года из Дитчингема Джеймсу Стенли Литтлу, Генри Райдер Хаггард говорит о «Деве Солнца» как о современной версии совершенно для него неожиданного, прежде ему неизвестного, оригинального документа XV века, обнаруженного при крайне подозрительных обстоятельствах «в месте, где только и можно было ожидать его найти», в сопровождении «бумаги», о которой, между прочим, Генри Райдер Хаггард говорит крайне мало («нет ни даты, ни подписи, однако, судя по манере, она написана дамой лет шестидесяти»).

К этой бумаге, сколь загадочно, столь и провиденциально обнаруженной, был приложен и сам оригинальный документ XV века, написанный растительными

чернилами на плохого качества пергаменте, найденном «возле развалин лесного города внутри гробницы, над которой возвышался высокий курган». В гробнице покоятся останки автора оригинального документа, «повествующего о его жизни», Хьюберта Хастингса, а рядом — его супруги, царицы Квиллы, Дочери Луны, из рук которой чужак с Запада получил пурпурное, затканное золотыми нитями, «доинкское перуанское» царское одеяние, а также сакральные реликвии, в том числе «изумрудное, из необработанных, сильно потрескавшихся, но отшлифованных и наскоро покрытых золотом с примесью меди кристаллов, ожерелье».

Родившийся в 1856-м и умерший в 1925 году, Генри Райдер Хаггард, высокопоставленный чиновник Министерства колоний, близкий друг Редьярда Киплинга, известен прежде всего как автор чуть ли не сорока приключенческих романов. Но лес, как всегда, скрывает самое главное дерево. Ибо, в конце концов, из какой «особой документации» почерпнул Райдер Хаггард столь ценные свидетельства, при помощи каких наступательных структур с тайным и более чем тайным преемством философского ведения овладел столь исключительной информацией, которую не обнародовал, приберегая ее, например, для «Девы Солнца»? Тот же вопрос, впрочем, напрашивается и при знакомстве с большинством его остальных трудов, если не со всеми ними.

В любом случае будем помнить: в предисловии к «Деве Солнца» Генри Райдер Хаггард дает ясно понять, что ведение бездн прошлого, приоткрытых в его романе, может быть обретено исключительно медиу-

мически. Что вовсе не означает, будто бы ничего не сказано. Как раз наоборот.

«Искать Свет, обрести Свет и жить во Свете» — признание, волнующе, очень волнующе, я бы даже сказал, ужасающе волнующе, вырвавшееся у Генри Райдера Хаггарда как *достоверное намерение*, бьющее подземным ключом из глубины его в целом еще классического, все еще трепетно-тенистого свода романов, и как раз тут, как мне представляется, обнаруживается осторожная сдержанность, потому что автор предельно точен, когда говорит о светозарном явлении ему, во сне, не во сне ли, *не не* во сне — какая разница? — царицы Квиллы, Дочери Луны, в полуразвалившемся и грязном амбаре некой английской усадьбы уже в XX веке.

Генри Райдер Хаггард добавит, что, передав ему некое послание, тайные, столь необходимые слова, царица Квилла слилась, «пройдя сквозь запыленное стекло», с молодой луной, что рождалась на высотах июньского неба, внезапно заплылавшего, словно великое белое солнце Полночи Зрящих. Незабываемое, исполненное славы повествование.

Эти озера, столь синие под тонкой оболочкой льда, на самом деле представляют собой древние, заполненные водой карьеры. Озера глубокие, питаемые также еще и — правда, тайно, глубоко под землей — водами Уазы, озера, хранящие под своей властью, у корней самой

вздымающейся земли, множество подземных галерей, находивших в старину самое разное использование и, по слухам, служивших для совершения того, что должно быть сокрыто от глаз.

Долго смотрю на Астрологический остров, очень близкий к берегам, и дальше, на остров Пирамиды, в середине озера: в дрожании воздуха тайный помяник выдает секреты забытых, утраченных имен.

Ибо воздух, натянутый над озерами и холмами, словно струны железной арфы, очень хрупок и очень сух, труден для дыхания. А когда на холмах десять тысяч обезумевших от ветра собак заливаются лаем, мир людей уступает место иному миру, миру неизмененных звезд и бездонных вышних глубин, и я вижу, как на вершинах на какое-то время устанавливается юрисдикция онтологически *инога*.

Если с прошлого лета эти выстуженные ветрами холмы служат мне убежищем, если я прихожу сюда, то потому, что здесь могу молиться Ей, в известном смысле молиться возле Нее, Владычицы Нашей под Ветром. Я имею в виду Владычицу Меджугорскую.

89

Я знаю, что 15 февраля 1984 года Владычица Наша Меджугорская, которую мы все чаще и чаще именуем Владычицей Нашей под Ветром, объявила нескольким юным свидетелям Ея явлений в Меджугорье: «Мой

374

знак — ветер. Я приду в порыве ветра. Если дует ветер, знайте: я рядом с вами. Вы знаете, что Крест — это знак Христа. Я говорю о Кресте, который у вас в домах. Мой знак иной».

Единственное, что я сохранил как раз перед тем, как вокруг меня решающим образом сгустилась тьма, когда в Отёе я попал в кораблекрушение, была чудесная икона Владычицы Нашей под Ветром, что я воспринял как прямое, одновременно любовное и знаковое, вмешательство Той, чье дорогое тайное имя, пока еще слишком могущественное для того, чтобы я решился его произнести, обжигает мне губы.

90

Не перестаю все последнее время думать об Эскуриале. Прятаться бесполезно: укрываясь во Дворе фронтонов Бельведерского дворца, я все время мыслями возвращаюсь к Эскуриалу.

Несмотря на обильные снегопады, холодно. Поставил свечу прямо на голый пол, возле окон во двор. Свет свечи, свет снега. Мыслить? Молиться, умолять. *Нет, иное, уже совсем иное.*

Наступает вечер, и с ним — сон. Среди ночи проснусь и буду молиться перед чудесной иконой Владычицы Нашей под Ветром.

А пока — медленно — черные поля сна.

Мишель Мармен писал 23 марта 1978 года в «Фигаро» о «Виоланте» Даниэля Шмида: «Все расставлено по местам с подавляющей точностью. Сама природа как бы претерпевает превращение и, кажется, тревожно чего-то ждет в своем молчаливом великолепии. Все переполнено непоправимой безвозвратностью и обращенными к этой безвозвратности словами судьбы, участники действия, ожидая чего-то неведомого, грядущего на них, безвозвратно наблюдают за безвозвратностью. Можно сказать, что трагедия изначально соприсуца главному герою, которому Лючия Боze несет свой темный и пламенный соблазн. Не одаряет ли нас германоязычный швейцарский режиссер Даниэль Шмид в своей экранизации романа Конрада Фердинанда Мейера (1825–1898) великим романтизмом, который мы в его первых фильмах еще только предчувствовали? К несчастью, именно когда повествование обрушивается, вспыхивает трагедия».

Статья Мишеля Мармена, озаглавленная «Странное поражение», несла в себе определенное послание, в котором оживали едва сдерживаемые отзвуки древнего крика отчаяния и смерти. Но что-то заставляет меня предположить, что не отделимые от этого темного свидетельства любовного отчаяния пророческие установки, служба, правда иначе, тому же самому теологическому и святому делу, что и *Santa Causa*, так же сокрыто, на сицилийский лад, как и прежде, действуя в мире субверсии, прокладывают миру новую тропу.

Развязка более чем близка, она уже свершается — я это знаю. Внезапная утрата следа, указанного «Девой Солнца», оказалась для меня, несомненно, даром благодати, хотя и не счастливым разрешением фатально опороченного мистического поиска, все более ущербного в эти годы, когда ничто ничтожит, а покрытое тенью бессилия бытие через отрицание и бесконечное соединение с небытием вычеркивает себя из себя самого; в конце концов мистический поиск в навязанном ему бою без боя позорно упирается в немую стену небытия, подобную — мне ли того не знать? — стене коллежа строгого устава, для бедных или сирот, серую, обледенелую и грязную, очень грязную, загаженную стену. Давно и непрерывно загаживаемую теми, кто, будучи целиком втянут в свою гадкую работу, умеет только гадить и отвратительно опустошать неопустошаемое и от начала остается чуждым тайне самого *духа детства*. И я не хочу даже произносить, ни *чем* они гадят, ни *как*, равно как и каким образом оберегают свою неудобосказуемую скверну в смертоносных и зверских церемониях на недолгом пути в ад.

Что до меня и до всех *наших*, известных и неизвестных, то как нам сделать так, чтобы не остановиться перед грязной стеной заученного небытия, непременно завершающей последний дрейф нашего мистического поиска, как пребыть невредимыми на этом этапе упадка и нового возрастания, когда мы тайно управляем подпольно сохраняемым наследством и когда речь идет прежде всего о том, чтобы не напороться на караул, не упустить драматического, решительного часа нашего грядущего

возвращения на место сбора? И чьи бесчисленные сияющие, пророческие лица окружают меня в спустившихся сумерках, такие знакомые и трагически неизвестные? Разве моя борьба здесь, на самой опасной линии фронта, только моя, а не всего *стана святых*, призванного стеречь близкую внезапную развязку, предваряемую тайной, в которую я уже вовлечен, подготовить высшее, последнее торжество изображенной Пьетро делла Франческо «Битвы», подготовить, а затем решающим образом определить роковой, вначале медленный, а затем решительно-резкий запуск апокалиптического марш-броска и его последних атак, отныне неудержимо направляемых только Марией, одной Марией, и подвластных только Ее приказам? Уже сегодняшний час для нас таков.

Как нам удалось — спрашиваю себя вновь и вновь — остаться невредимыми, нам, тайным агентам апокалиптической развязки, на нынешнем, катастрофическом, если угодно, уровне мистического и духовного поиска, перед лицом последней торжествующей всеохватности небытия, негативных могуществ и хаоса, всего этого уже загнавшего нас в нечто непоправимое, где мы и находимся, в области наших самых тайных падений, какова бы ни была в эти дни наша безысходная и беспощадная тоска? Как это получилось, как?

Как? Во сне, в глубоком сне. Я сам жил во сне — очень долго.

Есть великая тайна, древнее искусство глубокого сна в долине Уазы.

Я бы не дошел — не был бы донесен туда, где нахожусь ныне, не вынес бы — магнетически, — если бы не спал, не был бы погружен в глубокий, медленный и догматический сон Черной Реки. Значит, пробуждение? Я так не думаю. Все во мне еще спит, и именно из белых дворцов сна выходит и выстраивается вооруженный конвой моих станов, расположенных в долине Уазы.

Ибо все, что приходит ко мне, приходит только путями сна, из глубин моего сна, соединяясь со мною в его самых оберегаемых обителях. Я сплю по ночам, но и днем я сплю.

Во сне вспоминаю приснившуюся ночь и вновь стою перед фиолетово-черной пещерой, перед огромной черной скалой, возле родника, бьющего из-под песков, из-под илистой грязи. Разрывающее ощущение нищеты, одиночества, холода, безнадежной утраты. Словно в белом льняном плаще, сияющем ясностью возвращенной радости, непорочно-сладким всемогуществом непрерывного зачатия славы без желания и желания без славы пришла она сама; я приблизился к ней, вынуждая ее отступить, прислониться к черному откосу скалы, почти вступив в кипуче-стеклянный родник. Она прекрасно знала, чего я хочу, и, скованная, неловкая перед моей настойчивостью, начала медленно и сладко смеяться, опустив глаза и произнося: «Хорошо, хорошо» и «Да, Жан, да, Жан». Я ждал от нее немедленного, кардинального освобождения, избавления. Но как мог я принуждать ее к этому, даже если она уже все решила? Ибо только ей ведомыми путями случилось так, что я понял все происшедшее как дозволение просить у нее о великом даре не только ее нежности и самой тайной, самой божественно

царской любви, но еще и об ответе на мою безумную просьбу, причем так, что самая чистая слава этого дара почил бы не на ней, но еще и на мне, как это — стирание граней в единой любви — происходило некогда у старых Адептов Любви, Fidele d'Amore, ведь она сама для нас, новых Адептов Любви, и есть Верховная Госпожа и в то же время Служанка Любви во имя той Любви, в которой живет Любовь.

И еще я помню, как она, уже не сдерживаясь, с трудом, но и с улыбкой, протягивая мне свои, как у пленницы, трижды связанные в запястьях толстой желтой веревкой руки, как бы безмолвно произнесла слова, дарующие свободу в вечности. Я хорошо понял эти не произнесенные, но жестом показанные слова: «И ты сейчас освободи меня, как освободила тебя я» и даже более того: «Освободи меня, Жан, если ты действительно любишь меня так же, как я тебя».

Я сделал это без труда, с бившимся на разрыв сердцем. Тогда она протянула мне левую руку для поцелуя и, вполоборота повернувшись к отдаленному, пепельного, цвета расплавленного свинца пиренейскому горному потоку, высоко подняла вверх руку правую, и я, тотчас же охваченный мистическим ужасом, понял, что она *дает сигнал*.

Я понял, что по ту сторону внезапно остановленного, дающего начало мировой реке потока, над потоком, над миром, над пространствами, мирами и безднами, по ту сторону небес, властей, сил, престолов и множественности вечностей ее самого тайного имперского удела она объявляет, что час ее наконец пробил и на Благовещение

Милости архангелом Гавриилом в начале всего она в конце всего отвечает внезапным и сияющим Благовещением Мести, которое вручает архангелу Михаилу — необратимо, — дозволяя тем самым ему делать все то, что он знает, как делать.

Мои губы обожгла ее легкая и сладостная рука, как бы распространявшая аромат цветов шиповника. Запястье было охвачено нитью из сплава золота с серебром — зеленого золота.

93

По незаметной, заросшей папоротниками тропе я возвращаюсь в Версаль. Идет дождь, черный подлесок удерживает туман и воду в низинах кочкарника, который весь — царство глубокого молчания. Здесь живет древнее божество.

Следуя вдоль стены сада, говорю себе: *только бы задние ворота не были заперты на ключ*; к счастью, они не заперты. Вступаю на слоистый плащ из мертвых листьев, бархатных, гнилых, чутких и враждебных всякой новизне, всему прошлому и мне тоже, ведь ничто здесь меня более не узнает. Только зайцы, быть может? Или вороны?

Обретаю некоторую уверенность в себе. Быть может, здесь вообще никого нет? Тем временем чувствую, что в гостиной в камине слабо горят сырые дрова. Вхожу; что-то кажется почерневшим, обветшавшим, но мне раздумывать некогда, каждый мой шаг сочтен.

По ходу замечаю на столе в коридоре, перед позолоченным стеклом, огромный букет желтых и красных роз. И светящееся пятно картины ван Лоо.

Свершилось. Дверь в гостиную открыта. Внезапно вижу ее, лежащую перед огнем, спящую. Она плачет? Да, внезапно я отдаю себе в этом отчет. Приближаюсь к ней сзади, дохожу до стола. Сдерживаю дыхание, меня трясет. Не оборачиваясь, она говорит мне: «Хорошо, хорошо», а затем еще раз: «Да, так хорошо, хорошо», указывая рукой на место возле нее на канapé, покрытом, как и прежде, ее меховым плащом. Последнее мгновение. Я все еще колеблюсь.

Долгим был путь.

94

А ныне? Вновь, при свете дня, учиться дорогам жизни. Это должно было произойти, и мы это свершили. Мы никогда не будем преданы, никогда нам не дадут утратить себя. Через это надо было пройти — трагически. Значит, мы в конце концов спасены? Есть некое уверение сердца, некое сновидческое безумие, некая расовая предрасположенность к светоносному миражу детства, к пению, военной верности, к бесшабашным летним странствиям.

Все, что происходит, есть пламенный, начертанный огнем на скрижалях самого глубокого детства обет. Маленькое сердце, сердечко из красного стекла, быть может перевязанное бархатной гранатовой ленточкой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Александр Дугин. Жан Парвулеско: Все, что приближается к сущности, раздваивается</i>	5
Вдоль Черной Реки	13
Заговоры в Усадьбе Милосердия	59
Последняя битва за Великую Европу началась	125
Тазобедренный сустав	179
Кража	197
Вдоль Красной Реки	221
Досье «Танго для Кали»	227
О метаисторическом концепте обращения во прах	303
Послание Солнечных Гор	343

Литературно-художественное издание

ЖАН ПАРВУЛЕСКО
ПОРТУГАЛЬСКАЯ СЛУЖАНКА

Отрывки из дневника

Ответственный редактор *Татьяна Филатова*
Художественный редактор *Александр Яковлев*
Технический редактор *Елена Траскевич*
Корректор *Ксения Казак*
Верстка *Максима Залиева*

Подписано в печать 06.11.2009.
Формат издания 84×108 ¹/₃₂. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 1000 экз.
Изд. № 90439. Заказ № .

Издательство «Амфора».
Торгово-издательский дом «Амфора».
197110, Санкт-Петербург,
наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.
E-mail: secret@amphora.ru

Отпечатано по технологии СtP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, Арсенальная ул., д. 21/1.
Телефон/факс: (812) 495-56-10.